

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2024

№ 80

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Дериглазова Л.В.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор ист. наук, профессор. E-mail: dlarisa@inbox.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сукушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сигэтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Днев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Deriglazova L.V.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviev A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Ардашкин И.Б., Ардашкина А.И. Терминология как когнитивный феномен: на пути к новым образам терминологической работы	5
Беликов А.А. Проблема гиперконнективности в чистых теориях коннексивной импликации	23
Жаров А.М. Динамика знаний: эволюционный анализ теорий научного развития	34
Козырева О.А. Я-высказывания: имплицитная агентность и субъектность	45
Лисанюк Е.Н. Объективация дискуссий и решение споров в логике аргументации	53

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Петрова А.В. Метаэпистемологический анализ моральных стандартов в критике цинизма Петера Слотердайка	64
--	----

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Аникин Д.А. От политики покаяния к культуре отмены: трансформация исторического забвения в условиях медиатизации прошлого	74
Бабич В.В. Нарративная идентичность: реальность и воображение	86
Колодий Н.А., Иванова В.С., Чернова Д.А. Социоцентризм versus техноцентризм в исследованиях умного города	99
Красиков В.И. Онлайн-радикализация молодежи: предпосылки и механизмы	108
Петров В.В. Формирование социального потенциала: динамика изменений приоритетов выпускников отечественной высшей школы	123
Сединин Я.А., Сыров В.Н. Биометрика капитализма: как неолиберализм расщепляет тело	136
Чмыхало А.Ю., Жаркова М.А. Постгуманизм как теоретическая основа осмысления грамотности в условиях развития смарт-технологий	146

СОЦИОЛОГИЯ

Ненашева М.В. «Чувство места» как фактор социальной жизнестойкости: опыт социологического анализа	157
Светличная Т.Г., Смирнова Е.А. Удовлетворенность населения реализацией прав на охрану здоровья и медицинскую помощь	166
Ушкин С.Г. Кто верит фейкам и делится ими со своим окружением?	173
Фролова Е.В., Рогач О.В., Шалашникова В.Ю. Доверие населения к сити-менеджеру: новые модулы развития местного самоуправления	185
Шебураков И.Б., Татарнинова Л.Н. Зрелость кадровой политики и ее отражение в практиках работы с кадровыми резервами в контексте развития управленческого потенциала	194

ПОЛИТОЛОГИЯ

Бирюков С.В., Чирун С.Н., Томко В.С. Региональный брэндинг: к модернизации концепта, его методологических и политико-технологических оснований	205
Григорьева О.В., Плюснин Н.О. Постколониальный подход во внешней политике Королевства Дания в Западной Африке (на примере Ганы)	219
Михайленко В.И. Индо-тихоокеанская стратегия США при администрации Дж. Байдена	230
Сущенко М.А. Основные этапы административных реформ КНР в 1982–2002 гг.: социокультурный аспект	244
Khavarinejad Saeed Russia-Iran security relations and military cooperation as a counterbalance to western hegemony	253

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Никоненко С.В. Томская школа аналитической философии: критические комментарии при переводе и редактировании аналитических текстов	265
---	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Ardashkin I.B., Ardashkina A.I. Terminology as a cognitive phenomenon: On the way to new images of terminological work.....	5
Belikov A.A. The problem of hyper-connexivity in pure theories of connexive implication.....	23
Zharov A.M. The dynamics of knowledge: An evolutionary analysis of scientific development theories	34
Kozyreva O.A. I-cases: Implicit agency and subjectivity.....	45
Lisanyuk E.N. Objectification of discussions and dispute resolution in argumentation logic	53

HISTORY OF PHILOSOPHY

Petrova A.V. Metaepistemological analysis of moral standards in Peter Sloterdijk's critique of cynicism	64
--	----

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Anikin D.A. From the politics of regret to cancel culture: The transformation of historical oblivion in the context of the mediatization of the past.....	74
Babich V.V. Narrative identity: Reality and imagination	86
Kolodii N.A., Ivanova V.S., Chernova D.A. Sociocentrism versus technocentrism in smart city research.....	99
Krasikov V.I. Online radicalization of youth: Prerequisites and mechanisms.....	108
Petrov V.V. Social potential formation: Dynamics of changes in priorities of national higher education graduates	123
Sedinin Ya.A., Syrov V.N. The biometrics of capitalism: How neoliberalism splits the body	136
Chmykhalo A.Yu., Zharkova M.A. Posthumanism as a theoretical framework for understanding literacy in the conditions of smart technology development.....	146

SOCIOLOGY

Nenasheva M.V. "Sense of place" as a factor of social resilience: An experience of a sociological analysis	157
Svetlichnaya T.G., Smirnova E.A. Population's satisfaction with the realization of the rights to health protection and medical care.....	166
Ushkin S.G. Who believes fakes and shares them with their circle?	173
Frolova E.V., Rogach O.V., Shalashnikova V.Yu. Public trust in the city manager: New ways to develop local self-government.....	185
Sheburakov I.B., Tatarinova L.N. The maturity of personnel policy and its reflection in the practices of working with personnel reserves in the context of developing management potential.....	194

POLITICAL SCIENCE

Biryukov S.V., Chirun S.N., Tomko V.S. Regional branding: On the modernization of the concept, its methodological and politico-technological bases.....	205
Grigoreva O.V., Plyusnin N.O. Postcolonising Danish foreign policy activism in West Africa: The case of Ghana	219
Mikhaylenko V.I. US Indo-Pacific strategy under the Biden administration.....	230
Sushchenko M.A. The main stages of administrative reforms of the People's Republic of China in 1982–2002: A socio-cultural aspect	244
Khavarinejad S. Russia–Iran security relations and military cooperation as a counterbalance to Western hegemony	253

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Nikonenko S.V. Tomsk School of Analytic Philosophy: Critical comments by translators and editors of analytic texts.....	265
--	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья
УДК 304.444
doi: 10.17223/1998863X/80/1

ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК КОГНИТИВНЫЙ ФЕНОМЕН: НА ПУТИ К НОВЫМ ОБРАЗАМ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Игорь Борисович Ардашкин¹, Александра Игоревна Ардашкина²

^{1, 2} *Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия*

² *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *ibardashkin@tpu.ru*

² *ardashkinaai@mail.ru*

Аннотация. Исследуется терминология как когнитивный феномен с целью уточнения того, что меняется в понимании термина, терминологии, терминологической деятельности в связи с когнитивным поворотом, происходящим в последние десятилетия в сфере эпистемологии и когнитивных наук. Авторы обращают внимание на то, что трансформация представлений о познании (научном познании), характере его осуществления в контексте смены эпистемологических парадигм сопровождается изменением таких ключевых составляющих познавательного процесса, как субъект, объект, язык.

Ключевые слова: терминология, когнитивные науки, когнитивный поворот, социокогнитивная теория терминологии, фреймовая теория терминологии, сетевая структура терминологии

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект РНФ № 24-28-00048) Концептуализация стратегий развития терминологии: социально-философские основания и социолингвистический подход», <https://rscf.ru/project/24-28-00048/>

Для цитирования: Ардашкин И.Б., Ардашкина А.И. Терминология как когнитивный феномен: на пути к новым образам терминологической работы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 5–22. doi: 10.17223/1998863X/80/1

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

TERMINOLOGY AS A COGNITIVE PHENOMENON: ON THE WAY TO NEW IMAGES OF TERMINOLOGICAL WORK

Igor B. Ardashkin¹, Aleksandra I. Ardashkina²

^{1, 2} *National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation*

² *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *ibardashkin@tpu.ru*

² *ardashkinaai@mail.ru*

Abstract. Terminology is studied as a cognitive phenomenon in order to clarify what is changing in the understanding of the term, terminology, and terminological activity in connection with the cognitive turn occurring in recent decades in the field of epistemology and cognitive sciences. The authors draw attention to the fact that the transformation of ideas about knowledge (scientific knowledge), the nature of its implementation in the context of a change in epistemological paradigms is accompanied by changes in such key components of the cognitive process as subject, object, language. If in the epistemological paradigm of positivism a certain cognitive certainty was associated with these concepts (the subject is the central cognitive actor, the object is empirically knowable, language is directly related to the subject in its description of the object, etc.), then when moving away from the epistemological paradigm of positivism ideas about the subject, object and language lose their definition. The subject loses the evidence of rationality and cannot rely on the evidence of his own reflection, which means the loss of his autonomy and self-sufficiency. The object appears as a complex multi-level formation where each level can be described on the basis of scientific theories alone, but there are no theories that describe all levels of the world as an object of knowledge and there are no theories that would correlate their descriptions of the world with each other. Language also appears as a certain way of describing the world whose nature is playful in nature and depends on the social conditions of its use. If in the epistemological paradigm of positivism terminology appears as the culmination of a cognitive process, completing it in the form of a dictionary or reference book, then in the modern epistemological paradigm terminology appears as a decentralized functionality, the essence of which cannot be reduced to the formation of a dictionary or reference book of a professional field of knowledge or scientific discipline. Today, terminological work is rather a process of a cognitive nature with corresponding semantic, linguistic, cognitive, sociocultural and other components, within which it is virtually impossible to indicate its beginning and end. A terminological corpus is a network structure consisting of various ontologies (databases, knowledge bases, etc.) connected to each other, but this connectedness is implicit. Carrying out terminological work is the processing of databases using terminology to establish as many connections as possible between them. In other words, terminological work is associated with the construction of ontologies by inscribing the latter into social reality. The influence of the cognitive turn on terminological activity is manifested in the formation of cognitive theories of terminology, such as the sociocognitive theory of terminology by Rita Temmerman and the frame theory of terminology by Pamela Faber. These theories demonstrate in different ways the consideration of terminology as a cognitive phenomenon, but in general they reflect the changes that occur in connection with the change in the status of the latter.

Keywords: terminology, cognitive sciences, cognitive turn, sociocognitive theory of terminology, frame theory of terminology, network structure of terminology

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00048, <https://rscf.ru/project/24-28-00048/>

For citation: Ardashkin, I.B., & Ardashkina, A.I. (2024) Terminology as a cognitive phenomenon: on the way to new images of terminological work. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 5–22. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/1

Введение

Развитие информационно-коммуникационных технологий, генетики, логики, социально-гуманитарных наук, философских направлений и т.д. привело к появлению когнитивистики – междисциплинарной области, предметом которой стало изучение познания как отдельного предмета исследования в качестве процесса и результата. Когнитивистика подходит к любому феномену своего изучения как к познавательному процессу, побуждая нас заново для себя переоткрыть данный предмет.

Познание в когнитивистике рассматривается не просто как процесс получения знания субъектом об объекте, а как процесс, в котором эпистемологические характеристики проявляются во всевозможных свойствах объекта, нераздельно сосуществующего в мире с другими объектами, с субъектом (субъектами), взаимодействием их между собой.

В связи с данной тенденцией было бы полезно посмотреть на терминологию как на когнитивный феномен, на то, как меняет такой подход само понятие «термин», методологию терминологической работы, соответственно преимуществ и недостатки для последней избранного способа рассмотрения.

Надо уточнить, что терминология всегда являлась в каком-то смысле когнитивным феноменом, поскольку термины выступали в качестве определенных лингвистических единиц, выражающих определенную область знания. Другое дело, что терминология рассматривалась в качестве уже состоявшегося результата познания (прежде всего научного), фиксирувавшего единицы приобретенного научного знания в качестве таких его составляющих, как термины. Поэтому подходить к терминологии как к когнитивному феномену было естественно, так как результат уже получен, обработан и включен в соответствующий формат (тезаурус, словарь, справочник).

Но, как показывает исследовательский опыт в области терминологии, очень многие процессы и результаты, полученные в одних областях знания, через некоторое время воспроизводятся, пусть и с опозданием в других областях знания. В частности, тенденции развития семантических теорий в аналитической философии через несколько десятилетий со схожими аспектами фактически повторились в развитии теорий терминологии (терминологического планирования). Позволим себе не вдаваться в подробности, поскольку уже в одной из предшествующих работ все это было подробно исследовано и продемонстрировано [1].

Если же брать шире контекст философских подходов к процессам познания, то в отношении терминологии как когнитивного феномена также проявилась определенная повторяемость. Позитивизм как эпистемологическая позиция строился на идеях возможности познания мира субъектом, на признании научного познания как самого достоверного (истинного) познания, где подлинность результатов носила эмпирический, а не метафизический характер. Правда, в процессе развития позитивизма (первый позитивизм, эмпириокритицизм, логический позитивизм, постпозитивизм) выяснилось, что далеко не все так просто и однозначно в понимании научного познания как самого достоверного познания, особенно когда пошла речь о возможности языковых способов выражения полученных эмпирическим путем научных знаний (о том, как связаны мир и знания посредством языковых выражений).

Однако изначально в способах связи мира и знания посредством языка позитивисты не видели сложностей, полагая, что эта связь имеет простой и однозначный характер, позволяющий предельно точно описать приобретенный в познании опыт. Собственно, спустя почти 100 лет этот подход повлиял на понимание того, как должна строиться терминологическая работа и какой должна быть терминология. Когда появилась первая теория терминологии О. Вюстера, получившая название «общая теория терминологии», представление о том, что такое термин и как его необходимо формировать, сильно напоминало позитивистское понимание процесса научного познания пред-

ставителями его первого поколения (О Конт, Г Спенсер и др.). Такая своеобразная парадигма терминологического позитивизма.

Фактически термин понимался как слово из специальной (научной или профессиональной) сферы знаний, которое точно и однозначно (истинно) отображает часть знаний (концепт) из определенной предметной области. Так же как в позитивизме, процесс научного познания должен посредством эмпирических методов приводить к истинному результату в области конкретной научной дисциплины, так и в процессе терминологической работы термин должен приводить к истинному значению знания из научной или профессиональной сферы (четкая и однозначная дефиниция термина в словаре (справочнике) из определенной области научных знаний).

Позитивистская парадигма в эпистемологии сменилась, появились другие парадигмы (конструктивизм, феноменология, герменевтика, аналитическая философия и т.д.), как уже писали выше, даже сформировалась когнитивистика как междисциплинарная область наук о познании, поменялось понимание познания, представления о роли субъекта в нем, тема истины «ушла в тень» и многое другое. Но как трансформация сложившихся трактовок о когнитивных процессах (когнитивный поворот) сказалась на терминологии, в полной мере еще не исследовано, хотя нельзя сказать, что таких работ нет вообще. Цель статьи – охарактеризовать терминологию как когнитивный феномен в контексте происходящего когнитивного поворота через определение содержания, форм, методов терминологической работы в этих новых обстоятельствах.

О связи эпистемологических парадигм и терминологии. Становление когнитивистики (когнитивных наук) как единой междисциплинарной области знаний о познании существенно скорректировало наши представления об этом феномене, продемонстрировало, насколько сложно оно организовано. Если не вдаваться в нюансы, а постараться обозначить наиболее значимые отличия представлений о познании, связанных с развитием когнитивных наук, то, наверное, самым важным изменением, которое можно выразить, будет изменение, связанное с оценкой познания как субъектоцентричного процесса. Это не значит, что субъект как источник познавательных усилий перестал быть таковым, это значит, что современная философия со своим полаганием субъекта (его рационального начала, как это сложилось в философии Нового времени) в результате различных междисциплинарных исследований продемонстрировала, что субъект не может быть таким надежным источником в своем рациональном проявлении, каковым он считался. Об этом говорит и эволюционная эпистемология (К. Лоренц и др.), демонстрируя, что многие познавательные процессы носят бессознательный характер, натурализуют *a priori* И. Канта, и когнитивная психология в виде бихевиоризма, необихевиоризма, нейролингвистического программирования и других направлений (сознание (разум) как запрограммированная модель поведения) (Д. Уотсон, Б. Скиннер и др.), «смерть субъекта» в философии постмодернизма (М. Фуко, Р. Барт) и т.д.

Общая идея пересмотра статуса субъекта как надежного основания для осуществления познавательных действий связана с признанием того, что субъект сам не является актором своего сознания и поведения, а «заложником манипуляций различных источников влияния (природы, социума, куль-

туры, языка и т.д.). Но пересмотр статуса субъекта в познании не значит элиминации темы, скорее, это поиски новых способов его функционирования. Рассмотрение субъекта не столько в его исключительно эпистемологическом формате, а в более полном, когда учитываются другие измерения его существования, которые, как сейчас становится очевидным, не могут не влиять на процесс познания. Как пишет А.П. Фоменко, «„смерть субъекта“, обозначенная в качестве центральной идеи философии постмодернизма, предстает не столь радикальной. В отличие от классической философской трактовки здесь субъект не полагается сразу данным и всегда наличествующим. Однако он не является несуществующим вообще. Субъект есть, он рождается, создается, возникает, конституируется, формируется, становится субъектом. Субъект перестает восприниматься как неизменная, статичная и вечная инстанция/субстанция. Субъект больше не изначален (или безначален), он имеет момент начала – рождения, появления, создания и т.п. О каком бы субъекте ни шла речь – пишущем, говорящем, влюбленном, юридическом, – эта особенность распространяется на каждого.

Во-вторых, субъект имеет специфический модус существования, который сводится к процессу исчезновения. Субъект описывается как то, что постоянно исчезает, растворяется, рассеивается, теряется, но при этом никогда не исчезает до конца и целиком» [2. С. 14].

Получается, что субъект перестает пониматься как нечто неизменное, как стабильное и надежно воспринимающее начало, а предстает условно «живым» началом, имеющим точку отсчета для своей деятельности, предполагающий момент ее прекращения, погруженный в окружающий мир и зависящий от этого мира. В каждый момент своего существования не может в полной мере предугадать, что он из себя представляет и как он поступит, поскольку столько факторов влияет на него, что он не в силах все их осмыслить. Это не значит, что субъект не может стремиться что-либо предусматривать, предугадывать, прогнозировать или планировать, но все эти способы «забегания вперед» носят вероятностный характер.

Похожую эволюцию представлений о других составляющих познания претерпели объект, язык и т.д.

Объект как мир в целом утратил свое единство и упорядоченность. Мир (объект) предстает в многообразии проявлений, которые сложно свести к какой-то единой и четкой структуре, к четкой схеме их взаимодействия. Сегодня, например, физики пишут о том, что физическая реальность множественна и эти составляющие не могут быть описаны посредством единых универсальных формул и методик, что предполагает существование как минимум трех физических реальностей (микромир (квантовая реальность), макромир (мир, доступный человеческому восприятию), мегамир (звезды, галактики, Вселенная в целом)) [3].

Поэтому появляются новые способы представления физической реальности в качестве взаимопереплетенной системы, где одно связано с другим помимо каких-то очевидных каналов, какими-то еще имплицитными (неявными) способами и каналами. Например, теория бутстрэпа (bootstrap) Дж. Чу. Как пишет Ф. Капра, «если Эйнштейн произвел революцию своей теорией относительностью; если Бор и Гейзенберг своей интерпретацией квантовой механики произвели столь радикальные перемены, что даже Эйнштейн отка-

звался принимать их, – то Чу совершил третий революционный шаг в физике XX века. Его „бутстрэпная“ теория частиц объединяет квантовую механику и теорию относительности таким образом, что создаваемая им теория со всей полнотой проявляет квантовый и релятивистский аспекты субатомной материи, и в то же время является радикальным прорывом в западном подходе к фундаментальной науке.

В соответствии с „бутстрэпной“ гипотезой природа не может быть сведена к фундаментальным сущностям, вроде фундаментальных строительных блоков материи, но должна пониматься исключительно на основе внутренней связности. Вещи существуют благодаря их взаимным отношениям и связям, и вся физика должна вытекать из единого требования, что ее компоненты должны быть взаимосвязаны друг с другом и логически связанными в самих в себе. Математическая основа „бутстрэпной“ физики – теория S-матриц, матриц рассеяния, созданная Гейзенбергом в 40-е годы и развитая в течение последних двух десятилетий в сложный математический аппарат, прекрасно приспособленный для объединения принципов квантовой механики и теории относительности» [4].

Язык также начинает рассматриваться как лингвистическое средство связи субъекта и объекта, которое, с одной стороны, способно однозначно в знаниях отразить информацию о мире (логические позитивисты, Б. Рассел и др.), а с другой стороны, это сделать невозможно, поскольку на процесс употребления языка влияет много факторов (языковые игры) и понимание возникает только в том случае, когда участники коммуникации следуют единому правилу (Л. Витгенштейн). Но сколько таких правил и что они из себя представляют, сказать сложно. Как пишет В.А. Суровцев, «особый смысл приобретают концепции, дающие интерпретацию того, что значит следовать правилу. Подобных концепций накопилось много...» [5. С. 51].

Иными словами, когнитивные науки формируют образ познания как децентрализованного процесса, где каждая составляющая вносит свой вклад, но никто и ничто не имеет решающего значения.

Обращение к теме трансформаций в познании, смены представлений о роли и статусе субъекта, объекта, языка и т.д. сделано было для того, чтобы потом проанализировать, как обозначенные изменения повлияли на характер терминологической деятельности, понимание термина и терминологии.

Термин в рамках парадигмы терминологического позитивизма выступал своеобразным центром фиксации познавательного результата, где ключевой составляющей была область концепта (знаний), а сам термин играл роль технического сигнификатора. Это отражало мир через терминологическую структуру как систему, состоящую из специальных знаковых единиц, своеобразных «кирпичиков» мира, представленных в лингвистической (термины) и эпистемологической (концепты) формах.

Сами словари строились в качестве совокупности терминов в той или иной области знания, их главная задача – раскрыть как можно подробнее содержание этой области посредством демонстрации ключевых знаний, которые в свою очередь определялись через опрос экспертов из конкретной дисциплинарной сферы. Главное здесь даже не то, что представляет из себя словарь в конкретной дисциплинарной области, сколько его статус и отношение к нему. Ведь в каком-то смысле такой словарь – это кульминационный

этап в познавательном процессе по изучению избранной предметной сферы, своеобразный «центральный стержень», в котором указаны термины и приведены их значения. Работа со словарем призвана продемонстрировать полученный результат познавательных усилий исследователей, зафиксированный таким образом.

Поэтому работа строилась в терминологии с ориентацией на понимание того, что определяется предметная граница знания, обладающая характеристиками стабильности и точности (условно), а также число знаковых элементов в виде слов, выполняющих функцию терминов, с помощью которых эту область знаний (концептов) можно описать. Отсюда, в рамках первой модели (теории) терминологии О. Вюстера (общая теория терминологии), преобладание ономазиологического подхода, который ориентируется на концептуальную сферу, оставляя в стороне лингвистические аспекты, что позволяет нам термины обозначать как знаковые элементы с языковым содержанием. Как характеризует ономазиологический подход В.П. Даниленко, «ономазиологический способ рассмотрения языковых явлений предполагает, что говорящий исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит это содержание в языковую форму; при этом та или иная языковая форма выбирается говорящим из находящейся в его распоряжении языковой системы и преобразуется им из системно-языкового состояния в речевое (формула: „внеязыковое содержание – языковая форма/языковая система – речь“)» [6. С. 108].

Термины в рамках позитивистской парадигмы терминологии представляют знаковые единицы субъектоцентричного плана, которые и выступают базовыми элементами в словарях специальной предметной сферы без каких-либо отсылок на то, как они связаны с другими областями знаний (концептами), какой этап развития научного (профессионального) знания они представляют, как их употребляют в речи и в каком контексте. Доминирует концептуальная (знаниевая) сфера, опуская лингвистическую, коммуникативную, собственно терминологическую составляющие. Сам термин осуществляет техническую функцию знака для области знаний, не воспринимается как самостоятельный «участник» терминологии и терминологической деятельности.

Поэтому когнитивный поворот очевидным образом не может не повлиять на характер терминологической работы, понимание статуса термина и терминологии. Особенно хорошо это видно при переводах терминов с одного языка на другой, при использовании терминов одной предметной области в другой. Здесь сразу становится понятным, что перевод термина – это не просто подбор нужного слова на переводимый язык, это еще и поиск соответствующей концептуальной основы в иной социокультурной среде или предметной области, это учет коммуникативной ситуации, в рамках которой происходит употребление термина в одной среде для понимания того, есть ли схожий коммуникативный контекст в другой среде. Плюс личностный контекст и т.д.

Данная ситуация хорошо демонстрирует сложную природу термина, терминологии и терминологической работы тогда, когда «переводчик», например, сталкивается с таким феноменом, как непереводимость. Причем непереводимость встречается не менее часто не только при использовании разных национальных языков, но и при применении одних и тех же терминов

в разных областях знания. Такая ситуация возникает, потому что термин нельзя свести только к слову (знаку) специального языка, важно также подготовить концептуальную сферу (трансформировать область знаний) под этот термин.

Показательно в этом плане, как формировались философские термины в Древней Греции. Ведь они возникали из слов обыденного языка, но для того, чтобы у них появилось новое предметное наполнение, требовалась подготовка, связанная с созданием последнего. Например, древнегреческое слово «усиа» (οὐσία). Изначально оно означало «имущество (недвижимость), состояние» [7. С. 355]. Но в философском контексте трансформировалось исключительно в некое умозрительное представление, не связанное с материальным началом (как это изначально было выражено в виде имущества, недвижимости, либо состояния). По сути, произошло «удвоение» мира, сформирована новая реальность, и в ней это понятие становится философским термином. Как уточняет А.В. Ахутин, Аристотель посредством «усиа» (οὐσία) в своей «Метафизике» выражает уже иную концептуальную область нежели в своем изначальном варианте, а также уточняет коммуникативный контекст употребления этого термина, который свидетельствует о том, что об этом термине уже ничего нельзя сказать. «Аристотель в своем философском словаре (V кн. «Метафизики») определяет: либо последнее подлежащее, которое уже ни о чем не сказывается, либо форма и вид каждого (ἐκάστου ἡ μορφή καὶ τὸ εἶδος), вид, некоторым образом содержащий все» [7. С. 355].

Не случайно тому же Аристотелю приходится использовать другой прием для разработки своей философской терминологии, когда он идет не от концептуальной (знаниевой) составляющей, а от языка (лингвистической) составляющей. Для него это вполне естественно, поскольку эту концептуальную сферу еще нужно сформировать. «Поэтому Аристотель всякий раз движется от имен к определениям, разбираясь в прагматике и полисемии языка» [7. С. 355].

Кстати, образование философской терминологии – это крайне интересный эпистемологический, лингвистический и терминологический феномен. Дело в том, что эта терминология характеризуется высокой степенью абстрактности и неопределенности (как было выше обозначено у Аристотеля, эта терминология уже ни о чем не говорит или не может сказать). Философия представляет собой предельную сферу знаний (концептов), за границы которой субъект выйти не в состоянии ни ментально, ни эпистемологически, ни лингвистически, ни коммуникативно. Поэтому в данной сфере знаний очень сложно создавать новые термины, так как для их полноценного функционирования необходима полная модель мира, содержащая концептуальную, коммуникативную, лингвистическую составляющие. Не случайно в философии огромную роль играют термины древнегреческого формата, поскольку в эту эпоху философы провели невероятную интеллектуальную работу и создали столь значимый философский терминологический фундамент.

Даже такой философ-новатор, как И. Кант (тот, кто сравнивал свои исследования с коперниканской революцией), не стремился создавать новые термины, а старался, если это возможно, использовать старые термины, задавая им соответствующую концептуальную, лингвистическую, коммуникативную наполняемость. Как отмечает Э. Санчо-Адамсон, нежелание И. Канта

создавать новые термины не случайно. Фактически изучение размышлений Канта на эту тему обнаруживает мыслителя, который последовательно выражает свое предпочтение заимствованию традиционных терминов (слов) из общего языка или дошедших до нас слов (терминов) из вымерших языков, вместо создания новых терминов.

В то же время поддержка Кантом ранее существовавшей терминологии не связана со своего рода некритически принятым лингвистическим консерватизмом. Просто для И. Канта философия – это дисциплина, концепты которой не могут быть надежно определены или конкретно представлены в ее терминах. Точнее, во-первых, нельзя надежно определить философский концепт и обозначить его соответствующим термином; во-вторых, нет ничего в терминах, которые по своей сути привязывали бы их к конкретным философским концептам, поскольку представления последних абстрактны [8. С. 155].

Примеры с философскими терминами подчеркивают многоуровневость терминологической работы, где без учета каждой составляющей фактически сложно представить такую терминологию, которая бы позволяла понять термин во всей его полноте и использовать наиболее эффективно в процессах познания, коммуникации, творчества, при переводах и т.д. Чтобы лишний раз проиллюстрировать непростой по способам и по содержанию процесс терминологической деятельности, процитирую еще раз А.В. Ахутину, который очень четко показывает на примере перевода философского текста с одного языка на другой, что нужно делать помимо простой замены терминов одного языка терминами другого языка. «Перевод философского текста требует не только филологической, но и философской работы, потому что он предполагает не только перевод с языка на язык, но и переход из одного умозримого мира в другой. Условия задачи делают ее почти неразрешимой, потому что философский *термин* имеет собственное значение только в системе – в монаде философской системы, не имеющей окон» [7. С. 352].

Получается, что при осуществлении терминологической работы в условиях когнитивного поворота нельзя ограничиваться при формировании терминологии одной концептуальной сферой и исключать коммуникативный контекст, нельзя игнорировать лингвистические свойства термина и его историю применения в той или иной области знаний (концептов). Это не означает, что пора словарей, справочников по какой-либо избранной области знаний (концептов) закончилась. Нет, они необходимы и важны, но в данной ситуации такие издания не являются конечным продуктом терминологической деятельности. Их необходимо вписать во всевозможные контексты функционирования, следующие из содержания (концептуальной) и языковой (лингвистической) сфер, что фактически сформирует коммуникативные возможности последних. Если в рамках предыдущей парадигмы (позитивистской парадигмы терминологии) работа со словарями «венчала» познавательный процесс, свидетельствовала об его окончательном этапе, то в условиях смены терминологической парадигмы, связанной с «когнитивным поворотом» в эпистемологии, такая работа будет связана с любым этапом познавательного процесса, поскольку словарь, организованный как многоуровневый инструмент (лингвистический, концептуальный, коммуникативный и т.д.),

демонстрирует открытость и незавершенность познания, то, что в любой момент здесь может что-то измениться.

Поскольку одной из ключевых характеристик современной эпистемологии является децентрализация как процесса познания в целом, так и его составляющих, то данное свойство следует использовать при терминологической работе. Как представляется авторам, наиболее подходящей формой организации терминологической продукции будет являться сетевая форма. Сетевая форма предполагает, что в ее структуре отсутствует иерархия и центр, каждый элемент (участник) сетевой структуры находится в равноправной позиции и может как появиться, так и исчезнуть в любой момент и любым способом.

Конечно, можно сказать, что организатор (администратор) сетевого взаимодействия имеет больше прав и способен манипулировать участниками сетевой коммуникации. Но нельзя не отметить, что такая его функция не мешает вам выйти из сети, если почувствуете на себе негативные следствия от деятельности организатора, а также то, что в сетевом пространстве такие негативные способы воздействия будут видны и могут негативно сказаться на нем самом. Поэтому сетевая форма взаимодействия – это наиболее открытая, свободная, равноправная, децентрализованная форма взаимодействия, несмотря на имеющиеся риски.

То, что сетевая форма действительно имеет открытый и оптимальный характер для любого взаимодействия (в том числе при осуществлении терминологической работы), отмечают многие исследователи. В частности, Г.В. Можаява так характеризует эту форму взаимодействия: «Под сетевым взаимодействием в данном случае мы понимаем взаимодействие самостоятельных субъектов, осуществляемое на основе сетевых технологий. Признаками сетевого взаимодействия при таком подходе являются: автономный статус каждого субъекта; добровольный характер участия в решении общей задачи; доступность материалов совместной деятельности для всех субъектов сети; наличие соответствующей технической поддержки – возможность использования сетей телекоммуникации в интерактивном режиме. В качестве основных свойств сетевого взаимодействия обозначим единую среду взаимодействия, множество связей (степеней свободы), в том числе междисциплинарных, нелинейный характер взаимодействия, открытую форму информационного обмена с внешней средой... Сетевая структура – это структура, в которой могут возникать и двойное подчинение, и межуровневое взаимодействие, причем одни и те же субъекты могут выступать как в роли управляющих органов, так и в роли управляемых агентов, то есть вступать в сетевое взаимодействие» [9. С. 8–12].

В силу сказанного представляется, что организация терминологической деятельности не должна строиться на основе иерархической структуры. Терминологический формат должен иметь открытый характер, демонстрируя связи термина не только с другими терминами одной концептуальной (знаниевой) области, но и с другими концептуальными областями, где возможны пересечения с его лингвистическими и коммуникативными аспектами во всем спектре научных и профессиональных знаний [10]. Поэтому, заглядывая в словарь, созданный по внеиерархической схеме и по сетевому формату, вы скорее получаете не столько готовый результат, сколько знание, с которым

вам еще предстоит терминологически, концептуально и коммуникативно определиться. И то, как вы будете определяться, зависит исключительно от вас и того контекста, в котором вы это делаете (формата его организации по числу участников, ситуации общения, решаемой проблемы и социальной значимости последней).

Собственно, данные тенденции уже активно проявляются в терминологической работе, о чем говорит возникновение в данной области когнитивных теорий терминологического планирования. И те процессы, которые авторы описывали выше, в этих теориях активно отражаются. Обратимся для демонстрации сказанного к когнитивным теориям терминологического планирования на примере социокогнитивной теории Р. Теммерман, фреймовой теории П. Фабер.

Когнитивные теории терминологии

Социокогнитивная теория терминологии Р. Теммерман. Данная концепция терминологии появляется в начале XXI в. и во многом является следствием изменения представлений о когнитивных процессах в философских, научных и технологических знаниях. Также становление этой теории было реакцией на долго доминирующую в области терминологической работы общую теорию терминологии О. Вюстера с его позитивистскими установками на точность, строгость и однозначность значений (концептов) терминов, на стандартизацию значений (концептов) как самый оптимальный результат терминологической работы, на необходимость планировать терминологическую деятельность под потребности стандартизации и т.д.

Р. Теммерман полагает, что термин – это сложная конструкция, а не просто лингвистический знак, которому приписывается в одной области знаний какое-то одно значение (концепт), как это прописано в общей теории терминологии. Нельзя исключать фактор языка, фактор ситуации, фактор междисциплинарности, фактор социума. Р. Теммерман отмечает, что сегодня уже не столь актуален вопрос «что такое термин?». Важнее вопрос «что будет считаться термином в рамках данного конкретного проекта по решению проблемы?». Терминологов больше не интересуют вопросы «что такое концепт?» и «с чего начать – с термина или с концепта?», намного актуальнее понимание того, как концепты и термины могут быть связаны в системе управления данными, которая поможет улучшить коммуникацию и которая будет поддерживать не только человеческое понимание, но и вычислительное управление, обработку и поиск информации [11].

Когнитивный характер данной теории терминологии подчеркивает ее основное понятие, которое не есть ни термин, ни концепт, а результат их интеграционного взаимодействия – единица понимания (*unit of understanding*). Единица понимания представляет собой демонстрацию сложной структуры терминологического процесса, который не ограничивается ни семантическим форматом (значением термина) и ни концептуальной составляющей (знанием предмета из той дисциплинарной области, в рамках которой используют термин). Эта структура предполагает достижение еще более существенного уровня – уровня понимания, связанного с социальным измерением того значения и знания, которые обусловлены используемым термином и демонстрируют ситуационный аспект коммуникации.

Как отмечает Р. Теммерман с соавторами, ориентация на понимание прежде всего подчеркивает другой аспект, который необходимо учитывать, – динамическую природу термина как следствие того факта, что наше понимание реальности и некоторых явлений в действительности постоянно претерпевает изменения. Дело в том, что существуют разные степени понимания в зависимости от типа пользователя. Техническое определение данного термина может быть понято опытным специалистом, но не обязательно переводчиком-специалистом. Следовательно, одно «идеальное» определение единиц понимания, посредством которого значение определяется на основе уникальных и достаточных свойств, часто невозможно и нежелательно.

Исследования процессов перевода, например, таких вопросов, как «кто такие пользователи?» и «какая информация им требуется?», показали, что переводчикам специализированных текстов необходим доступ к многоязычным специализированным словарям, в которых указаны способы структурирования терминов в сети внутри- и межъязыковых отношений. Внутряязыковые отношения определяют, как термины в данном языке и в данной области связаны друг с другом. Межъязыковые отношения определяют, как в данной области термины из разных языков семантически и концептуально связаны друг с другом. Без такого анализа связей термина с областью значений и знаний, со структурой его языковых параметров степень понимания не будет достигать своей возможной полноты, соответственно скажется на качестве коммуникации [12].

Обусловленность понимания сложной структурой контекстов терминологии (семантическим, концептуальным, языковым (внутри одного и нескольких), ситуационным и т.д.) позволяет структурировать единицы понимания (units of understanding) как прототипические и как единичные. Прототипичность единиц понимания (units of understanding) обусловлена схожестью социального контекста, в рамках которого для решения одной и той же проблемы в разных языковых сферах привлекаются схожие термины, значения, концепты и т.д. Такого рода единицы понимания (units of understanding) авторы социокогнитивной теории терминологии характеризуют как категории. Там же, где контекст единицы понимания (unit of understanding) связан с уникальной (неповторимой) ситуацией, они используют слово «концепт». Как пишут Р. Теммерман, К. Кереманс, «мы различаем категорию и концепт как два вида единиц понимания. Лишь несколько единиц понимания, кажется, не имеют структуры прототипа и поэтому могут быть названы концептами. Те, которые имеют структуру прототипа, мы называем категориями» [13].

Это различение единиц понимания (units of understanding) удобно для демонстрации терминологии как когнитивного феномена, потому что, во-первых, с помощью такого измерения, как понимание, в этом процессе обозначены все его составляющие (термин, значение, концепт, ситуация, язык и т.д.); во-вторых, учитывается динамизм понимания, поскольку категории выражают определенные стабильные аспекты (упрощающие процесс терминологической работы прежде всего в познавательном плане), а концепты выражают новые аспекты (позволяющие понять что мы имеем дело с какими-то новыми элементами единиц понимания (units of understanding) терминологического, семантического, концептуального, языкового, социального и других планов).

Динамизм и когнитивный характер терминологической деятельности связан с учетом новых носителей терминологической информации в рамках данной теории. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) подстегнуло терминологов использовать их возможности. В каком-то смысле информационные носители значений и знаний совершили революцию в терминологии, что отразилось в смене методологии последней, способах ее организации и функционирования. И когнитивные теории терминологии отреагировали на это наиболее оперативно, особенно теория Р. Теммерман.

Основной базой для терминологии стали так называемые базы данных (информационные платформы в той или иной области знаний) или онтологии. Только онтологии здесь выступают в качестве своеобразных аналогов онтологий в философском понимании (сущее Парменида, идеи Платона, универсалии в средневековой схоластике и т.д.), но имеющих иную информационную основу. Как отмечают специалисты из области ИКТ, «онтологии, упрощенно говоря, представляют собой описания знаний, сделанные достаточно формально, чтобы быть обработаны компьютерами. Такие формальные описания используются в самых различных и порой достаточно неожиданных областях компьютерной науки... в которой рассматривались различные аспекты взаимодействия интеллектуальных систем между собой и с человеком. Интеллектуальными системами называются программы, которые моделируют некоторые аспекты интеллектуальной деятельности человека» [14. С. 61].

Собственно, работа с онтологиями, как они интерпретируются в сфере информационных технологий, представляет собой терминологическую работу, так как включает туда обработку знаний, значений, терминов (языка) и т.д. Поэтому в социокогнитивной модели терминологии основной методологической опорой становится термонтографический подход (термонтография). Термонтография представляет собой интеграцию полидисциплинарного типа, в рамках которого многообразие подходов терминологического анализа сочетается с многообразием методов онтологического анализа [13].

Термонтография предполагает, что терминологическая работа с онтологиями строится в информационной среде и должно сформировать как можно больше связей между онтологиями посредством терминологической основы (терминов, значений, концептов, языков и т.д.). Терминологический продукт обретает информационную оболочку (и как носитель, и как способ работы с продуктом), а также носит открытый и сетевой характер, что отражает те новшества в когнитивных науках, о которых шла речь раньше.

Теперь обратимся к фреймовой теории терминологии П. Фабер.

Фреймовая теория терминологии П. Фабер (теория терминологии, основанная на фреймах). Теория П. Фабер может быть не столь акцентирована на использование возможностей ИКТ как социокогнитивная теория терминологии, хотя также ориентирована на работу с онтологиями как базами знаний, в которых требуется устранить концептуальную и терминологическую путаницу. Тем не менее она имеет серьезный когнитивный вектор, который хорошо отражает современные трансформации применительно к пониманию образа познания.

Данная теория так же, как и социокогнитивная теория терминологии, появилась совсем недавно, в XXI в., и находится в стадии становления. Ее ос-

новые положения сформировались, и они исходят из когнитивного понимания термина и терминологической работы.

Ключевая идея фреймовой теории – не отрывать термин от текста, в котором последний употребляется. Но сам текст – это не просто определенный фрагмент, рассматриваемый сам по себе, это фрагмент, взятый из еще большего фрагмента другого текста, и т.д. П. Фабер таким подходом хочет подчеркнуть взаимообусловленность термина текстом, текста – какой-то профессиональной области знаний (концептов), области знаний (концептов) – человеческим опытом, включающим в себя личностную составляющую, языковую составляющую, профессиональную составляющую и т.д.

Как отмечают П. Фабер и М. Кабезас-Гарсия, «фрейм», интерпретируемый как схема или структура знаний, которая соединяет элементы и сущности, связанные с определенной сценой, ситуацией, являющимися частью человеческого опыта. Таким образом, фрейм – это организованный пакет знаний, который люди извлекают из долговременной памяти для осмысления мира. Учитывая, что концепты (знания) не могут существовать в вакууме, они становятся более значимыми, когда они связаны друг с другом и интегрированы во все более сложные конфигурации концептов (знаний). Формирование опыта предполагает применение накопленных концептов (знаний), полученных из аналогичных контекстов и ситуаций, чтобы понять сложные события и как с ними справиться.

В терминологии полезность встраивания концептов (знания) в ситуации также подчеркивается как способ обогащения концептуальных репрезентаций. Хотя контекст часто рассматривается как совокупность сегментов, которые предшествуют или следуют за словом или фразой, он также может быть связан с ситуацией, событиями или информацией, которые помогают пользователям понять что-либо и которые отражают конкретный профиль знаний. Таким образом, спецификация контекстов должна происходить на нескольких уровнях: от концептов до фрейма [15. Р. 199].

В то же время П. Фабер понимает, что многоуровневая форма спецификации контекстов должна иметь определенный способ ограничения. И таким ограничением она предлагает считать фрейм, который представляет определенную ситуацию применения специального знания, содержащего лингвистическую (термин), семантическую (значение), концептуальную (знание из области научной или профессиональной сферы), коммуникативную (ситуация) составляющие. Но именно концептуальная составляющая (знание) представляет собой, по мнению П. Фабер, источник для формирования фрейма, что и позволяет модель считать когнитивной по своей направленности.

Терминологическая деятельность должна строиться на основе формирования сети фреймов, обусловленной определенной научной, профессиональной, социальной проблемой. Отметим, что сетевой формат в этой модели признается как наиболее оптимальный при интерпретации терминологической работы как когнитивного процесса. Одновременно такой формат позволяет свободно учитывать интересы любых участников терминологического процесса. Это значит, что такой сетевой терминологический ресурс может гибко трансформироваться в зависимости от интересов тех его акторов, которые его организуют (представители предметной сферы, инженеры, философы и т.д.).

Сетевая структура фреймов будет зависеть от модели онтологии, в основе которой лежит модель концептуального домена (специального знания), точнее, способ его организации. Как уточняет П. Фабер с коллегами, цель онтологии домена – устранить концептуальную и терминологическую путаницы. Достижение этой цели осуществляется путем определения набора общих концептов, характеризующих область специализированного знания, а также их определений и взаимосвязи. В настоящее время широко признано, что построение модели домена зависит от системы организации концептов, которые представляют набор фреймов определенной профессиональной группы. А поскольку онтологии представляют интерес для лингвистов, терминологов, компьютерных инженеров и философов, они могут быть спроектированы и построены с различных точек зрения [16. Р. 2].

Таким образом, и в данной модели мы видим новые образы терминологической работы, которые во многом обусловлены когнитивным поворотом в эпистемологии вообще и в сфере терминологии в частности.

Выводы

Проведенный анализ влияния когнитивных изменений на понимание терминологии, термина, терминологической работы продемонстрировал, что последние имеют существенный эпистемологический потенциал и радикально меняют наши представления о том, что представляет собой терминология и как должна строиться терминологическая деятельность.

Во-первых, меняется понимание того, что такое термин и какова его роль в терминологической работе. Термин рассматривается как определенная знаковая конструкция, которая имеет несколько уровней: семантический, концептуальный, лингвистический, коммуникативный, социальный и т.д., чья модель может по-разному быть представлена. Например, как единица понимания (*unit of understanding*) в социокогнитивной теории, представляющая собой категориальный (схожий) способ применения термина в разных онтологиях или концептуальный (уникальный) способ применения термина в онтологиях. Или как фрейм в соответствующей теории терминологий, базирующийся на идее анализа термина без разрыва связи последнего с текстом, где он используется.

Это только лишь варианты представления термина и его интерпретации, которые в условиях когнитивного поворота могут варьироваться. Главное, что термин нельзя исключить из тех контекстов, в которых он применим. И в этом заключается его главная когнитивная функция.

Во-вторых, меняется понимание терминологической работы, задача которой теперь заключается не столько в собирании набора терминов, которые предлагают эксперты для описания той или иной специальной сферы знаний, сколько в установлении возможных корреляций между собираемыми терминами, их семантическими и концептуальными отношениями, коммуникативной составляющей и т.д. для построения терминологической сети, позволяющей пользователю понимать не только те значения и концепты термина, которые ему известны, но и все потенциальные связи этих отношений с другими семантическими и концептуальными областями. Иными словами, если раньше терминологическая работа выполняла резюмирующую функцию, завершала процесс освещения той или иной предметной (профессиональной)

сферы, что больше соответствовало образовательной функции, нежели когнитивной, то теперь терминологическая работа становится полноценным когнитивным процессом, в результате которого пользователь становится исследователем, что предполагает осуществление познавательного процесса посредством установления связи терминов с семантическими, концептуальными, коммуникативными и другими форматами.

В-третьих, меняется наше понимание результатов терминологической работы и их статуса. Результат терминологической работы в идеале представляет собой онтологию (базу знаний) в электронном формате, открытую для внесения дополнений, имеющую разные формы организации в зависимости от интересов пользователей и составителей. Ключевой характеристикой терминологической продукции является ее децентрализация и равенство статусов всех участников терминологического процесса как носителей разных семантических, концептуальных, коммуникативных, языковых и других практик.

В-четвертых, когнитивный характер терминологической деятельности может быть плюралистичен и не отменяет использование предыдущих моделей. В то же время модели терминологической деятельности могут иметь разные форматы (образы): коммуникативный, социальный, профессиональный и т.д. Уточнение этих форматов требует дополнительных исследований.

Список источников

1. Ардашкин И.Б., Суровцев В.А. Параллелизм семантических теорий аналитической философии и теорий терминологического планирования // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 70. С. 5–19. doi: 10.17223/1998863X/70/1
2. Фоменко А.П. Проблема субъекта в философии постмодернизма // Ценности и смыслы. 2016. № 2 (42). С. 8–18.
3. Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. М. : URSS, 2008. 256 с.
4. Капра Ф. Уроки мудрости. М. : Изд-во Трансперсонального института, 1996. URL: https://royallib.com/read/kapra_fritof/uroki_mudrosti.html#491520 (дата обращения: 18.02.2024).
5. Суровцев В.А. Следование правилу и социальная теория // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 3. С. 50–55.
6. Даниленко В.П. Ономастологическое направление в истории грамматики // Вопросы языкознания. 1988. № 3. С. 108–131.
7. Ахутин А.В. «Омонимия» в переводе философских понятий // EINA: Философия. Религия. Культура. 2012. Т. 1, № 1/2. С. 351–358.
8. Sancho-Adamson E. Kant's Philosophy of Language of Philosophy: On Philosophical Terminology // Kant Yearbook. 2023. Vol. 15, № 1. P. 153–173.
9. Можяева Г.В. Сетевые структуры в образовании как фактор развития виртуальной академической мобильности // Гуманитарная информатика. 2009. Вып. 5. С. 8–17.
10. Ардашкин И.Б., Сидоренко Т.В. Публикационная активность и ее роль в оценке профессиональной деятельности научно-педагогических работников вузов (российский опыт) // Образование и наука. 2016. № 1 (130). С. 145–158.
11. Temmerman R. Approaches to terminology. Now that the dust has settled... // SYNAPS. 2007. № 20. P. 27–36.
12. Temmerman R., Kerremans K., De Baer P. Construing domain knowledge via terminological understanding // Linguistica Antverpiensia. 2008. № 7. P. 177–191.
13. Temmerman R., Kerremans K. Termontography: ontology building and the sociocognitive approach to terminology description. // Proceedings of CIL 17. 2003. Vol. 7. P. 1–10. URL: https://www.academia.edu/851013/Termontography_Ontology_building_and_the_sociocognitive_approach_to_terminology_description (accessed: 18.02.2024).

14. Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах // RSDN MAGAZINE. 2009. № 4. С. 61 – 67.
15. Faber P., Cabezas-García M. Specialized knowledge dynamics: From cognition to culture-bound terminology // Research in Language. 2019. № 17, iss. 2. P. 197–211.
16. Faber P., León P., Prieto J.-A. Semantic Relations, Dynamicity, and Terminological Knowledge Bases // Current Issues in Language Studies. 2009. № 1. P. 1–23.

References

1. Ardashkin, I.B. & Surovtsev, V.A. (2022) Parallelism of semantic theories of analytical philosophy and theories of terminological planning. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 70. pp. 5–19. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/70/1
2. Fomenko, A.P. (2016) Problema sub"ekta v filosofii postmodernizma [The problem of the subject in the philosophy of postmodernism]. *Tsennosti i smysly*. 2(42). pp. 8–18.
3. Weinberg, S. (2008) *Mechty ob okonchatel'noy teorii. Fizika v poiskakh samykh fundamental'nykh zakonov prirody* [Dreams about the Final Theory. Physics in Search of the Most Fundamental Laws of Nature]. Translated from English. Moscow: URSS.
4. Capra, F. (1996) *Uroki mudrosti* [Lessons of wisdom]. Moscow: Transpersonal Institute. [Online] Available from: https://royallib.com/read/kapra_fritof/uroki_mudrosti.html#491520 (Accessed: 18th February 2024).
5. Surovtsev, V.A. (2020) Rule-following and social theory. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 57(3). pp. 50–55. (In Russian). DOI: 10.5840/eps202057340
6. Danilenko, V.P. (1988) Onomasiologicheskoe napravlenie v istorii grammatiki [Onomasiological direction in the history of grammar]. *Voprosy yazykoznaniya*. 3. pp. 108–131.
7. Akhutin, A.V. (2012) “Omonimiya” v perevode filosofskikh ponyatiy [“Homonymy” in the translation of philosophical concepts]. *EINAI: Filosofiya. Religiya. Kul'tura*. 1(1/2). pp. 351–358.
8. Sancho-Adamson, E. (2023) Kant's Philosophy of Language of Philosophy: On Philosophical Terminology. *Kant Yearbook*. 15(1). pp. 153–173.
9. Mozhaeva, G.V. (2009) Setevye struktury v obrazovanii kak faktor razvitiya virtual'noy akademicheskoy mobil'nosti [Network structures in education as a factor in the development of virtual academic mobility]. *Gumanitarnaya informatika*. 5. pp. 8 – 17.
10. Ardashkin, I.B. & Sidorenko, T.V. (2016) Publikatsionnaya aktivnost' i ee rol' v otsenke professional'noy deyatelnosti nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov vuzov (rossiyskiy opyt) [Publication activity and its role in assessing the professional activities of university scientists and educators (the Russian case)]. *Obrazovanie i nauka*. 1(130). pp. 145–158.
11. Temmerman, R. (2007) Approaches to terminology. Now that the dust has settled... *SYNAPS*. 20. pp. 27–36.
12. Temmerman, R., Kerremans, K. & De Baer, P. (2008) Constructing domain knowledge via terminological understanding. *Linguistica Antverpiensia*. 7. pp. 177–191.
13. Temmerman, R. & Kerremans, K. (2003) Termontography: ontology building and the socio-cognitive approach to terminology description. *Proceedings of CIL 17*. 7. pp. 1–10. [Online] Available from: https://www.academia.edu/851013/Termontography_Ontology_building_and_the_sociocognitive_approach_to_terminology_description (Accessed: 18th February 2024).
14. Lapshin, V.A. (2009) Ontologii v komp'yuternykh sistemakh [Ontologies in computer systems]. *RSDN MAGAZINE*. 4. pp. 61–67.
15. Faber, P. & Cabezas-García, M. (2019) Specialized knowledge dynamics: From cognition to culture-bound terminology. *Research in Language*. 17(2). pp. 197–211.
16. Faber, P., León, P. & Prieto, J.-A. (2009) Semantic Relations, Dynamicity, and Terminological Knowledge Bases. *Current Issues in Language Studies*. 1. pp. 1–23.

Сведения об авторе:

Ардашкин И.Б. – доктор философских наук, доцент; профессор отделения социально-гуманитарных наук школы базовой инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: ibardashkin@tpu.ru

Ардашкина А.И. – лаборант отделения социально-гуманитарных наук школы общественных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета

(Томск, Россия); студентка факультета иностранных языков Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: ardashkinaai@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Ardashkin I.B. – Dr. Sci. (Philosophy), docent; professor of the Department of Social Sciences and Humanities, School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ibardashkin@tpu.ru

Ardashkina A.I. – laboratory assistant at the Department of Social Sciences and Humanities, School of Social Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation); student of the Faculty of Foreign Languages, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ardashkinaai@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 11.05.2024;
одобрена после рецензирования 15.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 11.05.2024;
approved after reviewing 15.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 162

doi: 10.17223/1998863X/80/2

ПРОБЛЕМА ГИПЕРКОННЕКСИВНОСТИ В ЧИСТЫХ ТЕОРИЯХ КОННЕКСИВНОЙ ИМПЛИКАЦИИ

Александр Александрович Беликов

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
belikov@philos.msu.ru*

Аннотация. Предлагается метод решения проблемы гиперконнексивности для так называемых чистых теорий коннексивной импликации. На примере одной из таких теорий, которая также является фрагментом, пожалуй, наиболее известной в современной литературе коннексивной логики С, разработанной Х. Вансингом, мы покажем, что незначительная модификация условия ложности для импликативных формул, учитывающая не только информацию о ложности консеквента, но и о его неистинности, позволяет избежать гиперконнексивности даже для теорий, сформулированных в таком «бедном» пропозициональном языке, содержащем только импликацию и отрицание.

Ключевые слова: условные высказывания, коннексивная логика, конструктивная логика, логическая семантика, импликация

Благодарности: исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 23-78-01034 «Контр-классические логики», реализуемый в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Для цитирования: Беликов А.А. Проблема гиперконнексивности в чистых теориях коннексивной импликации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 23–33. doi: 10.17223/1998863X/80/2

Original article

THE PROBLEM OF HYPER-CONNEXIVITY IN PURE THEORIES OF CONNEXIVE IMPLICATION

Alexander A. Belikov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, belikov@philos.msu.ru

Abstract. It is well known that in many systems of connexive logic not only the so-called Bothius and Aristotle theses are valid but also two “extra” formulas: $\neg(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$ and $\neg(A \rightarrow \neg B) \rightarrow (A \rightarrow B)$. Henceforth we will denote them as (HBI) and (HBII) respectively. According to some specialists, it is possible to find an interpretation of these formulae which illustrates the fact that the content relation between the antecedent and the consequent in the corresponding conditional statements is broken. This means that these laws are undesirable in theories claiming to formalize connexive implication. Our paper proposes a way to modify Heinrich Wansing’s approach to avoid this problem which is known in the literature as the problem of hyper-connexivity. The falsity condition of implicative statements used in the implicative-negative fragment of Wansing’s logic C can be informally interpreted as follows: the falsity of a conditional statement arises only when the truth of the antecedent implies the falsity of the consequent. In other words, the negative semantic information contained in the consequent arises precisely as a consequence of the truth of the antecedent, and not simply along with its truth. It can be seen that in Wansing-type systems, the negative semantic

information of a statement is not uniquely determined when the interpreter has positive semantic information. If the interpreter has been able to establish that the truth of a statement p is forced by the information state x , then this says absolutely nothing about whether the falsehood of p is forced by x or not. It is similar for the situation when the negative semantic information is available to the interpreter in the first place. This gives him no reason to judge anything unambiguously about the positive semantic information. When considering Wansing's condition, it is easy to see that it differs from the classical falsity condition not only structurally, but also in that it does not take into account the negative semantic information about the truth of the consequent. We propose a generalization of Wansing's condition by requiring that an information state forces the falsehood of a conditional statement only if any information state that forces the truth of the antecedent of that statement, when combined with the initial state, forces the falsehood of the consequent *or does not force its truth*. This modification allows us to show the refutability of principles (HBI) and (HBII), while preserving the general validity of Aristotle's and Boethius' theses.

Keywords: conditionals, connexive logic, constructive logic, logical semantics, implication

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-78-01034.

For citation: Belikov, A.A. (2024) The problem of hyper-connexivity in pure theories of connexive implication. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 23–33. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/2

1. Коннексивная логика как разновидность контр-классической логики

Можно по-разному относиться к тому, что темпы производства все новых и новых неклассических логик уже давно достигли, кажется, предельных значений. Среди специалистов в области логики велика доля как сторонников такого логического плюрализма, так и противников. Но вне зависимости от чьих-либо предпочтений факт остается фактом – различных логических теорий разработано и продолжает разрабатываться очень много.

На что мы хотели бы обратить особое внимание, так это на то, чем мотивирована разработка этих теорий. Всех их принято помещать в категорию неклассических логик, т.е. таких, которые по умолчанию предполагают отказ от каких-либо принципов классической логики. Но даже среди неклассических логик можно выделить небольшое число теорий, которые не просто ограничиваются отказом от методологических принципов, лежащих в основе классической логики, но также выдвигают требование о принятии каких-то совершенно новых принципов, отсутствующих в самой классике. Речь идет о так называемых *контр-классических логиках*.

Автором термина «контр-классическая логика» считается Л. Хамберстоун. В своей одноименной работе он пишет:

«[М]ы называем логику *контр-классической* только в том случае, если не все, что доказуемо в этой логике, доказуемо и в классической логике. Поскольку на данный момент под тем, что может быть доказуемым или недоказуемым в некоторой логике, мы понимаем формулы... это попросту означает, что не всякая доказуемая в контр-классической логике формула является классически общезначимой» [3. С. 438–439]

Явным представителем этой категории логических систем является *коннексивная логика* (см.: [8]). В этом разделе современной символической логики главный фокус исследований сконцентрирован на тех особенностях отри-

цания условных высказываний (кондиционалов), которые присущи естественным рассуждениям человека, но не могут быть адекватно эксплицированы средствами классической логики.

В основе коннексивной логики лежит идея о том, что логическая связка импликация должна в том или ином виде отражать следующие содержательные требования о свойствах условной связи между высказываниями естественного языка:

- ни одно высказывание не должно быть следствием собственного отрицания;
- ни одно высказывание не должно иметь в качестве следствия собственное отрицание;
- ни одно высказывание не должно иметь в качестве следствия два противоречащих друг другу высказывания сразу.

Существует несколько способов формализации этих предпосылок, но общепринятый способ заключается в том, чтобы закодировать их в виде требования об общезначимости (доказуемости) следующих пропозициональных формул, содержащих, по крайней мере, связки импликации и отрицания: $\neg(\neg A \rightarrow A)$ (тезис Аристотеля I), $\neg(A \rightarrow \neg A)$ (тезис Аристотеля II), $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \rightarrow B)$ (тезис Боэция I) и $(A \rightarrow B) \rightarrow \neg(A \rightarrow \neg B)$ (тезис Боэция II)¹.

Примечательно, что ни одна из указанных формул не является законом классической логики высказываний. В этом нетрудно убедиться, используя метод таблиц истинности и интерпретируя $\rightarrow$ как материальную импликацию, а $\neg$ – как классическое отрицание. Именно это обстоятельство и позволяет судить о том, что любая теория, в которой данные формулы окажутся законами, автоматически попадает в категорию контрклассических логик, ведь в ней будут такие законы, которых нет в классической логике.

Далее в нашей статье представлены так называемые чистые теории коннексивной импликации. В параграфе 2 сформулирована проблема гиперконнексивности. Это неоднозначное свойство многих коннексивных логик, на разработку метода устранения которого и направлена наша статья. Параграф 3 содержит экспозицию формальной семантики для одной из самых известных и значимых коннексивных логик – конструктивной коннексивной логики Вансинга С. В параграфе 4 предложена модификация семантики из параграфа 3, в результате которой нами получена новая коннексивная логика, свободная от гиперконнексивности. Наконец, в параграфе 5 мы кратко обсуждаем возможное обобщение полученного результата и намечаем проблему для будущего исследования.

2. Проблема гиперконнексивности

Название «коннексивная логика» возникло в результате калькирования английского термина «*connexive logic*», который, в свою очередь, был образован от слова «*connexion*» (по-русски – «связь»). То есть в самом названии этого раздела логики содержится указание на то, что основной объект исследования – это связь по содержанию между антецедентом и консеквентом

¹ Имена Аристотеля и Боэция в названиях этих формул упоминаются не случайно, и это общепринятая терминология. Читатель может подробнее ознакомиться с историей этих «тезисов» по ссылке [8].

условного высказывания. В этом ракурсе очевидно, что коннексивная логика тесно связана с таким направлением, как релевантная логика.

Основатель современной коннексивной логики и, собственно, автор этого названия С. МакКолл мотивировал этот выбор ссылкой на фрагмент, приписываемый известному античному логик Хриссиппу:

«[Т]е, кто вводит понятие связи, говорят, что условное высказывание корректно, когда высказывание, противоречащее его консеквенту, несовместимо с его антецедентом» [4. С. 415]

По мнению МакКолла, общезначимость (доказуемость) тезисов Аристотеля и Боэция является необходимым условием для того, чтобы между антецедентом и консеквентом истинного условного высказывания возникала связь по содержанию. Однако вслед за другими исследователями [10] мы отметим, что МакКолл не уточняет, как именно в строгом смысле слова тут понимается связь по содержанию. В связи с этим исследования в области коннексивной логики связаны не столько с разработкой подходов к формальной экспликации упомянутой связи по содержанию, сколько с разработкой подходов к построению логических теорий, в которых тезисы Аристотеля и Боэция являлись бы законами.

Среди таких подходов наиболее значимым и поистине революционным стал подход, разработанный немецким логиком Х. Вансингом [9]. Об этом подходе подробнее будет сказано в следующих параграфах. Сейчас же нам хотелось бы обратить внимание на то, что, с точки зрения МакКолла, подход Вансинга хоть и признается как успешный, но при этом не соответствует той самой предпосылке о связи по содержанию между антецедентом и консеквентом кондиционала.

МакКолл справедливо отмечает [4. С. 446], что в системе Вансинга (и многих других системах, построенных по методу Вансинга) законами являются не только необходимые тезисы Аристотеля и Боэция, но также и две «лишние» формулы: $\neg(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$ и $\neg(A \rightarrow \neg B) \rightarrow (A \rightarrow B)$. Отныне будем обозначать их как (НВІ) и (НВІІ) соответственно.

Согласно МакКоллу, можно подобрать конкретную интерпретацию этих формул, которая иллюстрирует факт нарушения связи по содержанию между антецедентом и консеквентом в соответствующих условных высказываниях. А значит, эти законы нежелательны в теориях, претендующих на формализацию коннексивной импликации.

МакКолл приводит следующий пример. Подставим в формулу (НВІ) вместо А высказывание «трава зеленая», а вместо В – «снег белый». Тогда очевидно, что антецедент (НВІ) «неверно, что если трава зеленая, то снег белый» истинен. Из этого, как предписывает логическая форма (НВІ), должно следовать высказывание «если трава зеленая, то неверно, что снег белый». Но это, как отмечает МакКолл, контринтуитивное следствие.

Без привязки к идее о связи по содержанию избыточность формул (НВІ) и (НВІІ) была также отмечена и другим известным логиком Ричардом Силваном [6]. Он предложил использовать термин «гипер-коннексивные логики» применительно к тем логическим теориям, в которых помимо тезисов Аристотеля и Боэция законами являются также (НВІ) и (НВІІ).

Далее в статье предложен способ модификации подхода Вансинга, позволяющий избежать проблемы гиперконнексивности.

3. Чистая теория коннексивной и конструктивной импликации

Когда мы говорили о коннексивной логике Вансинга, мы имели в виду логическую теорию **C**, разработанную в статье [9]. Но с момента создания логики **C** метод семантического моделирования коннексивной импликации, применяемый в ней, был обобщен и успешно адаптирован для большого числа логик и различных видов формальных семантик, как истинностно-функциональных, так и реляционных.

Сама же логика **C** была получена Вансингом в результате, на первый взгляд, незначительной модификации другой хорошо известной, но не коннексивной логики – паранепротиворечивой конструктивной логики Нельсона **N4** [5].

Как известно, и **N4**, и **C** – это теории, которые обычно строятся в языке с достаточно богатым набором логических связок: конъюнкцией, дизъюнкцией, импликацией и отрицанием. Поскольку нам хотелось бы вести исследование коннексивности в максимально общем контексте, мы не будем определять и обсуждать логику **C** в таком богатом языке и сконцентрируемся на ее фрагменте, содержащем только импликацию и отрицание. Тем более что упомянутые во введении характерные признаки коннексивности (наличие тезисов Аристотеля и Боеция) не предполагают ничего, кроме импликации и отрицания.

Важно отметить, что импликативно-отрицательный фрагмент логики **C** был впервые исследован как с семантической, так и с теоретико-доказательной точки зрения не Вансингом, а Й. Вайсом в работе [11]¹. Именно поэтому, обсуждая в дальнейшем импликативно-отрицательную логику **C**, мы будем говорить о теории, разработанной Вайсом, но при этом ассоциировать ее и с Вансингом.

Вайс разработал свою семантику для импликативно-отрицательной логики **C** путем адаптации хорошо известного метода «операциональной» или «полурешеточной» семантики А. Уркварта для релевантных логик [7].

Воспроизведем семантическое определение импликативно-отрицательной логики **C** из статьи [11] с незначительными изменениями в нотации².

Модельная структура определяется как упорядоченная тройка: $\langle S, 0, \cup \rangle$, где S – непустое множество «информационных состояний», которое можно с содержательной точки зрения понимать как множество информационных состояний некоторой научной теории, 0 – элемент множества S , который можно трактовать как начальное информационное состояние научной теории, и $\cup$ – бинарная операция на множестве S , обладающая следующими свойствами для всяких a, b и c из S : $a \cup a = a$ (идемпотентность), $a \cup b = b \cup a$ (коммутативность), $a \cup (b \cup c) = (a \cup b) \cup c$ (ассоциативность) и $0 \cup x = x$ (тождество).

¹ Там же эта и другие более слабые логические теории были обозначены как «чистые теории коннексивной импликации» по аналогии с тем, как во времена активного развития релевантной логики теории релевантной импликации и следования, содержащие только одну логическую связку $\rightarrow$, назывались «чистыми теориями релевантной импликации и следования».

² Напомним, что эта и все обсуждаемые в дальнейшем логические теории определяются на базе стандартно определяемого пропозиционального языка, содержащего только импликацию $\rightarrow$ и отрицание $\neg$. Обратим также внимание, что мы часто будем использовать термин «высказывание», имея при этом в виду пропозициональную формулу, соответствующую этому высказыванию. Такое употребление терминов выбрано нами, исключительно чтобы сделать текст менее нагруженным техническими деталями и доступным более широкому кругу читателей. В ситуациях, когда это упрощение может привести к проблемам, мы, разумеется, будем избегать такого употребления и выражать свою мысль точнее.

С содержательной точки зрения можно трактовать операцию $\cup$ как операцию сочленения или объединения различных информационных состояний научной теории.

Теперь определим модель, с помощью которой задается формальная семантика для импликативно-негативной логики $\mathbf{C}$.

Модель Вайса для импликативно-негативной логики $\mathbf{C}$ определяется как упорядоченная пятерка: $\langle S, 0, \cup, V^+, V^- \rangle$, где $\langle S, 0, \cup \rangle$ – определенная выше модельная структура, а V^+ и V^- – две функции, каждая из которых приписывает атомарным высказываниям языка произвольное (возможно, и пустое) множество информационных состояний из S . Функция V^+ в этом контексте понимается как функция приписывания истины, а функция V^- – как функция приписывания лжи. Соответственно, выражение $w \in V^+(p)$ читается как «информационное состояние w вынуждает истинность высказывания p ». В свою очередь, выражение $w \in V^-(p)$ читается как «информационное состояние w вынуждает ложность p ».

Отличительная особенность этой модели в том, что приписывание истинности и ложности некоторому высказыванию осуществляется независимым друг от друга образом.

При данном подходе функции приписывания значений могут быть заданы таким образом, что любое высказывание может быть только истинным, только ложным, одновременно истинным и ложным или вовсе оказаться ни истинным, ни ложным. Для иллюстрации возьмем атомарное высказывание p , модель, содержащую только одно информационное состояние w , и перечислим четыре разных варианта того, как можно приписать значения:

- $V^+(p) = \{w\}$ и $V^-(p) = \{w\}$ – информационное состояние вынуждает как истинность, так и ложность высказывания p ;

- $V^+(p) = \{w\}$ и $V^-(p) = \emptyset$ – информационное состояние вынуждает только истинность p ;

- $V^+(p) = \emptyset$ и $V^-(p) = \{w\}$ – информационное состояние вынуждает только ложность p ;

- $V^+(p) = \emptyset$ и $V^-(p) = \emptyset$ – информационное состояние w не вынуждает ни истинность, ни ложность p .

Следующий шаг в определении модели Вайса предполагает использование важного семантического постулата, фиксирующего требование о конструктивности истины и лжи: для любых x и y из S верно, что

если $x \in V^+(p)$, то $x \cup y \in V^+(p)$ – свойство сохранности истины; (i)

если $x \in V^-(p)$, то $x \cup y \in V^-(p)$ – свойство сохранности лжи. (ii)

В соответствии с этими условиями для любого атомарного высказывания верно, что если оно истинно (ложно), то его истинность (ложность) сохраняется в любом расширении исходного информационного состояния. Вкупе с приведенными ниже семантическими определениями для импликации и негации можно доказать, что свойства сохранности истины и лжи имеют место не только для атомарных высказываний, но и для любых.

Определим теперь семантические условия для приписывания значений сложным высказываниям:

$x \Vdash_+ \neg A$, если и только если $x \nVdash_- A$; (1)

$x \Vdash_- \neg A$, если и только если $x \nVdash_+ A$; (2)

$x \Vdash_+ A \rightarrow B$, если и только если для любого $y \in S$ верно, что если $y \Vdash_+ A$, то $x \cup y \Vdash_+ B$; (3)

$x \Vdash_{-} A \rightarrow B$, если и только если для любого $y \in S$ верно,
что если $y \Vdash_{+} A$, то $x \cup y \Vdash_{-} B$. (4)

Наконец, завершая построение семантики, нам необходимо определить понятие общезначимого высказывания.

Высказывание A называется истинным в модели, если и только если $0 \Vdash_{+} A$. Если же это свойство выполняется в любой модели, т.е. высказывание A является истинным в любой модели, то его называют общезначимым в логике S .

Используя только что введенные формальные определения, читатель сможет самостоятельно убедиться в том, что в данной логике тезисы Аристотеля и Боэция являются общезначимыми.

Далее, мы рассмотрим возможное обобщение условия (4) и покажем, что это позволяет получить альтернативную трактовку коннексивной импликации, свободной от гиперконнексивности.

4. Ложь или не-истина

Несложно видеть, что условие (4) существенно отличается от классического подхода к определению ложности условных высказываний. Причем главное отличие здесь не в том, что в классическом подходе совсем необязательно вести учет точек оценивания (возможных миров, информационных состояний, ситуаций и пр.) высказываний. Вся суть отличия – в определяющей части условия (4). Она имеет форму условного метаязыкового высказывания, а не конъюнктивного, как в классической логике.

Для большей наглядности можно формализовать классический подход в терминах семантики Вайса:

$x \Vdash_{-} A \rightarrow B$, если и только если существует $y \in S$ такой,
что $y \Vdash_{+} A$ и $x \cup y \Vdash_{-} B$. (5)

Легко видеть, что структура определяющей части изменилась – в условии (5) используется конъюнктивное высказывание, образованное метаязыковым союзом «и», для утверждения об одновременной истинности антецедента и ложности консеквента. В случае же с условием (4) союз «и» в метаязыке заменяется на союз «если... то...». Именно это и позволяет достичь коннексивности.

Условие (4) может быть содержательно истолковано следующим образом: информационное состояние вынуждает ложность условного высказывания только в том случае, когда любое информационное состояние, вынуждающее истинность антецедента этого высказывания, будучи объединенным с изначальным состоянием, вынуждает ложность консеквента. Абстрагируясь от учета информационных состояний, условие (4) можно трактовать и в более общем виде: ложность условного высказывания возникает только в том случае, когда истинность антецедента этого высказывания влечет ложность его консеквента. Другими словами, негативная семантическая информация, содержащаяся в консеквенте, возникает именно *вследствие* истинности антецедента, а не просто *наряду* с его истинностью.

Мы не случайно прибегли к употреблению термина «семантическая информация». С логико-семантической точки зрения любое высказывание содержит определенную семантическую информацию касаясь своего значения, которую интерпретатор считывает в процессе познавательной деятельности.

Имеется в виду информация об истинности и информация о ложности высказывания. Обратим внимание, что каждую из этих двух разновидностей можно, в свою очередь, подразделить на две категории или два типа – позитивную и негативную.

Различие между позитивной и негативной семантической информацией можно объяснить следующим образом. Процесс установления значения высказывания интерпретатором заканчивается ответом на вопрос, является ли это высказывание, например, истинным. И ответ этот, очевидно, может быть либо утвердительным, либо отрицательным. Если ответ утвердительный, то интерпретатор получил своего рода позитивную информацию о значении высказывания – он знает, что оно истинно. Если же ответ отрицательный, то понятно, что информация, полученная интерпретатором, имеет негативную окраску, ведь интерпретатор имеет информацию о том, что высказывание не обладает тем значением, на установление которого был сделан запрос.

Разумеется, прагматический аспект познавательной деятельности оставляет интерпретатору возможность для того, чтобы запрос на установление значения высказывания был выражен не вопросом об истинности, а вопросом о ложности высказывания. И в этом случае события развиваются по аналогичному сценарию. На вопрос о ложности в конечном счете приходит либо утвердительный, либо отрицательный ответ. В этом случае мы снова видим, что интерпретатор может иметь дело с двумя типами семантической информации – позитивной и негативной соответственно.

Отметим, однако, что в классической семантике позитивная и негативная информация в некотором смысле зависимы или даже тривиально выразимы друг через друга. Например, информация о том, что высказывание ложно, свидетельствует также и о том, что оно не истинно. Аналогично и в обратную сторону: информация об истинности высказывания дает основание интерпретатору утверждать его не-ложность.

Такое взаимоотношение между двумя типами семантической информации, на наш взгляд, вполне оправданно назвать *семантическим детерминизмом*, поскольку в описанной ситуации каждый из двух типов семантической информации становится однозначно определенным при установлении семантической информации противоположного типа. Факт ложности (истинности) высказывания и факт не-истинности (не-ложности) высказывания с точки зрения классической семантики сообщают интерпретатору одно и то же. Поэтому любая негативная информация о значении высказывания автоматически конвертируется в позитивную и наоборот.

В случае же с неклассическими логиками, как мы видели ранее, отношения между тем, что мы называем позитивной и негативной семантической информацией высказывания, совершенно другие.

Применительно к семантике импликативно-негативной логики S , мы видим, что негативная семантическая информация высказывания не является однозначно определенной в том случае, когда интерпретатор располагает позитивной семантической информацией. Если интерпретатор смог установить, что истинность высказывания p вынуждается информационным состоянием x , то это совершенно ничего не говорит о том, вынуждает x ложность p или не вынуждает. Аналогично и в случае, если интерпретатору доступна нега-

тивная семантическая информация. Это не дает ему оснований однозначно судить о позитивной. Данную семантическую особенность, противопоставляя семантическому детерминизму, можно обозначить как *семантический индетерминизм*.

Это наблюдение позволяет нам провести сравнение классического условия ложности для импликации и коннексивного, выраженного в форме условия (4).

Если в классической логике позитивная и негативная семантическая информация по сути неразличимы, то, как мы отметили выше, возникает своеобразный “парадоксальный” эффект – любая позитивная семантическая информация может быть воспринята как негативная и наоборот: ложность равна не-истинности, а истинность равна не-ложности. В таком случае мы имеем основания для различных содержательных прочтений классического определения ложности импликации. Например, для следующих двух:

$A \rightarrow B$ ложно, только если A истинно и B ложно, (a)

$A \rightarrow B$ ложно, только если A истинно и B не истинно. (b)

Поскольку ложность тождественна не-истинности, и не-истинность – это разновидность негативной семантической информации, то и ложность можно рассматривать как разновидность негативной информации (так это обычно и воспринимается большинством исследователей). Таким образом, с точки зрения классической логики вполне допустимым было бы принять следующую неформальную трактовку ложности импликации:

$A \rightarrow B$ ложно, только если интерпретатору доступна позитивная информация об истинности A и негативная информация об истинности B . (c)

При сравнении этой трактовки и определения (4) нетрудно заметить, что (4) отличается от классического условия ложности не только структурно (об этом уже было сказано выше), но и тем, что оно совсем не учитывает негативную семантическую информацию об истинности консеквента.

Это возникает как раз в силу семантического индетерминизма. Если в условии (c) негативная информация об истинности консеквента позволяет вывести позитивную информацию о его ложности, что делает условия (a) и (b) взаимозаменяемыми, то в условии (4) позитивная информация о ложности консеквента никак не связана с негативной информацией о его истинности. Он может как быть, так и не быть истинным.

Ввиду сказанного нам кажется вполне естественным произвести обобщение условия (4) потребовав, чтобы информационное состояние вынуждало ложность условного высказывания только в том случае, когда любое информационное состояние, вынуждающее истинность антецедента этого высказывания, будучи объединенным с изначальным состоянием, вынуждало ложность консеквента *или не вынуждало его истинность*. Так мы сможем, на наш взгляд, немного приблизить коннексивное понимание ложности импликации к классическому.

Для формализации нового подхода нам достаточно заменить условие (4), введенное в предыдущем параграфе, на модифицированное условие (6):

$x \Vdash_+ A \rightarrow B$, если и только если для любого $y \in S$ верно,
что если $y \Vdash_+ A$, то $x \cup y \Vdash_- B$ или $x \cup y \Vdash_+ B$. (6)

Все остальные формальные определения, включая определение самой модели, остальных семантических условий для связок и определение общезначимости, остаются без изменений.

Проведенная модификация позволяет нам показать опровержимость принципов (НВІ) и (НВІІ), при этом сохранив общезначимость тезисов Аристотеля и Боэция.

Для обоснования опровержимости $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$ и $\neg(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (p \rightarrow q)$ достаточно рассмотреть контрмодель $\langle S, 0, U, V^+, V^- \rangle$, где $S = \{0, x\}$, операция U определена следующим образом:

U	0	x
0	0	x
x	x	x

и оценка атомарных высказываний задана так: $V^+(p) = \{0, x\}$, $V^-(p) = \emptyset$, $V^+(q) = \emptyset$ и $V^-(q) = \emptyset$.

5. Возможные обобщения: релевантность

Импликативно-негативная логика **C** отличается не только тем, что в ее формальной семантике использовано особое условие ложности для импликации, которое, как было показано выше и в других работах [1, 2], может быть успешно модифицировано во избежание гиперконнексивности. В этой семантике также защиты два семантических постулата, гарантирующих конструктивность обеих логик, как импликативно-негативной логики **C**, так и новой, построенной нами логики. Речь идет об утверждениях (i) и (ii) из параграфа 3. Именно благодаря этим свойствам моделей импликативный фрагмент импликативно-негативной логики **C** и новой предложенной нами логики совпадает с импликативным фрагментом интуиционистской логики, который обычно и трактуется, как формализация конструктивного подхода к пониманию условной связи.

Как было показано Урквартом в случае с релевантными логиками [7], и Вайсом в случае с чистыми теориями коннексивной импликации [11], отказ от этих постулатов позволяет получить импликацию, удовлетворяющую свойству релевантности. В частности, если мы оставим все определения, использованные для построения импликативно-негативной логики **C**, но уберем постулаты (i) и (ii), то полученная логическая теория, как показано Вайсом, есть коннексивное расширение импликативного фрагмента релевантной логики **R**. Разумеется, если аналогичным образом определить семантику, в которой вместо условия ложности (4) используется условие (6), то мы также получим коннексивное расширение импликативного фрагмента релевантной логики **R**. Однако оно, в отличие от результата Вайса, не будет гиперконнексивным.

Более подробное изучение этой одновременно релевантной и коннексивной логики, свободной от гиперконнексивности, мы оставим в качестве открытой проблемы для будущего исследования.

Список источников

1. Belikov A. A simple way to overcome hyperconnexivity // *Studia logica*. 2023. <https://doi.org/10.1007/s11225-023-10056-3>
2. Belikov A., Zaitsev D. A variant of material connexive logic // *Bulletin of the section of logic*. 2022. Vol. 51, № 2. С. 227–242.
3. Humberstone L. Contra-classical logics // *Australasian journal of philosophy*. 2000. Vol. 78, № 4. С. 438–474.
4. McCall S. A history of connexivity // *Handbook of the history of logic* / eds.: D.M. Gabbay, F.J. Pelletier, J. Woods. North-Holland, 2012. Vol. 11. С. 415–449.
5. Nelson D. Constructible falsity // *Journal of symbolic logic*. 1949. Vol. 14, № 1. С. 16–26.

6. Sylvan R. Bystanders' guide to sociative logics // R. Sylvan. Research series in logic and metaphysics, no.4. Australian National University, Canberra, 1989. 149 p.
7. Urquhart A. Semantics for relevant logics // Journal of symbolic logic. 1972. Vol. 37, № 1. C. 159–169.
8. Wansing H. Connexive Logic // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 Edition) / E.N. Zalta (ed.), forthcoming. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/logic-connexive/>
9. Wansing H. Connexive modal logic // Advances in modal logic / ed. R. Schmidt. 2005. Vol. 5. C. 367–383.
10. Wansing H., Skurt D. Negation as cancellation, connexive logic and qLPm // The Australasian journal of logic. 2018. Vol. 15, № 2. C. 476–488.
11. Weiss Y. Semantics for pure theories of connexive implication // The review of symbolic logic. 2022. Vol. 15, № 3. C. 591–606.

References

1. Belikov, A. (2024) A simple way to overcome hyperconnexivity. *Studia logica*. 112. pp. 69–94. DOI: 10.1007/s11225-023-10056-3
2. Belikov, A. & Zaitsev, D. (2022) A variant of material connexive logic. *Bulletin of the Section of Logic*. 51(2). pp. 227–242.
3. Humberstone, L. (2000) Contra-classical logics. *Australasian Journal of Philosophy*. 78(4). pp. 438–474.
4. McCall, S. (2012) A history of connexivity. In: Gabbay, D.M., Pelletier, F.J. & Woods, J. (eds) *Handbook of the History of Logic*. Vol. 11. North-Holland. pp. 415–449.
5. Nelson, D. (1949) Constructible falsity. *Journal of Symbolic Logic*. 14(1). pp. 16–26.
6. Sylvan, R. (1989) Bystanders' guide to sociative logics. *Research Series in Logic and Metaphysics*. 4.
7. Urquhart, A. (1972) Semantics for relevant logics. *Journal of Symbolic Logic*. 37(1). pp. 159–169.
8. Wansing, H. (2022) Connexive Logic. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/logic-connexive/>
9. Wansing, H. (2005) Connexive modal logic. In: Schmidt, R. (ed.) *Advances in Modal Logic*. Vol. 5. pp. 367–383.
10. Wansing, H. & Skurt, D. (2018) Negation as cancellation, connexive logic and qLPm. *The Australasian Journal of Logic*. 15(2). pp. 476–488.
11. Weiss, Y. (2022) Semantics for pure theories of connexive implication. *The Review of Symbolic Logic*. 15(3). pp. 591–606.

Сведения об авторе:

Беликов А.А. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры логики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: belikov@philos.msu.ru

Information about the author:

Belikov A.A. – Cand. Sci. (Philosophy), senior lecturer, Department of Logic, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: belikov@philos.msu.ru

Статья поступила в редакцию 11.03.2024;
одобрена после рецензирования 15.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 11.03.2024;
approved after reviewing 15.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья

УДК 165

doi: 10.17223/1998863X/80/3

ДИНАМИКА ЗНАНИЙ: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ

Александр Михайлович Жаров

*Институт философии Российской академии наук, Москва, Россия,
aleks.zharoff2016@yandex.ru*

Аннотация. Исследование эволюции научного знания опирается на двойную структуру: эволюционную и социальную эпистемологию; сложный сплав этих структур раскрывает симбиотическую связь между когнитивными процессами и общественными механизмами, имеющими решающее значение для научного поиска. Ключевым моментом данного исследования является инновационное применение эволюционной эпистемологии; здесь научные теории уподобляются биологическим сущностям, проходящим через суровые условия естественного отбора, тем самым освещая адаптивную сущность систем знаний. Автор выступает за развитие открытой науки, представляя себе демократизированную научную сферу.

Ключевые слова: эволюционная эпистемология, социальная эпистемология, междисциплинарные исследования, вычислительные методологии, демократизация науки, искусственный интеллект в науке, открытая наука, этика в научных исследованиях, наука о науке, динамика знаний

Благодарности: исследование подготовлено при поддержке Российского научного фонда, проект No 22-78-10171 «Трансдисциплинарные концептуализации научного прогресса: проблемно-ориентированный, семантический и эпистемический подходы. К 100-летию со дня рождения Томаса Куна и Имре Лакатоса».

Для цитирования: Жаров А.М. Динамика знаний: эволюционный анализ теорий научного развития // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 34–44. doi: 10.17223/1998863X/80/3

Original article

THE DYNAMICS OF KNOWLEDGE: AN EVOLUTIONARY ANALYSIS OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT THEORIES

Alexander M. Zharov

*Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
aleks.zharoff2016@yandex.ru*

Abstract. The study of the evolution of scientific knowledge relies on a dual framework: evolutionary and social epistemology. The complex fusion of these frameworks reveals the symbiotic relationship between cognitive processes and social mechanisms crucial to scientific enquiry. Underpinning this study is the key assertion that scientific enquiry goes beyond the mere accumulation of data to become a profound tool for unravelling cosmic motivations. This fusion of methodologies and theoretical insights not only broadens the scope for exploring the evolutionary and adaptive mechanisms of scientific theories, but also signals a paradigm shift driven by interdisciplinary methods and the transformative impact of computational tools. Key to this study is the innovative application of evolutionary epistemology; here, scientific theories are likened to biological entities undergoing the

rigours of natural selection, thereby illuminating the adaptive nature of knowledge systems. Such a perspective is crucial for studying the sustainability of theories – not as a simple linear accumulation of facts, but through significant evolutionary leaps and paradigm shifts. As analysis advances into the digital age, the focus shifts towards integrating big data and artificial intelligence into revolutionary research methods; this transition follows a precarious path of opportunity and risk, with particular attention to issues such as data privacy, algorithmic bias, and ethical concerns. The author also advocates for open science, imagining a democratised scientific field. The author concludes with a call for future research in evolutionary and social epistemology, calling for the adoption of innovative methodological frameworks that integrate different scientific disciplines and take into account the profound impact of digital technologies on knowledge production. The article advocates a deep, reflexive approach to scientific enquiry, recognising the multifaceted nature of knowledge production and the myriad ethical, social and technological challenges facing contemporary science.

Keywords: evolutionary epistemology, social epistemology, interdisciplinary research, computational methodologies, democratisation of science, artificial intelligence in science, open science, ethics in scientific research, science of science, knowledge dynamics

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-78-10171.

For citation: Zharov, A.M. (2024) The dynamics of knowledge: an evolutionary analysis of scientific development theories. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 34–44. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/3

Слияние эволюционной эпистемологии и социальной эпистемологии в научном дискурсе знаменует собой новый рубеж в понимании динамики эволюции знания; оно заставляет задуматься о том, как научные теории адаптируются и развиваются в ответ на эмпирические вызовы и социальные влияния. Эволюционная эпистемология, утверждающая, что развитие знания отражает биологическую эволюцию, предполагает, что идеи подвергаются процессу, схожему с естественным отбором, в ходе которого только самые стойкие выдерживают строгую эмпирическую проверку («выживание сильнейших» в теоретической адаптации). В то же время социальная эпистемология расширяет этот анализ, включая в него влияние социальных структур, норм и коллективных интеллектуальных усилий; она утверждает, что знание – это не только продукт индивидуальной проницательности, но и социокультурных взаимодействий, формирующихся и распространяющихся в сообществе ученых.

Цель данного исследования – проанализировать, как эволюционные механизмы и социальные конструкты взаимодействуют между собой, формируя научные парадигмы. Интегрируя эти две структуры, исследование стремится прояснить двойные пути, по которым развиваются научные идеи: один, обусловленный эмпирическим подтверждением и адаптацией к новым данным (эволюционный), и другой, направляемый социокультурной средой научного сообщества, включая сети сотрудничества, влияние коллег и нормативные практики (социальный). В этом двойном анализе будет применен многогранный методологический подход, использующий как исторические данные об эволюции научных теорий, так и современные тематические исследования, иллюстрирующие влияние социальной эпистемологии на теоретические достижения.

Для эффективного изучения этой интеграции методология предполагает сравнительный анализ нескольких ключевых научных теорий, которые пре-

терпели значительную эволюцию с течением времени. В исследовании будет проанализирована траектория развития этих теорий с момента их создания через различные фазы адаптации с акцентом на поворотные моменты, когда либо эмпирические данные, либо значительные социальные влияния привели к заметным теоретическим сдвигам. Данные будут взяты из научных публикаций, архивных материалов и интервью с известными учеными, чтобы проследить влияние как эволюционных, так и социальных факторов на формирование этих теорий.

Данное исследование способно предложить глубокое понимание механики развития знаний в научной сфере. Понимание того, как научные теории развиваются с помощью механизмов, подобных дарвиновским, и социокультурных влияний, внесет вклад в более широкую дискуссию о научной методологии и эпистемологии. Полученные результаты могут предложить новые стратегии содействия научным инновациям и прогрессу, делая акцент на более совместном и адаптивном подходе к научным исследованиям.

Наконец, рассматривая пересечение эволюционной и социальной эпистемологий, данное исследование не только углубит наше понимание природы научного прогресса, но и подчеркнет сложную взаимозависимость между индивидуальными интеллектуальными усилиями и широким научным сообществом в процессе эволюции знаний. Подобная комплексная перспектива обещает обогатить наш подход к научному исследованию, гарантируя, что оно останется как строгим в своих эмпирических основаниях, так и учитывающим меняющийся ландшафт социальных и культурных норм в научной сфере.

Если углубиться в архитектуру научного знания, то триадическая типология научного знания, предложенная А. Бердом, предлагает нюансированную классификацию, которая обогащает наше понимание природы научного прогресса. По классификации А. Берда научное знание делится на три отдельных типа: концептуальное, процедурное и фактологическое [1]. Данная триада подчеркивает сложность научного знания, выделяя взаимодействие между концептуальными основами, которые лежат в основе научных теорий, методологиями, используемыми в научном исследовании, и эмпирическими данными, которые обосновывают научные утверждения в наблюдаемой реальности. Анализ рассматриваемой триады раскрывает многомерный характер научного прогресса, который включает в себя не только накопление фактических знаний, но и оттачивание научных методологий и эволюцию концептуальных парадигм. Эволюционные модели развития науки, в частности, предложенные Т. Куном и К.Р. Поппером, еще больше проясняют механизмы, с помощью которых происходит прогресс научного знания. Модель Т. Куна с ее акцентом на смене парадигм иллюстрирует прерывистый характер научного прогресса, когда периоды нормального развития науки прерываются революционными изменениями, которые пересматривают основополагающие принципы научных дисциплин [2]. Фальсификационизм К.Р. Поппера, напротив, отстаивает более непрерывный взгляд на прогресс, когда научные теории подвергаются неустанной проверке и либо подтверждаются, либо отбрасываются в зависимости от их способности выдержать эмпирическую фальсификацию [3]. Обе модели, несмотря на их различия, подчеркивают эволюционную природу науки, где теории и идеи постоянно проверяются, адаптируются или заменяются в ответ на новые доказательства и открытия.

Взаимодействие эволюционной и социальной эпистемологии при изучении научного знания обеспечивает комплексную основу для понимания динамики научного прогресса. С ее помощью признается важность когнитивной и методологической эволюции в развитии науки, но в то же время признается критическая роль социальных процессов и структур в формировании развития научного знания [4]. Целостный подход не только обогащает наше понимание природы научного прогресса, но и открывает новые возможности для изучения сложных взаимозависимостей между когнитивным, социальным и институциональным измерениями науки. Теоретический фундамент эволюционной эпистемологии, обогащенный прозрениями социальной эпистемологии и анализом триадической типологии научного знания, предлагает надежную основу для понимания многогранной природы научного прогресса [5]. В ней подчеркивается динамичное взаимодействие когнитивных, социальных и методологических факторов в эволюции научного знания, выделяются сложные процессы, благодаря которым наука прогрессирует и развивается в ответ как на внутренние изменения, так и на внешние воздействия.

Эволюционные модели развития науки, разработанные Томасом С. Куном и К.Р. Поппером, представляют собой фундаментальный вклад в философию науки, каждая из которых предлагает свой особый взгляд на то, как развивается научное знание. При рассмотрении этих моделей через призму эволюционной эпистемологии создается богатая основа для понимания динамичного и часто спорного процесса научного прогресса. Парадигма Томаса С. Куна, подробно изложенная в «Структуре научных революций», утверждает, что развитие науки происходит через ряд прерывистых фаз. По мнению Т. Куна, линейный взгляд на научный прогресс оспаривается, вместо этого он предполагает, что периоды нормального развития науки, характеризующиеся консенсусом в отношении теоретических основ и методологии, прерываются революционными сдвигами [6]. Подобные изменения происходят, когда накопление аномалий подрывает существующую парадигму, что приводит к кризису и в конечном итоге к принятию новой парадигмы, которая реорганизует научную область. Концепция Т. Куна о смене парадигм подчеркивает нелинейный, эпизодический характер научного прогресса, акцентируя внимание на роли социальных и психологических факторов в формировании научного консенсуса и изменений. В отличие от этого, модель К.Р. Поппера подчеркивает критическую роль фальсификации в научном процессе. Как утверждает К.Р. Поппер, научные теории не могут быть окончательно проверены, а могут лишь подвергаться тщательным попыткам их фальсификации. По мнению К.Р. Поппера, суть научного прогресса заключается в цикле догадок и опровержений, когда теории постоянно предлагаются, проверяются и либо фальсифицируются, либо предварительно поддерживаются в ожидании дальнейшей проверки. Принцип фальсификации подчеркивает предварительный характер научного знания, выступая за систематический скептицизм, который подталкивает к поиску более точных и всеобъемлющих объяснений. Интеграция моделей Т. Куна и К.Р. Поппера в более широкий контекст эволюционной эпистемологии раскрывает адаптивные механизмы, лежащие в основе развития науки. Эволюционная эпистемология, проводя аналогии с биологической эволюцией, рассматривает научные теории и методологии как развивающиеся сущности, подверженные давлению отбора. В число факто-

ров давления входят эмпирическая адекватность, согласованность с существующим знанием, объяснительная сила и способность решать нерешенные проблемы [7]. Согласно данной точке зрения, научный прогресс включает в себя как революционную смену парадигм, описанную Т. Куном, так и итеративный процесс выдвижения и опровержения предположений, за который выступал К.Р. Поппер, в рамках эволюционного контекста, где научные идеи отбираются по их пригодности для объяснения и предсказания явлений.

Взаимодействие моделей Куна и Поппера с социальной эпистемологией, которую исследуют такие авторы, как Хелен Е. Лонгино и Стив Фуллер, обогащает наше понимание эволюционной динамики науки. Социальная эпистемология изучает коллективные и общинные аспекты производства знаний, подчеркивая, как социальные ценности, динамика власти и общинные обсуждения влияют на эволюцию научного знания [8, 9]. Подобная точка зрения дополняет эволюционные модели, подчеркивая значимость научного сообщества в опосредовании и направлении процесса научных изменений. Разработанные Т. Куном и К.Р. Поппером эволюционные модели развития науки в контексте эволюционной эпистемологии предлагают всеобъемлющую основу для понимания сложной и многогранной природы научного прогресса. Данные модели освещают взаимодействие между индивидуальным творчеством, методологической строгостью и социальной динамикой в движении эволюции научного знания, обеспечивая ценное понимание механизмов научных изменений и эволюции научных теорий и практик с течением времени. Взаимодействие между социальными измерениями и эволюционными моделями развития науки имеет ключевое значение для понимания траектории научного прогресса. Подобное взаимодействие подчеркивает идею о том, что научная эволюция – это не просто когнитивный или методологический прогресс, но и глубоко социальный процесс. Структура научного развития состоит из социальных взаимодействий, общественного консенсуса и культурных влияний, которые в совокупности формируют парадигмы, в рамках которых происходит эволюция научного знания.

В контексте смены парадигм Томаса Куна социальный аспект проявляется в коллективном изменении взглядов научного сообщества, которое часто вызвано растущим числом аномалий, не поддающихся объяснению в рамках существующей парадигмы. Подобный коллективный сдвиг подчеркивает важность социального консенсуса в принятии новых научных теорий. Процесс трансформации парадигмы по своей сути является социальным, он включает в себя переговоры, дискуссии, а иногда и конфликты внутри научного сообщества. Например, переход от ньютоновских рамок к эйнштейновской теории относительности был не просто скачком в теоретическом понимании, но и социальным процессом, включающим убеждение научного сообщества принять новое мировоззрение. Точно так же акцент К.Р. Поппера на фальсифицируемости как критерии научного прогресса включает в себя социальные механизмы. Процесс выдвижения догадок и опровержений – это не одиночное занятие, а общественная деятельность, когда научные теории подвергаются тщательному анализу со стороны более широкого научного сообщества. В эволюционном развитии научного знания решающую роль играет эта коммунальная критика и поддерживающая ее социальная инфраструктура, такая как рецензирование и научные конференции.

Социальная эпистемология, которую исповедуют такие авторы, как Стив Фуллер и Хелен Лонгино, еще более подробно раскрывает социальные аспекты научного знания. Они утверждают, что знание – это не только продукт индивидуального поиска, но и результат социальных процессов, включающих диалог, несогласие и сотрудничество. Например, концепция «интерактивной объективности» Хелен Лонгино предполагает, что объективность в науке достигается благодаря критическому взаимодействию внутри разнообразного сообщества исследователей, тем самым подчеркивая социальные механизмы, которые способствуют надежности научного знания. Роль социальных факторов также очевидна в развитии научных дисциплин за пределами традиционных сфер естественных наук. В таких областях, как социология и психология, на эволюцию теорий и методологий значительное влияние оказали общественные движения, культурные сдвиги и этические соображения. Внедрение феминистской эпистемологии и акцент на гендерных перспективах в научных исследованиях – яркие примеры того, как социальные ценности и общественные проблемы могут формировать научный поиск и приводить к эволюции новых исследовательских парадигм.

Эволюционные модели развития науки хотя и основаны на эпистемологических и методологических соображениях, глубоко взаимосвязаны с социальными процессами. Продвижение научного знания – это не изолированное когнитивное восхождение, а путешествие, проходящее через социальные аспекты научного сообщества и общества в целом [10]. Данная перспектива не только обогащает наше понимание природы научного прогресса, но и подчеркивает важность развития разнообразных, инклюзивных и социально вовлеченных научных сообществ. Социально-эпистемологические аспекты научного прогресса подчеркивают запутанную взаимосвязь между социальными факторами и эволюцией научного знания. Данная взаимосвязь имеет ключевое значение для понимания того, как происходит смена научных парадигм и как научные сообщества коллективно преодолевают сложности, связанные с генерацией, проверкой и распространением знаний [11].

Томас Кун в работе «Структура научных революций» глубоко раскрывает роль научных сообществ в смене парадигм, подчеркивая, как коллективное восприятие и соглашения внутри этих сообществ определяют ход научного прогресса. Модель Т. Куна предполагает, что управляемый консенсусом характер научных революций по своей сути является социальным, поскольку опирается на общие ценности, нормы и эпистемические достоинства научного сообщества [6]. Эту точку зрения дополняет работа Имре Лакатоса, который подробно останавливается на методологии научных исследовательских программ и подчеркивает значимость методологического выбора научного сообщества в формировании траектории научного поиска [12]. В работе «Против метода» Пол Фейерабенд еще больше оспаривает представление о едином, универсальном методологическом подходе к науке, выступая за плюралистическое понимание, которое признает разнообразие научных практик в разных культурах и исторических периодах. В своей аргументации Фейерабенд делает акцент на социальном конструировании научного знания, предполагая, что научный прогресс нельзя отделить от культурного и общественного контекста, в который он встроен [4]. Подход Ларри Лаудана в работе «Прогресс и его проблемы» представляет модель решения проблем, ко-

торая интегрирует социальные аспекты научного поиска, рассматривая, как цели и проблемы, воспринимаемые научным сообществом, влияют на развитие научных теорий. В подходе Лаудана подчеркивается динамическое взаимодействие между интеллектуальными целями ученых и социокультурной средой, утверждая, что научный прогресс – это одновременно и когнитивное, и социальное начинание [13]. Работа Хелен Э. Лонгино «Наука как социальное знание» еще более четко формулирует влияние социальных ценностей и взаимодействий на объективность и надежность научного знания. В ней Лонгино предлагает модель интерактивной объективности, которая утверждает, что научная объективность достигается благодаря критическому дискурсу внутри разнообразного сообщества исследователей. Данная модель подчеркивает социальные механизмы критики и достижения консенсуса как необходимые для эпистемической надежности научного знания [8]. Книга Дэвида Л. Халла «Наука как процесс: Эволюционный анализ социального и концептуального развития науки» использует эволюционную перспективу для анализа социальной структуры научных сообществ и динамики конкуренции и сотрудничества, которая движет научными инновациями и отбором идей. Анализ Халла показывает, как социальные взаимодействия между учеными – такие как конкуренция за признание и сотрудничество в исследовательских сетях – играют важнейшую роль в естественном отборе научных теорий [14].

Социально-эпистемологические аспекты научного прогресса освещают многогранные способы, которыми социальные факторы – от методологических норм и ценностей научных сообществ до более широкого социокультурного контекста – формируют эволюцию научного знания [15]. Эти взгляды в совокупности подчеркивают, что научный прогресс – это не просто накопление объективных фактов, а сложный, социально опосредованный процесс, который включает в себя переговоры, достижение консенсуса и интеграцию различных эпистемических и культурных точек зрения. Признание этих социальных аспектов обогащает наше понимание науки как человеческой деятельности, глубоко встроенной в социальный мир и подверженной его влиянию [16]. Междисциплинарный подход к анализу научного прогресса представляет собой слияние методологий, теоретических взглядов и эмпирических представлений из разных областей, чтобы обогатить наше понимание того, как развивается научное знание. Данный подход подчеркивает сложность научного прогресса, показывая его как многогранное явление, на которое влияет множество факторов, выходящих за рамки чисто когнитивных или эмпирических [17, 18].

Слияние информатики с биологией, кульминацией которого стала биоинформатика, иллюстрирует, как алгоритмические и вычислительные методы, первоначально присущие информатике, трансформируют управление и анализ биологических данных, катализируя революционные прорывы в геномике и молекулярной биологии. Этот синтез (ускоряя обработку и интерпретацию биологических данных) инициирует новые парадигмы для концептуализации жизни на молекулярном уровне; так, эпистемологические границы обеих дисциплин расширяются. В арену квантового познания, где физика и психология пересекаются, математические принципы квантовой теории адаптируются для моделирования когнитивных явлений (например, принятие решений, восприятие), ставя под вопрос доминирование классической теории

вероятностей в психологии и предлагая новый взгляд на вероятностную природу человеческого познания. Исследование изменений климата через призму экологической науки и социологии демонстрирует, как междисциплинарные методы могут разгадывать загадки глобальных вызовов. Сочетая предсказательную мощь экологической науки с социальной проницательностью социологии, ученые глубже понимают вклад человеческого поведения в изменение климата, разрабатывая эффективные стратегии митигации и адаптации. Такое взаимодействие не просто расширяет горизонты изучения климатических изменений, но и способствует формированию комплексных подходов к проблеме. Слияние искусственного интеллекта (ИИ) и нейронаук открывает новые горизонты понимания как функционирования человеческого мозга, так и разработки инновационных систем ИИ. Принципы нейронаук, лежащие в основе создания нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения, вдохновляют на создание ИИ-систем, способных имитировать человеческие когнитивные процессы. Взаимно, ИИ предоставляет мощные инструменты для анализа нейронных данных, открывая перспективы для нового понимания когнитивных функций и дисфункций.

Интеграция экономики и эпидемиологии в экономику здравоохранения позволяет получить критическое представление об экономических последствиях политики и вмешательств в здравоохранение. Эта междисциплинарная область применяет экономические теории и модели, чтобы понять, как распределяются ресурсы в системах здравоохранения и как эти распределения влияют на результаты здравоохранения. Включая в себя эпидемиологические данные и перспективы, экономика здравоохранения расширяет наши возможности по оценке экономической эффективности медицинских вмешательств, информируя о принятии более стратегических решений в области общественного здравоохранения.

Данные примеры подчеркивают неотъемлемую ценность междисциплинарного подхода в расширении сферы исследований и стимулировании инноваций в научных областях. Преодолевая дисциплинарные границы, такой подход не только улучшает наше понимание отдельных областей, но и раскрывает взаимосвязь знаний, предлагая более целостный и нюансированный взгляд на научный прогресс. Благодаря подобному взаимному обмену идеями и методологиями наука может более эффективно решать сложные и многогранные задачи современного мира, прокладывая путь к новым открытиям и достижениям. Современный спектр научных исследований, рассмотренный с помощью эволюционной эпистемологии, представляет собой благодатную почву как для критического анализа, так и для предвидения будущих траекторий в динамике развития знаний. Данная точка зрения, которая уподобляет развитие научных теорий биологической эволюции, делает акцент на адаптации, отборе и вариативности в корпусе человеческого знания, предлагая глубокое понимание природы научного прогресса и механизмов, движущих им.

Одна из заметных тенденций в современных исследованиях – растущий акцент на междисциплинарных исследованиях, которые бросают вызов традиционным, изолированным подходам к производству знаний. Движение в сторону конвергенции признает сложность современных научных вопросов, которые часто охватывают несколько областей. Например, изучение изменения климата требует объединения знаний из наук об атмосфере, океаногра-

фии, экономике, политологии и др. Несмотря на то что такой междисциплинарный подход, несомненно, обогащает наше понимание и способствует инновациям, он также создает проблемы, связанные с интеграцией и коммуникацией между дисциплинами, требуя новых методологий и концептуальных основ для синтеза разрозненных совокупностей знаний.

В области эпистемологии развитие социальной эпистемологии и науки о науке (SciSci) отражает растущее признание социальных аспектов производства знаний. Эти направления изучают, как социальные факторы, такие как сети сотрудничества, механизмы финансирования и практика публикаций, влияют на развитие и распространение научного знания. Например, исследования в рамках SciSci показали, как размер команды и разнообразие влияют на инновационность результатов исследований, проливая свет на социальные структуры, лежащие в основе научных открытий. При этом акцент на социальных детерминантах также подчеркивает возможность того, что системные предубеждения и неравенство могут определять научные программы и результаты, что подчеркивает необходимость критического изучения социальной инфраструктуры науки.

В перспективе проблемы и перспективы изучения динамики знаний связаны не только с эволюцией научных методологий и интеграцией различных областей, но и с этическими, социальными и философскими последствиями научных достижений. По мере того как наука становится все более встроенной в общественные проблемы и политические решения, ответственность ученых за взаимодействие с этическими соображениями и общественными проблемами становится все более очевидной. Стремительный темп технологических инноваций, особенно в таких областях, как искусственный интеллект и биотехнологии, ставит экзистенциальные вопросы о будущем человечества и планеты, требуя переоценки этических рамок и нормативных структур, чтобы ответственно направлять научно-техническое развитие.

Критический анализ современных тенденций в научных исследованиях, проведенный с помощью эволюционной эпистемологии, показывает аспект, отмеченный как замечательными достижениями, так и сложными проблемами. По мере того как динамика знаний продолжает развиваться, преодоление этих вызовов потребует не только научной изобретательности, но и философских размышлений, этических рассуждений и вовлечения общества, чтобы стремление к знаниям способствовало благополучию как человечества, так и всей экосистемы. Для продвижения вперед необходим сбалансированный подход, признающий ценность различных точек зрения, способствующий междисциплинарному сотрудничеству и рассматривающий этические аспекты научного прогресса, направляя эволюцию знаний к полезным результатам для всех.

И в заключение этого исследования был тщательно проанализирован сложный спектр современного научного поиска, проясняющий основополагающую роль эволюционной эпистемологии в динамичном характере развития знания. В центре этих рассуждений – сложное взаимодействие междисциплинарных подходов, растущее влияние вычислительных методологий, демократизация науки и признание социальных аспектов, присущих научной парадигме. В совокупности эти элементы дают представление о научной картине, которая становится все более сложной, взаимосвязанной и отражает

более широкие общественные ценности и дилеммы. Основным выводом из этого исследования является признание того, что научный прогресс нельзя рассматривать только как линейное накопление фактов и теорий; скорее, он проявляется как многогранное явление, формируемое слиянием когнитивных, социальных и технологических сил. Применение эволюционной эпистемологии с ее акцентом на адаптацию и отбор в сфере идей предлагает ценную линзу для понимания этого динамизма. В перспективе несколько направлений будущих исследований представляются особенно важными в контексте эволюционной эпистемологии. Одно из перспективных направлений предполагает более глубокое изучение механизмов междисциплинарной интеграции, направленное на выяснение того, как различные дисциплинарные перспективы могут быть эффективно синтезированы для решения сложных научных проблем. Это требует разработки новых методологических рамок и концептуальных инструментов, способных учитывать эпистемические нормы и практики различных областей, что способствует более целостному пониманию научных явлений. Таким образом, будущее исследований в рамках эволюционной эпистемологии обещает не только углубить наше понимание природы научного знания, но и повысить социальную значимость и влияние научной деятельности. Принимая сложность научного развития и решая этические, социальные и технологические проблемы, которые оно порождает, мы стремимся создать более инклюзивное, справедливое и отзывчивое научное предприятие, которое будет служить потребностям и чаяниям постоянно развивающегося мира.

Список источников

1. Bird A. What is scientific progress? // *Nous*. Bloomington, 2007. Vol. 41, № 1. P. 64–89.
2. Кун Т. Структура научных революций. М. : АСТ, 2003. 605 с.
3. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. 528 с.
4. Feyerabend Paul. *Against Method*. 1975. 296 p.
5. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная философия. М., 1989. 342 с.
6. Kuhn T.S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 1962. 264 p.
7. Поппер К.Р. Предположения и опровержения. Рост научного знания. М. : АСТ, 2004. 638 с.
8. Longino H.E. *Science as Social Knowledge*. 1990. 236 p.
9. Fuller S. *Social Epistemology*. 1988. 232 p.
10. Печенкина А.А. Современная философия науки : учеб. хрестоматия. М., 1996. 287 с.
11. Розов М.Н. Философия науки. М., 1997. 434 с.
12. Lakatos I. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. 1978. 282 p.
13. Laudan L. *Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth*. 1977. 257 p.
14. Hull D.L. *Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science*. 1988. 586 p.
15. Kitcher Ph. *Science, Truth, and Democracy*. 2001. 230 p.
16. Hacking I. *The Social Construction of What?* 1999. 272 p.
17. Giere R.N. *Understanding Scientific Reasoning*. 1984. 256 p.
18. Goldman A.I. *Knowledge in a Social World*. 1999. 408 p.

References

1. Bird, A. (2007) What is scientific progress? *Nous*. 41(1). pp. 64–89.
2. Kuhn, T. (2003) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English. Moscow: AST.
3. Popper, K.R. (2002) *Ob"ektivnoe znanie. Evolyutsionny podkhod* [Objective Knowledge. An Evolutionary Approach]. Translated from English. Moscow: Editorial URSS.

4. Feyerabend, P. (1975) *Against Method*. Humanities Press.
5. Husserl, E. (1989) *Krizis evropeyskikh nauk i transtsendental'naya filosofiya* [The Crisis of European Sciences and Transcendental Philosophy]. Translated from German. Moscow: Vladimir Dal'.
6. Kuhn, T.S. (1962) *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago.
7. Popper, K.R. (2004) *Predpolozheniya i oproverzheniya. Rost nauchnogo znaniya* [Assumptions and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge]. Moscow: AST.
8. Longino, H.E. (1990) *Science as Social Knowledge*. Princeton University Press.
9. Fuller, S. (1988) *Social Epistemology*. Indiana University Press.
10. Pechenkina, A.A. (ed.) (1996) *Sovremennaya filosofiya nauki* [Modern Philosophy of Science]. Moscow: Logos.
11. Rozov, M.N. (1997) *Filosofiya nauki* [Philosophy of Science]. Moscow: RAS.
12. Lakatos, I. (1978) *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press.
13. Laudan, L. (1977) *Progress and Its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth*. University of California Press.
14. Hull, D.L. (1988) *Science as a Process: An Evolutionary Account of the Social and Conceptual Development of Science*. University of Chicago Press.
15. Kitcher, Ph. (2001) *Science, Truth, and Democracy*. Oxford University Press.
16. Hacking, I. (1999) *The Social Construction of What?* Harvard University Press.
17. Giere, R.N. (1984) *Understanding Scientific Reasoning*. Thomson Learning.
18. Goldman, A.I. (1999) *Knowledge in a Social World*. Clarendon Press.

Сведения об авторе:

Жаров А.М. – аспирант Института философии Российской академии наук (Москва, Россия); межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (Москва, Россия). E-mail: aleks.zharoff2016@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Zharov A.M. – postgraduate student, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation). E-mail: aleks.zharoff2016@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 08.05.2024;
одобрена после рецензирования 16.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 08.05.2024;
approved after reviewing 16.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья
УДК 161.17
doi: 10.17223/1998863X/80/4

Я-ВЫСКАЗЫВАНИЯ: ИМПЛИЦИТНАЯ АГЕНТНОСТЬ И СУБЪЕКТНОСТЬ

Ольга Александровна Козырева

*Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, olgakozyreva@mail.ru*

Аннотация. Анализируются возражения агентному подходу в защиту тезиса об автоматической референции индексикала «я». Делается вывод, что возражения от наличия эквивалентов с возвратными глаголами и изменения синтаксиса не представляют угрозы для агентного подхода, в то время как возражение от отсутствия действия говорящего требует уточнения данного подхода.

Ключевые слова: индексикал, семантика, значение, перенос предиката, эллипсис

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-00071, <https://rscf.ru/project/22-78-00071/>

Для цитирования: Козырева О.А. Я-высказывания: имплицитная агентность и субъектность // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 45–52. doi: 10.17223/1998863X/80/4

Original article

I-CASES: IMPLICIT AGENCY AND SUBJECTIVITY

Olga A. Kozyreva

Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation, olgakozyreva@mail.ru

Abstract. In this paper, I continue to defend the thesis of automatic reference of the indexical “I” in the so-called I-cases, i.e., sentences where reference-shifting seems to occur: “I am parked out back” referring to the speaker’s car or “I am on a purple square / Baltic Avenue” referring to the speaker’s game piece. In the previous paper, I demonstrated that one can correctly interpret such sentences without denying the thesis of automatic reference of “I”. I proposed my agency account where I-cases are sentences with the VP reduction where the property the speaker predicates to herself is a property of having done a particular action in the past. This paper focuses on some possible objections to my agency account. The first objection concerns the possibility to construct semantically equivalent sentences to I-cases with the help of reflexive verbs. This objection is based on the Russian grammar, where one can change the verb form with attaching the postfix *-sya/-s’* to it. So, “I am parked outback” may have a semantic equivalent in Russian that may be literally translated into English like “I parked myself outback”. I conclude that the first objection does not disprove the agency account. The only thing this objection tries to do is to challenge the agency account with the need to explain why I-cases are acceptable in some communicative situations and are not in another. However, to address the challenge, one needs to investigate the pragmatics of I-cases, which is not the main task of the agency account. The second objection says that sometimes the agency account requires the modification of the grammar form of I-cases, which means that the logical form of an I-case does not reflect its grammar form in natural language. I argue that the lack of such reflection cannot be a reason to reject the agency account. The strict agreement between two forms of a sentence is not a necessary

requirement for any account. The third objection is an objection from the lack of action. Since the agency account says that the sense of agency is implied in the semantics of "I", it faces an issue with a speaker's use of I-cases in a situation where the action was not done by the speaker herself. To answer this objection, I propose to add the idea that the sense of subjectivity is also implied in the semantics of "I" into the agency account. By subjectivity here I mean a property of being an experiencer predicated to a speaker. Hence, only the third objection jeopardizes the agency account, but one can answer it by recognizing the semantic indeterminacy of "I".

Keywords: indexical, semantics, meaning, predicate transfer, ellipsis

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-78-00071, <https://rscf.ru/en/project/22-78-00071/>

For citation: Kozyreva, O.A. (2024) I-cases: implicit agency and subjectivity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 45–52. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/4

Данная статья представляет собой продолжение исследования возможности защиты тезиса об автоматической референции индексикального местоимения «я» в ряде девиантных случаев его использования в так называемых я-высказываниях:

1) «я припаркован сзади» («I am parked out back») [1. P. 38–42];

2) «я на фиолетовой клетке» («I am on a purple square») [2. P. 200]; «я на Балтик авеню» («I am on Baltic Avenue») [3].

В предыдущей статье [4] было продемонстрировано, что такие я-высказывания могут быть проинтерпретированы без отказа от тезиса об автоматической референции «я», т.е. с сохранением стандартной идеи о том, что местоимение «я» указывает на того, кто совершает высказывание, а не на объект, с которым совершающий высказывание находится в каких-либо отношениях, как может показаться при первичном прочтении я-высказываний. Помимо двух рассмотренных подходов, допускающих такую интерпретацию – переноса предиката Дж. Нанберга [5] и редукции именной группы Э. Ромеро и Б. Сория [6], – был предложен авторский подход, получивший название агентного, в котором предлагалась обусловленная семантической избыточностью редукция глагольной группы, обозначающей действие, совершенное агентом высказывания по отношению к объекту, о котором идет речь. В настоящей статье я планирую обратиться к анализу возможных возражений предлагаемому агентному подходу, о которых кратко упоминалось в завершении предыдущей работы [4].

Возражение 1: возвратные глаголы.

Первое возражение может выглядеть следующим образом: агентный подход успешно справляется с интерпретацией я-высказываний и сохраняет тезис об автоматической референции «я», однако иногда пользователи языка выражают то же самое содержание, совершая высказывания с использованием возвратных глаголов. Если согласиться с тем, что я-высказывания и высказывания с возвратными глаголами являются семантическими эквивалентами и поэтому взаимозаменяемы, то почему в одних случаях пользователи языка считают приемлемыми я-высказывания наряду с их семантическими эквивалентами, а в других случаях выбирают только высказывания с возвратными глаголами и отмечают я-высказывания как неприемлемые?

Действительно, мы можем сконструировать как минимум несколько примеров высказываний, в которых глагол может иметь возвратную форму¹: «я припарковался сзади» или «я сломался». Первое из этих двух высказываний семантически эквивалентно как я-высказыванию «я припаркован сзади», так и высказыванию «я припарковал автомобиль сзади». Это предполагает возможность использования этого высказывания с возвратной формой глагола вместо его указанных семантических эквивалентов. Второе высказывание может быть совершено в ситуации, когда у человека сломался автомобиль. Предположим, что А двигался на автомобиле по проезжей части, и в определенный момент времени автомобиль начал издавать странные звуки, А съехал на обочину и выключил двигатель. Попытки заново завести двигатель ни к чему не привели, А решил, что автомобиль сломался, и стал звонить своему знакомому Б, который хорошо разбирается в автомобилях, чтобы спросить, что делать дальше. Когда Б ответил на звонок, А совершил следующее высказывание, адресованное Б: «Я сломался, стою на обочине». Б понимает это я-высказывание, совершенное А, как такое, в котором А сообщает, что его автомобиль сломался и находится в данный момент на обочине проезжей части (вместе с А). Семантически такое высказывание тоже выглядит эквивалентным как я-высказыванию «я сломан», так и высказыванию «мой автомобиль сломался», а потому может быть использовано вместо них.

Однако стоит отметить, что не во всех случаях возможно найти семантически эквивалентное я-высказывание, которое находилось бы в широком употреблении. Например, практически невозможно встретить конвенционально приемлемое высказывание «я перестал работать», когда речь идет о том, что перестал работать компьютер говорящего. В агентном подходе, как видится, такой вариант я-высказывания должен рассматриваться как семантически эквивалентный высказыванию «у меня не работает компьютер» и использоваться вместо него. Однако практика использования языка противоречит этому. Можно привести и другой пример, более сходный рассматриваемым я-высказываниям тем, что в нем тоже используется краткое причастие – например, «я выполнен», когда речь идет о том, что агент выполнил какую-то работу. Семантическим эквивалентом этому я-высказыванию является высказывание «работа выполнена», однако вновь практика использования языка демонстрирует, что предложенное я-высказывание не является приемлемым в русском языке и не употребляется.

Таким образом, более детальное рассмотрение этого возражения позволяет сделать вывод о том, что в действительности это не столько возражение агентному подходу, сколько указание на то, что необходимо объяснить отличия я-высказываний от семантически эквивалентных им высказываний с возвратными глаголами. Однако объяснение того, почему в одних случаях я-высказывания приемлемы, а в других нет, является прагматическим вопросом, а не семантическим. Вследствие этого агентный подход, будучи по своей сути именно семантическим подходом, в принципе не предполагает предоставления такого объяснения. Безусловно, прагматика я-высказываний, т.е. опреде-

¹ Стоит отметить, что в английском языке, на котором исходно были сформулированы я-высказывания в упомянутых ранее работах, подобное употребление возможно, но оно не будет семантически приемлемо. Именно специфика русского языка с его возможностью образовывать возвратные формы глагола с постфиксом «ся/«сь» в данном случае и становится источником данного возражения.

ление причин, по которым пользователи языка отдают приоритет одним видам высказываний над другими в некоторой коммуникативной ситуации, представляет собой особый интерес, но поскольку в задачи агентного подхода не входит ее прояснение, рассмотренное возражение никоим образом его не опровергает.

Возражение 2: изменение синтаксиса.

Второе возражение заключается в том, что в агентном подходе сохранение тезиса об автоматической референции «я» происходит за счет внесения изменений в синтаксис я-высказываний в некоторых случаях. Иными словами, логическая форма я-высказываний в агентном подходе иногда отличается от их грамматической формы, что может показаться недостатком такого подхода¹.

Однако, на мой взгляд, несовпадение между логической формой предложений² и их грамматической формой на естественном языке в принципе не является серьезным затруднением. Достаточно вспомнить предложенный Б. Расселом анализ, чтобы осознать, что подобное несовпадение не только допустимо, но и представляет собой вполне распространенное явление: грамматическая форма предложения «нынешний король Франции лыс» предполагает, что перед нами классическое атрибутивное суждение, логическая форма которого предполагает наличие субъекта, которому приписывается обладание предикатом. Однако Б. Рассел вполне убедительно показывает, что логическая форма этого предложения на самом деле включает в себя экзистенциальное суждение.

По этой причине второе возражение также не представляет угрозы агентному подходу и является отчасти тривиальным замечанием о том, что точное соответствие формы выражения мысли на естественном языке ее логической структуре не является обязательным.

Тем не менее следует отметить, что из такого ответа на указанное возражение не следует радикальный тезис о том, что логическая форма может вообще не иметь никакого сходства с грамматической формой. Опасность принятия этого тезиса состоит в том, что если мы допускаем значительные расхождения между логической формой предложения и его грамматической формой, то в рамках нашей теории становится трудно объяснить, как пользователи языка вычисляют значения предложений. Это связано с тем, что основополагающий для большинства семантических теорий принцип композициональности требует, чтобы вычисление значения сложного выражения происходило на основе значений простых выражений, входящих в его состав, и способа связи между ними. Однако если в грамматической форме предложения отсутствуют элементы, обнаруживаемые в его логической форме, то сама идея принципа композициональности становится бессмысленной: вычисление значения предложения в соответствии с принципом композициональности тесно связано с обнаружением его логической формы [7], и при допущении возможности серьезного расхождения между двумя видами форм

¹ Схожую проблему, связанную с необходимостью внесения изменений в синтаксическую структуру высказываний и возникающую в их подходе, также рассматривали Э. Ромеро и Б. Сория [6. Р. 441–443].

² Ранее в статье речь шла о я-высказываниях, а не о я-предложениях, однако поскольку высказывание – это произнесенное предложение, а логическую форму принято обнаруживать именно у предложений, то далее я буду использовать термин «предложение».

предложения принцип композициональности утрачивает свой необходимый характер.

Более того, отсутствие привлекательности принятия обсуждаемого радикального тезиса о возможности значительного расхождения между формами предложения также связано с тем, что если логическая форма может быть фактически какой угодно (т.е. никак не соответствовать грамматической форме), то в рамках нашей теории допустимо станет предлагать вообще любую логическую форму предложения. Однако такой теоретический произвол приводит к бессмысленности поиска логической формы предложения в принципе. Это обусловлено тем, что если понимать смысл поиска логической формы как прояснение того, как пользователи языка определяют истинностные значения предложений и на основании этого делают вывод о том, в каких отношениях друг с другом находятся эти предложения¹, то при отсутствии взаимосвязи между грамматической и логической формами предложений становится затруднительным объяснение того, почему какой-то конкретной грамматической форме соответствует именно такая логическая форма, которая предлагается согласно нашей теории, а также то, как пользователи языка соотносят эти две формы друг с другом.

Указанные замечания заставляют признать, что некоторые отличия в логической форме допустимы (и именно такого рода отличия возникают в предлагаемом агентном подходе), но полного несоответствия между логической и грамматической формами предложения в теории постулироваться не должно.

Возражение 3: отсутствие действия².

Суть третьего возражения сводится к тому, что говорящий может использовать я-высказывание в ситуациях, в которых он не совершал действие, которое ему в этом высказывании, согласно агентному подходу, приписывается. Например, для я-высказывания «я на фиолетовой клетке» можно представить такую ситуацию, в которой игральная фишка оказывается на этой самой фиолетовой клетке не в результате совершенного сознательного действия говорящим – переставления фишки с одной клетки на другую в соответствии с правилами игры «Монополии», а в результате действия какого-либо случайного фактора: например, большой пушистый кот говорящего Кузьма внезапно пробежал по игровому полю и задел фишки игроков так, что фишка говорящего оказалась на фиолетовой клетке. Очевидно, что предлагаемый агентным подходом анализ этого я-высказывания, а именно: «я [совершил действие, в результате которого игральная фишка [находится]] на фиолетовой клетке», в данном случае будет некорректен, так как действие, которое привело к нахождению фишки на фиолетовой клетке, совершал не сам говорящий, а его кот Кузьма, и тем не менее говорящий вполне оправданно может сказать: «Посмотрите, что он наделал! Я на фиолетовой клетке!»

Это возражение совершенно не опасно ни для подхода Дж. Нанберга, ни для подхода Э. Ромеро и Б. Сории. Это связано с тем, что ни в одном из этих подходов не предполагается, что семантика «я» включает в себя агентность и фактически «отвечает» за то, почему пользователи языка успешно справля-

¹ Речь идет об отношениях следования, противоречия, имплицирования, парафразы и т.п.

² За идею этого возражения и полезные комментарии отдельно хотелось бы поблагодарить И.А. Гушину.

ются с интерпретацией я-высказываний. Предлагаемый мной агентный подход, на первый взгляд, действительно не в состоянии объяснить, почему в приведенной выше ситуации использование говорящим того же самого высказывания – «я на фиолетовой клетке» – оправданно.

Наиболее перспективным способом «спасения» агентного подхода от этого возражения видится признание идеи о неоднозначности семантики местоимения первого лица единственного числа «я». Иными словами, предлагаемый мной тезис о том, что идея агентности имплицитно содержится в семантике «я», необходимо дополнить тезисом о том, что в семантике «я» также «встроена» и идея субъектности, под которой понимается обладание говорящим свойства быть носителем определенного опыта, т.е. претерпевать изменения в своем состоянии. В таком случае анализируемое выше я-высказывание получает вполне очевидное прочтение, при котором говорящий, совершая такое высказывание, сообщает о том, что он стал объектом претерпевания совершенного кем-то действия: «я [претерпел действие, в результате которого игральная фишка [находится]] на фиолетовой клетке».

Тем не менее представленный выше ответ на третье возражение может показаться недостаточным ввиду того, что непроясненным остается критерий выбора между агентным и субъектным прочтениями, а именно: как слушающий должен установить, в каком значении говорящий употребил «я» в своем я-высказывании? Если слушающий сам принимает участие в игре в «Монополию» и видел, как кот говорящего задел фишку, то он может выбрать из двух прочтений то, которое наиболее соответствует контексту происходящего, т.е. субъектное прочтение. Но каким образом слушающий может определиться с прочтением, если ему неизвестен контекст я-высказывания, понимаемый здесь в широком смысле? Кажется, будто без обращения к экстралингвистической информации у слушающего нет никаких других средств для того, чтобы выяснить, в каком значении – агентном или субъектном – говорящий употребил местоимение «я».

Однако тогда получается, что уточненный агентный подход сталкивается почти с тем же самым возражением от семантической неопределенности, которое было выдвинуто мной по двум другим подходам, обсуждавшимся в [4]. По всей видимости, агентный подход, пытаясь за счет уточнения справиться с третьим возражением, избавляется от своего основного преимущества перед конкурентами – отсутствия необходимости опираться на прагматические факторы при интерпретации я-высказываний.

Несмотря на то, что сделанный вывод об уязвимости уточненного агентного подхода выглядит оправданным, таковым он является лишь отчасти. Дело в том, что в уточненном агентном подходе принимается идея того, что семантически неопределенным является само местоимение «я», в то время как в конкурирующих с ним подходах таковыми были либо отношения, в которых находится сам говорящий и объект, про который осуществляется я-высказывание (у Дж. Нанберга), либо отношения между редуцированной частью номинальной группы и контекстом я-высказывания (у Э. Ромеро и Б. Сории). Таким образом, даже если мы признаем, что слушающему необходимо обращаться к прагматическим факторам для интерпретации я-высказываний, чтобы определить, какое прочтение местоимения «я» имеет место в каждом конкретном случае, когнитивные требования, предъявляемые к слу-

шающему, в этом случае все равно оказываются ниже, чем в указанных выше подходах. В уточненном агентном подходе от слушающего требуется только дополнительно определить, сам ли говорящий совершил действие или же он претерпел действие по отношению к себе, – определение этой информации для интерпретации я-высказывания является гораздо более простым актом, чем определение отношений, в которых находится говорящий и объект (игральная фишка, автомобиль и т.д.), или отношений, в которых находятся редуцированная часть номинальной группы, указывающая на этот объект, и весь контекст, в котором было совершено данное я-высказывание.

Таким образом, третье возражение действительно является наиболее серьезным возражением предлагаемому мной агентному подходу и требует внести в него некоторую модификацию, суть которой сводится к признанию семантической неоднозначности местоимения «я». Следует также заметить, что эта семантическая неоднозначность не касается контекстуальной роли «я» в высказывании, где под последней я имею в виду стандартное в рамках каплановской семантики определение значения (характера) «я» как того, кто совершает данное высказывание в данном контексте (т.е. того, кто является агентом контекста). Семантическая неоднозначность, о которой идет речь, касается в большей степени того, что можно назвать метафизической ролью «я», а именно того, какое имплицитное представление о самости скрывается в этом местоимении¹ и каким образом пользователи языка это представление выражают в своих высказываниях с его помощью. Безусловно, вопрос о метафизической роли «я» в том виде, в каком он сформулирован выше, нуждается в отдельном обсуждении, а потому агентный подход даже в его уточненном виде должен быть дополнен определенной метафизикой самости.

Список источников

1. Nunberg G. Indexicality and Deixis // *Linguistics and Philosophy*. 1993. Vol. 16, № 1. P. 1–43.
2. Mount A. The Impurity of “Pure” Indexicals // *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*. 2008. Vol. 138, № 2. P. 193–209.
3. Akerman J. Indexicals and Reference-Shifting: Towards a Pragmatic Approach // *Philosophy and Phenomenological Research*. 2015. Vol. 95, № 1. P. 117–152.
4. Козырева О.А. Я-высказывания: реальна ли угроза тезису об автоматической референции индексикала «я»? // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2023. № 75. С. 29–37. doi: 10.17223/1998863X/75/3
5. Nunberg G. Transfers of Meaning // *Journal of Semantics*. 1995. Vol. 12. P. 109–132.
6. Romero E., Soria B. ‘I’ as a Pure Indexical and Metonymy as Language Reduction // *Modeling and Using Context* / ed. by R. Turner, A. Dey, B. Kokinov, D. Leake. Berlin : Springer, 2005. P. 436–449.
7. Lepore E., Ludwig K. What is Logical Form? // *Logical Form and Language* / ed. by G. Preyer, G. Peter. Oxford : Clarendon Press, 2002. P. 54–90.

References

1. Nunberg, G. (1993) Indexicality and Deixis. *Linguistics and Philosophy*. 16(1). pp. 1–43.
2. Mount, A. (2008) The Impurity of “Pure” Indexicals. *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*. 138(2). pp. 193–209.

¹ Уточненный агентный подход предполагает, что местоимение «я» служит для выражения наличия у говорящего как свойства агентности, так и свойства субъектности (по крайней мере, такой вывод можно сделать на материале английского языка).

3. Åkerman, J. (2015) Indexicals and Reference-Shifting: Towards a Pragmatic Approach. *Philosophy and Phenomenological Research*. 95(1). pp. 117–152.
4. Kozyreva, O.A. (2023) I-cases: Is the thesis of automatic reference of “I” in danger? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 75. pp. 29–37. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/75/3
5. Nunberg, G. (1995) Transfers of Meaning. *Journal of Semantics*. 12. pp. 109–132.
6. Romero, E. & Soria, B. (2005) ‘I’ as a Pure Indexical and Metonymy as Language Reduction. In: Turner, R., Dey, A., Kokinov, B. & Leake, D. (eds) *Modeling and Using Context*. Berlin: Springer. pp. 436–449.
7. Lepore, E. & Ludwig, K. (2002) What is Logical Form? In: Preyer, G. & Peter, G. (eds) *Logical Form and Language*. Oxford: Clarendon Press. pp. 54–90.

Сведения об авторе:

Козырева О.А. – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kozyreva O.A. – Cand. Sci. (Philosophy), senior lecturer at the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 21.04.2024;
одобрена после рецензирования 16.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 21.04.2024;
approved after reviewing 16.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 165.41

doi: 10.17223/1998863X/80/5

ОБЪЕКТИВАЦИЯ ДИСКУССИЙ И РЕШЕНИЕ СПОРОВ В ЛОГИКЕ АРГУМЕНТАЦИИ

Елена Николаевна Лисанюк

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия;
Институт философии Российской академии наук, Москва, Россия,
elisanyuk@hse.ru*

Аннотация. Предложено решение поставленной И.В. Берестовым задачи объективации дискуссии при помощи алгоритма поиска и отбора решений спора. Его суть заключается в сведении объективации к множеству аргументов, составляющих решение спора, которое в допускающих компромисс спорах имеется всегда, а в не допускающих его решение состоит в наиболее сильных защищенных аргументах спора.

Ключевые слова: мета-аргументация, логико-когнитивная теория аргументации, алгоритм поиска решений спора

Благодарности: исследования поддержаны РНФ, проект № 23-18-00695 «Логико-когнитивные модели рассуждений: принципы демаркации нормативного и дескриптивного», реализуемый в НИУ ВШЭ.

Автор благодарит участников конференции «Актуальные проблемы аналитической философии» И.В. Берестова, К.А. Габрусенко, В.А. Ладова, В.А. Суровцева, состоявшейся 12–15.10.2023 в Томском государственном университете, за комментарии, позволившие улучшить эту статью, созданную на основе доклада.

Для цитирования: Лисанюк Е.Н. Объективация дискуссий и решение споров в логике аргументации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 53–63. doi: 10.17223/1998863X/80/5

Original article

OBJECTIFICATION OF DISCUSSIONS AND DISPUTE RESOLUTION IN ARGUMENTATION LOGIC

Elena N. Lisanyuk

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation;
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
elisanyuk@hse.ru*

Annotation. In 2019, Igor Vladimirovich Berestov, discussing the historical and philosophical dispute between contextualists and appropriationists about the compatibility of the historicity of ancient texts with their contemporary reading, formulated the task of objectifying the discussion. He saw the core challenge of this task in generating a new point of view that would unite the claims none of which had gained the upper hand in the previous discussion despite the fact that all of the arguments had been supported by arguments and attacked by counter-arguments due to what the discussion had reached a dead end. That new point of view would reemploy the relationships of support and refutation among the arguments and thereby bring the discussion out of the impasse, avoiding the inconsistency generated by a unification of the position due to which logicians call an explosion, when any

conclusion follows from a contradiction. Both approaches to its solution considered by Berestov (DefLog and ArguMed by Bart Verheij and the logical-cognitive theory of argumentation by Elena Lisanyuk) were not free from restrictions. In the article, I propose a solution to the problem of objectifying the discussion with the help of an algorithm for searching and selecting resolutions to disputes, based on the logical-cognitive theory of argumentation. It consists in reducing the objectification to the subset of the arguments of the dispute that makes up its resolution. In the article, the dispute between contextualists and appropriationists described by Berestov is reconstructed and visualized using OVA application. It enables us to see that in single mixed disputes that allow compromise there always exists a resolution formed by the preferred, or maximal admissible, extension of the set of arguments of the dispute. In contrast, in complex mixed disputes that allow no compromise the solution formed by a grounded, or minimal complete admissible, extension, consists of the strongest defended arguments of the dispute, or in their absence may be empty and indicate the fixed point in the dispute. This means that any single mixed dispute can be objectified, in contrast to complex mixed disputes, which are not always amenable to objectification.

Keywords: meta-argumentation, logical and cognitive theory of argumentation, algorithm of search and selection of dispute resolutions

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-18-00695, implemented at the Higher School of Economics.

The author thanks Igor Berestov, Kirill Gabrusenko, Vsevolod Ladov, and Valery Surovtsev, participants in the Current Problems of Analytic Philosophy conference (12–15 October 2023, Tomsk State University), for comments that helped improve this article.

For citation: Lisanyuk, E.N. (2024) Objectification of discussions and dispute resolution in argumentation logic. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 53–63. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/5

Введение

Игорь Владимирович Берестов выделяет два противоположных ответа на ключевой вопрос истории философии [1. С. 23–24]: совместима ли историчность древнего текста с его современным прочтением?

Апроприационисты придерживаются мнения, что (С) историчность древнего текста совместима с его современным прочтением, и считают, что (АС) значение древних философских текстов определяется только их современным использованием, потому что (АС) то, что автор древнего текста вкладывал в него, недоступно для современных исследователей. Дж. Беннет рассматривал древних философов «как если бы они были великими и живыми, как личностей, которые имеют что-то сказать нам *сейчас*».

Контекстуалисты настаивают, что (–С) историчность древнего текста несовместима с его современным прочтением, и полагают, что (СС) значение древних философских текстов определяется только обстоятельствами их написания, потому что (С) значение любого текста исторично. По мнению И.Ш. Зарка, главной задачей историка философии обращение «к тому же самому объекту, что и оригинальный философ», потому что для понимания философского текста его необходимо «поместить в контекст, в котором он был написан».

С помощью приложения OVA¹ этот спор визуализирован на рис. 1.

¹ См. <https://ova.arg.tech/>. В серых ячейках – аргументы, в целях реконструкции добавленные к обсуждаемым И.В. Берестовым. Красные ячейки символизируют отношения атаки, зеленые – отношения поддержки и ее способ (демонстрации).

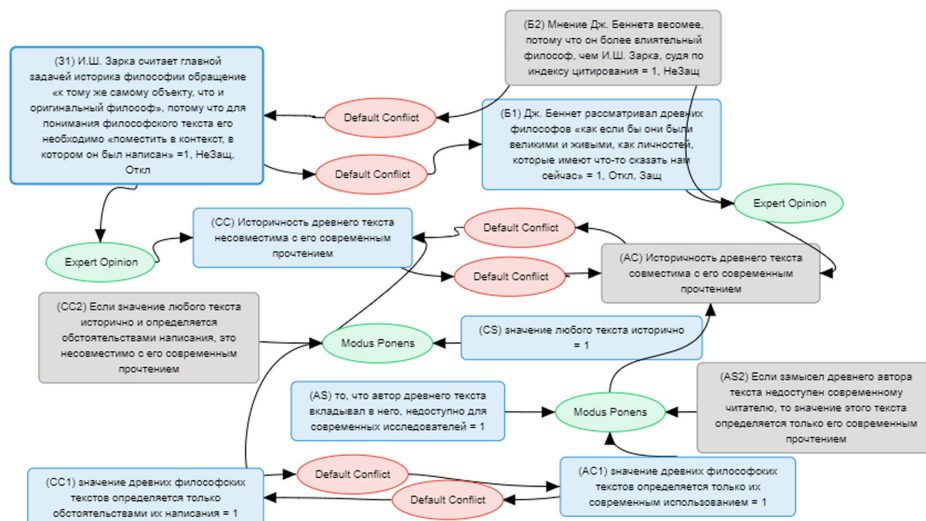


Рис. 1. Спор контекстуалистов и апроприационистов

В несовместимости тезисов CC и AC Берестов И.В. видит тупик дискуссии и ставит задачу ее объективации:

«Новый участник дискуссии может, оценив сложившуюся ситуацию целиком как тупиковую (ведь в достаточно длительной дискуссии уже нет ни одной точки зрения, которая не является и поддерживаемой некоторыми положениями, и опровергаемой другими положениями), использовать эту ситуацию целиком (т.е. положения, упорядоченные отношениями поддержки и опровержения) в качестве довода, поддерживающего некоторую свою точку зрения, которая, по-видимому, не должна совпадать с точками зрения, отстаивавшимися до появления этого участника дискуссии» [1. С. 22].

Суть задачи состоит в том, чтобы «объединить положения, упорядоченные с использованием отношения поддержки (и опровержения), в единый объект» [1. С. 27] и вывести дискуссии из тупика, выдвинув новую точку зрения и избежав непоследовательности порождаемой таким объединением позиции из-за того, что в логике называют взрывом, когда из противоречия следует любое заключение. И.В. Берестов моделирует ее решение при помощи двух основанных на логике аргументации подходов DefLog – ArguMed Б. Ферхёя и логико-когнитивной теории аргументации Е.Н. Лисанюк и обнаруживает ограничения в обоих подходах.

В первом подходе решением задачи выступает новая точка зрения, объединяющая CC и AC в один тезис (SynC): значение текста конституируется как древними, так и современными его интерпретациями.

SynC настаивает, что CC и AC не являются несовместимыми, потому что совместимы доводы CS и AS в их поддержку, и при определенных условиях апроприацию можно считать сверхинтерпретацией [2]. Объективировать разногласие между мнениями, подразумевающими компромиссную позицию, возможно, но лишь в подобном частном случае. В целом такое решение сомнительно в силу противоречивости объединения несовместимых мнений в один тезис. Невозможно объединить CC с составной точкой зрения, что CC неверно, а верно только AC. Аналогично противоречиво объединение AC

с тезисом, что верно только СС, а АС неверно. Таким образом, новая точка зрения SynC не устраняет опасность взрыва и в общем случае противостоит и СС, и АС.

Во втором подходе объективация оказывается нереализуема из-за ограничений выразительных возможностей абстрактного взгляда на аргумент. Отсутствие разграничения между опровержением как критикой заключения и подрывом как критикой посылок аргумента не позволяет опосредовать несовместимость СС и АС на метауровне, составив из СС и АС молекулярный аргумент, в котором критические доводы против посылок ослабляли, но не отклоняли бы атакуемый аргумент.

Условием объективации дискуссии является идея о том, что не является противоречивым предложение, описывающее заведшие ее в тупик противоположные мнения. Мы предлагаем решить задачу объективации с помощью алгоритма поиска и отбора решений спора (ПОРС), разработанного в логико-когнитивной теории аргументации [3], в основании которой лежат два развивающих эту идею положения. Во-первых, одни аргументы могут ссылаться на другие, отклоняя или поддерживая их. Во-вторых, для того чтобы позиция стороны спора была последовательной, достаточно, чтобы составляющие ее аргументы были совместимы между собой, тогда как требование совместной истинности их посылок не является необходимым. В начале XX в. схожие соображения послужили стимулом разработки отечественными учеными многозначной [4] и релевантной логики [5] в целях преодоления некоторых логических парадоксов.

Мета-аргументация в логике аргументации

Задача объективации дискуссии затрагивает проблему мета-аргументации в логике аргументации – направлении в современной логике, моделирующем логические формы посредством графов, называемых аргументационными структурами или фреймворками. К нему относятся рассмотренные И.В. Берестовым подходы к формализации дискуссий. Абстрактные аргументационные фреймворки зарекомендовали себя хорошим инструментом формального анализа дискуссий благодаря трем своим свойствам, связанным с отвлечением от ряда допущений, принимаемых в логике и теории аргументации, инструменты которых применяются для моделирования дискуссий с древности. Во-первых, абстрагирование от внутреннего строения аргументов открывает перспективу оценивать их не только формально, как в логике, или содержательно, как в теории аргументации, но также при помощи вычислительной семантики, в том числе при помощи используемой здесь семантики расширений, предложенной в немонотонной логике [6]. Во-вторых, бинарное абстрактное отношение *attack* между аргументами, выражающее расхождение во мнениях, позволяет моделировать убедительность точки зрения как возможность ее «успешно отстоять перед лицом атакующих аргументов» [7. Р. 323]. Аргумент принимают за атомарную единицу аргументативного спора, представляющего собой множество аргументов *Arg*, упорядоченное при помощи отношения атаки:

$$F = \langle Arg, attack \rangle.$$

В-третьих, спор трактуют как упорядоченное отношение *attack* множество аргументов, что дает возможность оценивать результаты дискуссии в

целом или с учетом оценок атомарных или молекулярных аргументов, полагаясь на «критерии... определяющие степень, в которой разумно принимать логически выведенные заключения, хотя некоторые из этих заключений устанавливаются недедуктивным рассуждением» [8. Р. 220].

Для некоторого подмножества аргументов $S \subseteq F$, такого, что $\{\alpha, \beta, \dots\} \in S$, где аргумент α критикует аргумент β , будем говорить, что α отклоняет β :

$$\text{attack} [\alpha, \beta],$$

разве что в подмножестве $S \subseteq F$ найдется аргумент γ , такой что отклоняет α :

$$\text{attack} [\gamma, \alpha],$$

и тем самым возвращает β в F в качестве защищенного, как в примере на рис. 2.

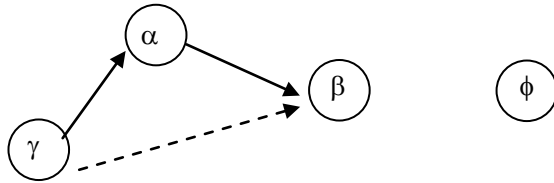


Рис. 2. Пример

Аргумент называют приемлемым на данном множестве аргументов S , т.е. в данном споре, если в случае, когда он атакован, в S найдется аргумент, атакующий атаковавший его аргумент. Упорядочение подмножества аргументов α, β, γ и ϕ при помощи отношения атаки символизирует расхождение во мнениях – заключениях аргументов α и β между сторонами спора, когда для того, чтобы защитить свою точку зрения, агент – автор аргумента β , отклоненного аргументом α , выступает с контраргументацией при помощи нового аргумента γ , отклоняющего α . К приемлемым относятся не атакованные или защищенные аргументы. В целях упрощения схемы аргумент ϕ не соединен пунктирными стрелками с α, β и γ , с которыми он образует бесконфликтные подмножества аргументов, где ни один из аргументов не атакует другой. Они выражают идею последовательной позиции стороны в споре.

Абстрактные аргументационные фреймворки ограничено применимы в моделировании реальных дискуссий вроде общественных делибераций или аргументации в суде, где на новых раундах нередко модифицируют или оценивают ранее звучавшие аргументы. Средствами таких фреймворков можно представить пополнение множества аргументов спора через добавление в него новых аргументов, но невозможно отобразить их особые статусы. Для преодоления этих ограничений предложено два способа: релятивизация фреймворка и расширение его выразительных возможностей [9]. Оба способа внедряют желательные дескриптивные характеристики аргументов в прежде абстрактный взгляд на них. Первый способ предлагает осуществлять репрезентацию конкретной дискуссии в связи с заданными вне фреймворка оценками аргументов, например, выделяя более сильные демонстративные аргументы в отличие от недемонстративных или в связи с агентными профилями сторон, порождающих аргументы, так что оценки аргументов или отношения между ними окажутся элементами их внутреннего строения [10]. Второй способ дополняет фреймворки элементами, выражающими желательные отношения между аргументами, например, подвиды атаки, отклонения либо под-

держки, либо оценки частей аргументов вроде нормативных или ценностных предпочтений [11]. Оба способа пригодны для решения задачи объективации аргументации [12], но непротиворечивы с точки зрения решения спора в нормативном режиме. Первый либо предвосхищает его установление, создавая формальное предпочтение одних аргументов перед другими за рамками фреймворка, либо усложняет процесс его поиска, когда сводится к внедрению дополнительных аргументов или раундов контраргументации, как это происходит и во втором. Кроме этого, второй способ, предлагающий в качестве мета-аргумента внедрять в первоначальный аргумент условную посылку, антецедентом которой служит одна из его эксплицитных посылок, а консеквентом – его заключение, рискует всякому аргументу придать «достойный вид, сообщаемый дедуктивно корректной формой» условного умозаключения [13. С. 276], что больше похоже на механическое восстановление риторической энтимемы в демонстративный аргумент, чем на объективацию дискуссии.

Поиск и отбор решений споров

Алгоритм ПОРС принимает подмножества приемлемых аргументов за исходы спора и из них отбирает решения в различных типах споров [14].

В примере (см. рис. 2), иллюстрирующем единичный смешанный спор – ЕС-спор, приемлемыми являются β , γ и ϕ , но не α . Наименьшей степенью разумности, характеризующей аргументы, убедительные для рационального агента, обладает состоящее из приемлемых аргументов допустимое подмножество аргументов. Бесконфликтное подмножество не подходит на эту роль, так как выражает лишь внутреннюю, но не внешнюю стабильность, отражающую расхождения во мнениях. Абстрактный взгляд на спор подразумевает, что не атакованные аргументы вроде ϕ являются элементами всякого допустимого расширения независимо от того, кто их выдвинул, что предполагает возможность компромиссного решения спора. В примере имеется ряд подмножеств $\{\beta\}$, $\{\phi\}$, $\{\gamma\}$, $\{\gamma, \beta\}$, $\{\beta, \phi\}$, $\{\phi, \gamma\}$, каждое из которых может быть решением ЕС-спора, а наиболее убедительным будет максимальное допустимое подмножество $\{\gamma, \beta, \phi\}$, составляющее предпочтительное расширение Arg и выражающее его компромиссное решение. В отличие от этого защищенные аргументы не принадлежат подмножествам аргументов, к которым принадлежат атакующие их аргументы, и не могут быть элементами позиций сразу нескольких сторон или компромиссного решения спора. Это характерно для множественного смешанного спора – МС-спора. Решением МС-спора будет наименьшее из допустимых расширений подмножество $\{\beta\}$ – прочное, или обоснованное (grounded), расширение.

В ЕС-споре стороны расходятся во мнениях по поводу какого-либо предложения C . Одна из сторон приводит аргументы в поддержку положительной точки зрения $T+(C)$, утверждающей, что C истинно, а другая сторона критикует $T+(C)$ посредством отрицательной точки зрения $T-(C)$, доказывающей, что мнение об истинности C неверно. Решением ЕС-спора являются приемлемые аргументы в защиту положительной или отрицательной точки зрения. В МС-споре стороны расходятся во мнениях по поводу двух или более предложений, например, когда одна сторона считает C истинным, а $\neg C$ – ложным, а другая придерживается противоположного мнения о них. В МС-споре каж-

дая сторона стремится не только отстоять свою точку зрения, но и отклонить противоположную. Решением МС-спора является подмножество защищенных аргументов в поддержку составной точки зрения $T+(C)$ и $T-(\neg C)$, либо в поддержку противоположной $T+(\neg C)$ и $T-(C)$. Основанное на доверительной (credulous) семантике решение ЕС-спора допускает компромисс сторон, когда наибольшее подмножество приемлемых аргументов включает неотклоненные аргументы разных сторон, в отличие от исключающего компромисс решения МС-спора, основанного на скептической (skeptical) семантике и состоящего только из защищенных аргументов.

По этой причине для объективации дискуссии в ЕС-споре оценка состоятельности отдельных аргументов не является необходимым условием [15], в отличие от МС-спора. Такую оценку можно рассматривать как релятивизацию фреймворка, поскольку она зависит от внутреннего строения аргументов, или как расширение его выразительного потенциала, так как она подразумевает формализацию эпистемических и прагматических допущений. ПОРС реализует оценку состоятельности при помощи критических вопросов, формулируемых специально для каждого из трех видов аргументов, дедуктивных, индуктивных и правдоподобных. Истинность посылок проверяется посредством критических вопросов к ним одинаково для каждого вида аргумента, а демонстрация проверяется по-разному. Для дедуктивных аргументов проверяют их корректность, а для индуктивных – обоснованность подсчета вероятности или степени поддержки заключения посылками. Для правдоподобных аргументов, посылки которых выступают отменяемыми допущениями, принимаемыми в условиях отсутствия сведений об обратном, критические вопросы формулируются относительно воплощенных в них схем аргументации – типов строения таких аргументов, отражающих содержательные особенности допущений в посылках. Мы полагаемся на предложенную Дугласом Уолтоном методику проверки правдоподобных аргументов и таксономию схем аргументации [16].

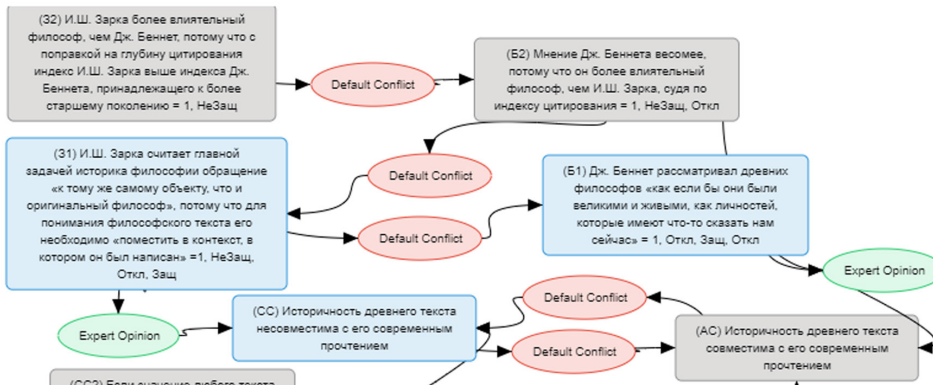


Рис. 3. Объективация аргументов к экспертному мнению в споре контекстуалистов и апроприационистов

Один из наиболее распространенных правдоподобных аргументов, часто предъявляемый в форме цитирования, – это ссылка на авторитет, или аргумент от экспертного мнения. Критические вопросы к нему проверяют релевантность и надежность источника экспертного мнения, а также его согласо-

ванность с мнениями других экспертов и могут выступать содержанием контраргументов, как 32 и Б2 на рис. 3, оспаривающие влияние источников. Совместимость ответов на критические вопросы с заключением аргумента разделяет множество аргументов спора на три группы, которым для удобства подсчета исходов можно приписать числовые значения:

- сильно состоятельные = 1, не дающие несовместимых с заключением ответов;
- среднесостоятельные = 0,5, дающие не более половины несовместимых с заключением ответов;
- слабо состоятельные = 0,1, дающие менее половины несовместимых с заключением ответов.

Будем считать отклоненным аргумент, атакованный не менее состоятельным аргументом, – Откл; защищенным – аргумент, атака на который была отклонена, – Защ, а остальные аргументы – незащищенными – НеЗащ (см. рис. 1 и 3). Оценка состоятельности аргументов позволяет поделить приемлемые аргументы на защищенные и незащищенные в качестве исходов спора и далее отбирать из них решения для разных споров.

Объективация и ПОРС

Для демонстрации применения ПОРС в объективации дискуссий позиции сторон спора контекстуалистов и апроприационистов были построены молекулярными аргументами к экспертным мнениям философов И.Ш. Зарка – 31, и Дж. Беннета – Б1 и Б2, цитируемыми в статье И.В. Берестова, а также условными посылками в духе решения К.Г. Фролова – СС2 и АS2. Эти дополнения можно толковать как новые этапы дискуссии, где вступающие в нее участники приводят свежие доводы и оценивают ранее звучавшие, соответственно.

Если все точки зрения в дискуссии и поддержаны, и атакованы, это подразумевает два неодинаковых упорядочения множества аргументов спора, когда аргументы и контраргументы равны или неравны по состоятельности. Версию компромиссного решения ЕС-спора при помощи предпочтительного расширения мы рассмотрели выше и обнаружили, что в ЕС-споре подмножество решений не может быть пустым, значит, задача объективации в ЕС-споре имеет решение всегда.

Рассмотрим обе версии тупика в МС-споре по порядку. Первая из них, когда аргументы и контраргументы равно состоятельны, – это случай, именуемый в логике аргументации ромбом Никсона. Применительно к спору контекстуалистов и апроприационистов он изображен на рис. 1, где взаимная атака АС и СС иллюстрирует неподвижную точку в нем. В скептической семантике его решением является пустое множество аргументов, поэтому в таком МС-споре нет решения, ведь в нем нет защищенных аргументов. На рис. 1 и 3 состоятельность всех аргументов отмечена как 1, в том числе и для некоторых посылок, для удобства рассмотрения именно этого случая. Добавление аргументов или контраргументов способно изменить отсутствие решения МС-спора, лишь когда в споре появится защищенный аргумент, как Б1, в результате чего в споре возьмет верх АС. Если после этого сторонники СС атакуют Б2 при помощи сильно состоятельного 32, утверждая, что с поправкой на глубину цитирования индекс И.Ш. Зарка выше индекса Дж. Беннета,

принадлежащего к более старшему поколению, то 31 станет защищенным и верх в споре возьмет СС (см. рис. 3). Абстрактный взгляд на 31 и 32, а также на Б1 и Б2 как на неструктурированные аргументы указывает неподвижную точку спора, т.е. тупик дискуссии, как в парах АС и СС или АС1 и СС1. Добавление не защищенных аргументов в поддержку какой-либо из точек зрения вроде СС2 или АС2 не влияет на решения МС-спора или их отсутствие.

Во втором случае, когда состоятельность аргументов и контраргументов неодинаковая, решение МС-спора имеется уже в первом раунде, но добавление новых аргументов способно это изменить, если они отклоняют контраргументы, как в первом случае. Представим, что состоятельность СС1 = 0,5, а не 1, как на рис. 1, а АС = 1. Тогда сильно состоятельный АС1 отклоняет среднесостоятельный СС1, который атакует, но не отклоняет АС1. В результате молекулярный аргумент {АС, АС, АС1} становится защищенным и, значит, будет решением спора, причем независимо от (добавления) АС2.

Заключение

При помощи алгоритма поиска и отбора решений спора предложено решение задачи объективации дискуссий через установление решения спора. В допускающих компромисс единичных смешанных спорах оно состоит из не атакованных или защищенных аргументов, способных противостоять критическим аргументам, а в не допускающих компромисса множественных смешанных спорах — исключительно из защищенных, либо в их отсутствие является пустым.

Список источников

1. Берестов И.В. Дополнение аргументационных структур объективацией дискуссий // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 50. С. 21–29.
2. Вольф М.Н., Берестов И.В. Сверхинтерпретация или апроприация? // *Respublica Literaria*. 2020a. Т. 1, № 1. С. 58–68.
3. Лисанюк Е.Н. Поиск и отбор решений спора // Формальная философия аргументации / под ред. Е.Н. Лисанюк. СПб.: Алетеия, 2022. С. 166–194.
4. Бочвар Д.А., Финн В.К. О многозначных логиках, допускающих формализацию анализа антиномий // Исследования по математической лингвистике, математической логике и информационным языкам. М., 1972. С. 238–295.
5. Орлов И.Е. Исчисление совместности предложений // Математический сборник. 1928. Т. 35, вып. 3–4. С. 263–286.
6. Kakas A.C., Kowalski R.A., Toni F. Abductive logic programming // *Journal of Logic and Computation*. 1992. Vol. 2 (6). P. 719–770.
7. Dung P.M. On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming, and n-person games // *Artificial Intelligence*. 1995. Vol. 77. P. 321–357.
8. Prakken H., G. Vreeswijk. Logic for Defeasible Argumentation // *Handbook of Philosophical Logic* / eds. D.M. Gabbay, F. Guenther. Dordrecht: Kluwer, 2002. Vol. 4. P. 218–319.
9. Boella G., Gabbay D.M., van der Torre L., Villata S. MetaArgumentation Modelling I: Methodology and Techniques // *Studia Logica*. 2006. Vol. 82. P. 1–59.
10. Prakken H. An abstract framework for argumentation with structured arguments // *Argument and Computation*. 2011. Vol. 1 (2). P. 93–124.
11. Modgil S. Reasoning about preferences in argumentation frameworks // *Artificial Intelligence*. 2009. Vol. 173, № 9–10. P. 901–934.
12. Фролов К.Г. Формальные модели мета-аргументации и объективации дискуссий // Логические исследования. 2024. Т. 30, № 1. С. 24–46.
13. Фогелин Р. Логика глубокого разногласия // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 64. С. 275–285.

14. Лисанюк Е.Н., Шеваренкова А.В. Визуализация аргументации, глубокое разногласие и решение спора (на примере дискуссии о домогательствах) // ПРАΞΗΜΑ. 2024. № 2 (40). С. 167–197.
15. Baimuratov I., Lisanyuk E., Prokudin D. Dispute Resolution with OWL DL and Reasoning // Proceedings of the 36th International Workshop on Description Logics (DL 2023), September 2–4, 2023, Rhodes, Greece. CEUR-WS.org. Vol. 3515.
16. Walton D., Reed Ch., Macagno F. Argumentation schemes. Cambridge University Press, 2008.

References

1. Berestov, I.V. (2019) An Extension of Argumentation Structures with an Objectification of Discussions. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 50. pp. 21–29. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/50/2
2. Volf, M.N. & Berestov, I.V. (2020) Sverkhinterpretatsiya ili apropiatsiya? [Overinterpretation or appropriation?]. *Respublica Literaria*. 1(1). pp. 58–68.
3. Lisanyuk, E.N. (2022) Poisk i otbor resheniy spora [Search and selection of dispute resolutions]. In: Lisanyuk, E.N. (ed.) *Formal'naya filosofiya argumentatsii* [Formal Philosophy of Argumentation]. St. Petersburg: Aleteyya. pp. 166–194.
4. Bochvar, D.A. & Finn, V.K. (1972) O mnogoznachnykh logikakh, dopuskayushchikh formalizatsiyu analiza antinomiy [On many-valued logics allowing formalization of analysis of antinomies]. In: Bochvar, D.A. & Shreider, Yu.A. (eds) *Issledovaniya po matematicheskoy lingvistike, matematicheskoy logike i informatsionnym yazykam* [Investigations in Mathematical Linguistics, Mathematical Logic and Informational Languages]. Moscow: Nauka. pp. 238–295.
5. Orlov, I.E. (1928) Ischislenie sovmestnosti predlozheniy [A Calculus of Compatibility of Propositions]. *Matematicheskii sbornik*. 35(3-4). pp. 263–286.
6. Kakas, A.C., Kowalski, R.A. & Toni, F. (1992) Abductive logic programming. *Journal of Logic and Computation*. 2(6). pp. 719–770.
7. Dung, P.M. (1995) On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming, and n-person games. *Artificial Intelligence*. 77. pp. 321–357.
8. Prakken, H. & Vreeswijk, G. (2002) Logic for Defeasible Argumentation. In: Gabbay, D.M. & Guenther, F. (eds) *Handbook of Philosophical Logic*. Vol. 4. Dordrecht: Kluwer. pp. 218–319.
9. Boella, G., Gabbay, D.M., van der Torre, L. & Villata, S. (2006) MetaArgumentation Modelling I: Methodology and Techniques. *Studia Logica*. 82. pp. 1–59.
10. Prakken, H. (2011) An abstract framework for argumentation with structured arguments. *Argument and Computation*. 1(2). pp. 93–124.
11. Modgil, S. (2009) Reasoning about preferences in argumentation frameworks. *Artificial Intelligence*. 173(9-10). pp. 901–934.
12. Frolov, K.G. (2024) Formal'nye modeli meta-argumentatsii i ob'ektivatsii diskussii [Formal models of meta-argumentation and objectification of discussions]. *Logicheskie issledovaniya*. 30(1). pp. 24–46.
13. Fogelin, R. (2021) Logika glubokogo raznoglasiya [The Logic of Deep Disagreement]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 64. pp. 275–285. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/64/27
14. Lisanyuk, E.N. & Shevarenkova, A.V. (2024) Visual Argument Mapping, Deep Disagreement and Dispute Resolution (a Case-study of the Harassment Discussion). *ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics*. 2(40). pp. 167–197. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2024-2-167-187
15. Baimuratov, I., Lisanyuk, E. & Prokudin, D. (2023) Dispute Resolution with OWL DL and Reasoning. *Proceedings of the 36th International Workshop on Description Logics (DL 2023)*, September 2–4, 2023. Rhodes, Greece. CEUR-WS.org. Vol. 3515.
16. Walton, D., Reed, Ch. & Macagno, F. (2008) *Argumentation Schemes*. Cambridge University Press.

Сведения об авторе:

Лисанюк Е.Н. – доктор философских наук, доцент, профессор Школы философии и культурологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия); ведущий научный сотрудник сектора логики Института философии Российской академии наук (Москва, Россия). E-mail: elisanyuk@hse.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Lisanyuk E.N. – Dr. Sci. (Philosophy), docent, professor of the School of Philosophy and Cultural Studies, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation); leading researcher in the Logic Sector, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: elisanyuk@hse.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.06.2024;
одобрена после рецензирования 16.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*

*The article was submitted 10.06.2024;
approved after reviewing 16.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья
УДК 165:1-051
doi: 10.17223/1998863X/80/6

МЕТАЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В КРИТИКЕ ЦИНИЗМА ПЕТЕРА СЛОТЕРДАЙКА

Ангелина Валерьевна Петрова

*Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия,
angelina.gukovaa@yandex.ru*

Аннотация. Проводится метаэпистемологический анализ критики цинизма Петера Слотердайка, в котором исследуются моральные стандарты, лежащие в основе его оценки, и их обоснованность. Рассматривается взаимодействие между универсальными и культурно-специфическими моральными стандартами, подчеркивается важность критической саморефлексии и универсальных этических норм в научных теориях.

Ключевые слова: метаэпистемология, этика, моральные стандарты, цинизм

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>

Для цитирования: Петрова А.В. Метаэпистемологический анализ моральных стандартов в критике цинизма Петера Слотердайка // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 64–73. doi: 10.17223/1998863X/80/6

HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

METAEPISTEMOLOGICAL ANALYSIS OF MORAL STANDARDS IN PETER SLOTERDIJK'S CRITIQUE OF CYNICISM

Angelina V. Petrova

*Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Tomsk, Russian Federation, angelina.gukovaa@yandex.ru*

Abstract. This article presents a meta-epistemological analysis of Peter Sloterdijk's critique of cynicism that aims to identify the moral standards underpinning his assessment of contemporary cynicism and to evaluate their validity. The article examines how moral and ethical attitudes influence epistemological processes and the formation of theories, and analyzes the complex interplay between universal and culturally specific moral standards in Sloterdijk's theory. The primary focus is on the fact that Sloterdijk's critique is based on Enlightenment ideals such as rationality, critical thinking, and respect for human dignity. These ideals highlight the universal aspects of his moral standards. However, the interpretation of these ideals within the context of contemporary Western philosophy

underscores culturally specific elements. Sloterdijk's personal philosophical views, his emphasis on intellectual effort and critical thinking add depth to his critique but can also introduce bias, underscoring the need for critical self-reflection and adherence to commonly accepted moral standards. The article addresses the question of the admissibility of incorporating personal assessments into scientific theories and their impact on epistemological analysis. The findings indicate that Sloterdijk's personal and cultural orientations play a significant role in his theory, but his critique of cynicism remains justified as his moral standards largely align with universal ethical principles. This underscores the importance of applying universal moral standards to ensure the objectivity, fairness, and reliability of theories, as well as the necessity of critical self-reflection and openness to critique to maintain the status of a researcher. Thus, the article demonstrates that incorporating personal assessments into scientific theories is both possible and necessary, provided they are well-founded, transparent, and aligned with commonly accepted moral standards. This approach helps maintain the scientific value and objectivity of theories, contributing to the creation of deeper and more substantiated science.

Keywords: metaepistemology, ethics, moral standards, cynicism

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-18-00019, <https://rscf.ru/project/23-18-00019/>

For citation: Petrova, A.V. (2024) Metaepistemological analysis of moral standards in Peter Sloterdijk's critique of cynicism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 63–73. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/6

Метаэпистемологический анализ этических и моральных оценок в теоретических исследованиях выявляет глубокую взаимосвязь между этическими принципами и эпистемологическими исследованиями. Этот подход требует от философов осознания и критического осмысления своих предпосылок, а также осторожности при их применении, особенно в контексте критики или оценки различных культурных и социальных практик. Так, исследуя вопрос включения моральных оценок в эпистемологический процесс, Роберт Ауди в своих исследованиях, посвященных взаимосвязи этики и познания, подчеркивает: «...наши эпистемические практики глубоко переплетаются с этическими соображениями, поскольку целостность наших знаниевых утверждений зависит от моральных рамок, в которых они развиваются и оцениваются» [1. Р. 445].

В свою очередь, включение моральной оценки в теорию сопряжено с эпистемической ответственностью, которая заключается в осознании того, что автор теории не только создает знание, но и несет ответственность за его применение и возможные последствия его распространения. Р. Ауди говорит об эпистемической ответственности как о необходимом компоненте моральных установок автора эпистемического суждения: «...эпистемическая ответственность включает в себя обязательство учитывать моральные установки и их влияние на наши познавательные процессы и выводы» [2. Р. 102]. Предполагается, что автор теории должен учитывать влияние своих моральных оценок на процесс познания и осознавать, как эти оценки могут быть восприняты и использованы в различных контекстах. Неспособность соблюдать эти принципы может привести к морально нежелательным последствиям, таким как дезинформация, негативизм или даже отрицание знания.

Кроме того, оценка знания в социальных теориях неминуемо затрагивает моральные и этические установки, обусловленные контекстом и практикой познавательного процесса. Вопросы роли, значимости и применения знания в социальной науке требуют тщательного анализа как эпистемологических ос-

нов, так и этических принципов, на которых базируются социальные теории. Теория Петера Слотердайка, сосредоточенная на критике современного цинизма, представляет собой яркий пример такого подхода.

В данной статье планируется углубить исследование, предложенное в предыдущих работах [3, 4]. Подвергая концепцию диффузного цинизма метаэпистемологическому анализу, мы сможем продемонстрировать значимость метаэпистемологического анализа для социальных теорий и исследовать ключевые проблемные аспекты в структуре его теории и структуре социальных теорий в целом.

Цель нашей работы состоит в выявлении моральных стандартов, на которых П. Слотердаик основывает свою оценку современного цинизма. Думается, понимание этических оснований, на которых выстраивается эпистемологическая социальная теория, важно потому, что от этого зависит не только теоретическая обоснованность и согласованность, но и практическая применимость таких теорий. Этические принципы служат фундаментом, определяющим направленность и конечные цели теоретических исследований. В контексте социально-философских теорий, таких как концепция цинизма П. Слотердайка, этическое измерение помогает критически оценить надежность и обоснованность его эпистемологических выводов.

Исследование этих вопросов поможет не только лучше понять теорию П. Слотердайка и обозначить ее проблемные места, но и расширить наше представление о взаимосвязи эпистемологии и этики в контексте социальных наук. Поскольку знание и информация имеют значительные социальные, политические и личные последствия, важно, чтобы теоретики действовали с максимальной ответственностью и этическим сознанием. Этот акцент в метаэпистемологических исследованиях становится все более актуальным, что подтверждается ростом числа работ, в которых рассматривается взаимосвязь этических установок и процесса получения знания [1, 2, 5, 6].

Например, З. Эдджин в своей книге «Достаточно истинно» исследует, как нормы и ценности влияют на эпистемические практики. З. Эдджин утверждает, что понимание знания требует учета не только фактических утверждений, но и нормативных аспектов, таких как надежность, согласованность и эпистемическая добродетель, тем самым указывая, что эпистемические практики неотделимы от норм и ценностей, направляющих их развитие и применение. С ее точки зрения, моральные установки повышают качество и надежность наших знаний, поскольку «формируют наши методы познания и критерии оценки информации» [6. Р. 23].

Метаэпистемологический анализ теории Петера Слотердайка позволяет выявить влияние его моральных и этических оценок на критику современного цинизма, а также раскрывает этические и эпистемологические предпосылки, лежащие в основе его взглядов. Такой анализ позволит сделать вывод о степени влияния моральных установок на теорию и допустимости включения личных оценок и установок в критический анализ. Если его критика основывается на универсальных принципах, это позволяет говорить об объективности теории; в противном случае существует риск ее искажения. Это позволит сделать вывод о том, насколько широко влияние моральных установок на теорию и допустимо ли включение личной оценки и личных установок в критический анализ.

В предшествующих исследованиях была выявлена проблема, присущая как теории П. Слотердайка, так и социальным теориям в целом. Речь идет о необходимости определить, на чем основано эпистемическое обоснование утверждений автора [3]. Поскольку социальные теории часто касаются субъекта и его культурного, идеологического и морального фона, автор теории также является субъектом, на которого распространяются выводы его же теории. Трудность заключается в установлении критериев, по которым высказывания субъекта, являющегося автором теории, могут быть признаны достоверным отражением действительности.

Решением может служить выявление условий, позволяющих формулировать суждения, которые возможно оценить с точки зрения их нормативности и истинности. Была предпринята попытка разграничения субъектов по их эпистемологическим статусам и поиска особого эпистемологического статуса, который позволил бы устранить указанное противоречие. Мы пришли к выводу, что для того, чтобы высказывания автора теории могли считаться достоверными, он должен обладать эпистемологическим статусом «исследователь». Это метапозиция, которую можно использовать в качестве формы саморефлексии над основаниями собственных эпистемических высказываний или теорий, а также для анализа социальных теорий с особой позиции субъекта, соблюдающего «эпистемическую скромность» [7], т.е. критически подходящего к собственным утверждениям и основаниям, на которых они строятся.

Эпистемический статус субъекта, в свою очередь, определяется его способностью к познанию, обоснованию своих убеждений и критическому анализу собственных позиций. Этот статус тесно связан с вопросами саморефлексии, автономии и ответственности субъекта в познавательном процессе.

Так, для признания эпистемического статуса «исследователь» необходимо учитывать интеллектуальные способности субъекта, мотивы, методологию и этическое поведение. В частности, при обозначении условий возникновения особой позиции «исследователь» важным является критерий компетенции и осведомленности в области затрагиваемого вопроса. Однако в современной метаэпистемологии не менее важным является такой фактор, как «интеллектуальный мотив» исследователя, т.е. причина, побудившая его к поиску истины. Подробнее об этом пишет в своих работах Хилари Корнблит [7]. Такая этическая установка представляется ключевым условием, обосновывающим эпистемические высказывания, поскольку в условиях релятивистского восприятия и трактовки истины этическая установка исследователя остается одним из немногих факторов, доступных для проверки и анализа. Чем больше этическая установка исследователя соответствует объективным моральным стандартам, тем она более достоверна и обоснована. Таким образом, мотив «отыскания истины ради самой истины» оказывается наиболее значимым иерархически.

На основании приведенных критериев мы присвоили П. Слотердайку указанный статус исходя из его разграничения цинизма и кинизма как познавательных стратегий, причем за кинизмом закрепляется право критического усилия. П. Слотердаик рассматривает современный цинизм как форму ложного сознания, которое выражается в скептицизме и недоверии к

общественным и культурным институтам. Этот цинизм проявляется в осознании индивидуумами противоречий и проблем общества, но без попытки их изменить. В свою очередь, концепт «знание» важен для П. Слотердайка в его классической форме, требующей концентрации и интеллектуального усилия для поиска и анализа фактов, данных и информации. Таким образом, он рассматривает цинизм как однозначно негативное явление, требующее критики и преодоления из-за своего влияния на процесс познания и восприятия знания. Здесь П. Слотердаик вводит нормативную оценку, трактуя цинизм как проблему. Именно подобная оценка и станет объектом нашего исследования.

Анализ моральных стандартов в критике цинизма П. Слотердайка

При углубленном анализе теории П. Слотердайка становится очевидным наличие множества оценочных суждений. Проблематизация и негативизация цинизма у Слотердайка связаны, прежде всего, с вредом, который циничная установка сознания, по его мнению, наносит субъекту как актору познания и взаимодействия с миром. Цинизм приводит к следующим последствиям в процессе познания: снижение мотивации к поиску истины, утрата доверия к объективному знанию, искажение восприятия действительности и разрушение интеллектуальной целостности.

П. Слотердаик начинает свою работу с эмоционального введения, в котором описывает текущее плачевное состояние философии. Он пишет: «На протяжении столетия философия лежит на смертном одре и не может умереть, поскольку задача ее еще не исполнена. По этой причине конец ее вынужденно затягивается и протекает в мучениях» [8. С. 5]. По его мнению, причина такого состояния философии кроется в том, как время и события исказили восприятие процесса познания: к стремлению к истине добавилось стремление к власти через знание, и знание стало синонимом власти, лишившись своего непосредственного значения. П. Слотердаик утверждает: «В мышлении нашем больше не осталось и бледного следа от былого взлета понятий и прежних экстазов понимания. Мы – просвещены, мы – пребываем в апатии. О любви к мудрости давно нет и речи. Уже не существует знания, любителем (philos) которого можно было бы быть» [8. С. 6].

Универсальный характер его критики проявляется в апелляции к идеалам Просвещения, которые, по его мнению, были искажены. Он утверждает, что причины многих современных проблем кроются в специфической форме получения, интерпретации и применения знаний, возникшей в эпоху Просвещения. Эта форма привела к необоснованно завышенным ожиданиям и идеализму, что, в свою очередь, стало основой для последующего разочарования. Например, П. Слотердаик полагает, что рациональное и критическое мышление, заложенное в эпоху Просвещения, изначально имело потенциал для улучшения общества. Однако излишняя отстраненность от знания и от объектов своего познания, создание «возвышенной науки», граничащей со снобизмом в своем отвлечении от реальности, породило слишком большой отрыв от действительности, переросший в догматизацию. А лишившийся свободы интеллект потерял и потенциал к познанию. Он пишет: «когнитивный кинизм есть форма обхождения со знанием, форма превращения

абсолютного знания в относительное, форма иронизирования по поводу знания, форма применения и преодоления его. Он есть форма ответа воли к жизни на то, что ей причинили теории и идеологии: отчасти духовное искусство выживания, отчасти интеллектуальное сопротивление, отчасти сатира, отчасти критика. „Критическая Теория“ желает быть теорией, защищающей жизнь от ложной абстрактности и насильственности „позитивных“ теорий» [8. С. 442].

Философ считает, что вместо стремления к знаниям и самосовершенствованию современные общества стали цинично настроенными по отношению к этим идеалам, что приводит к утрате интеллектуальной и моральной ориентации. Аналитическая работа и когнитивные усилия, присущие познавательному процессу в эпоху Просвещения, Слотердайк считает необходимым элементом познания. По его мнению, обращение со знаниями и сам процесс познания должны включать интеллектуальные усилия.

Далее можно увидеть, как критика Петера Слотердайка приобретает культурно-специфические элементы. Он критикует массовую культуру и влияние медиа, которые, по его мнению, усиливают цинизм в обществе. Он утверждает, что современная медиа-среда с ее акцентом на сенсации и поверхностное потребление информации способствует формированию циничного мировоззрения. «О чем бы ни шла речь, нужно выяснить, почему цинизм прямо-таки с естественной необходимостью становится профессиональным риском и профессиональным заболеванием тех, чья работа состоит в производстве изображений „действительности“ и информации о ней» [8. С. 461]. Этот аспект его критики особенно актуален в контексте западного общества, где медиа играют центральную роль в формировании общественного мнения и культуры.

Еще один культурно-специфический аспект критики П. Слотердайка касается консьюмеризма и капитализма. Он утверждает, что современное капиталистическое общество поощряет циничное отношение к потреблению и материальному благосостоянию, что ведет к духовной пустоте и моральному разложению. Эта критика также направлена большей частью на западные общества, где капитализм и консьюмеризм являются доминирующими экономическими и культурными силами.

Очевидно, что подобная критика произрастает из личного взгляда П. Слотердайка на природу знания и важность процесса познания. Философ видит знание не просто как инструмент власти, а как средство для глубокого понимания мира и самосовершенствования. В контексте диффузного цинизма, т.е. цинизма, не явно представленного, а пронизывающего всю культуру, знание часто рассматривается не как путь к истине, а как средство для поддержания статус-кво достижения личной выгоды. Если «знание» используется преимущественно как инструмент манипуляции, то такое «знание» отклоняется от классического понимания истинного знания, которое стремится к объективности и универсальности. В этом смысле если П. Слотердайк действительно стремится к объективному разоблачению и критике, его понимание истины может быть воспринято как более надежное и этическое по сравнению с истиной, которая служит лишь инструментом для достижения целей власти или выгоды. В случае с теорией Петера Слотердайка его критика цинизма базируется на определенных этических стандартах, которые он, веро-

ятно, считает универсальными, поскольку они соответствуют идеалам Просвещения, таким как рациональность, критическое мышление и уважение к человеческому достоинству.

Личные воззрения и их влияние

Вопрос о допустимости включения личных оценок в научные теории и их влияния на эпистемологический анализ является сложным и многогранным. Если полное исключение личных оценок невозможно, важно определить, в какой форме их включение может быть допустимо, чтобы не подорвать объективность и научную ценность теории. Также следует ответить на вопрос, насколько личные оценки сочетаются с эпистемологической позицией «исследователя». Основным критерием здесь служит обоснованность и соответствие этих оценок общепринятым моральным установкам.

Личные воззрения автора подчеркивают его уникальный взгляд на процесс познания и роль морали в этом процессе. Эти воззрения могут быть как сильной стороной, так и потенциальной слабостью его теорий. С одной стороны, они добавляют глубину и уникальность его критике, делая ее более богатой и многослойной. С другой стороны, личные убеждения могут привести к предвзятости, которая может снизить объективность его выводов.

В данном случае необходимо подчеркнуть, что позиция «исследователя» предполагает объективный и беспристрастный подход к анализу информации и формированию суждений. Это позволяет избежать предвзятости, а также по возможности оценить условия, влияющие на выдвижение суждений.

Основная задача «исследователя» – избежать собственной пристрастности и предубеждения и обнаружить те установки, которые лежат в основе собственных эпистемических суждений. Важно понимать, что позиция «исследователя» не означает полного отказа от собственных убеждений и предпочтений. Исследователь может иметь свои взгляды и мнения, но он должен быть готов пересмотреть их в свете новых фактов и аргументов. Это требует от исследователя интеллектуальной добродетели, эпистемологической скромности и готовности к саморефлексии.

Для сохранения указанного эпистемологического статуса личные оценки могут быть включены в теорию при следующих условиях:

- обоснованность и прозрачность: личные оценки должны быть четко обоснованы и аргументированы. Исследователь должен прозрачно представлять свои моральные и этические позиции, объясняя, как они влияют на его анализ и выводы;

- соответствие общепринятым моральным стандартам: личные оценки должны быть основаны на универсальных моральных стандартах, признанных в научном сообществе. Эти стандарты включают честность, объективность, справедливость, уважение к человеческому достоинству и ответственность за социальные последствия теорий.

Основной причиной критики П. Слотердайка является его разочарование и пессимистичный прогноз относительно направления, в котором развивается современный процесс познания. В основе его критики лежит убеждение, что цинизм разрушает такие объективные моральные установки, как честность и этическая ответственность, поскольку нивелирует их значимость.

Критический подход к анализу цинизма П. Слотердайка иллюстрирует сложное взаимодействие между универсальными и культурно-специфическими моральными стандартами. Его приверженность идеалам Просвещения и рациональности указывает на универсальные аспекты, в то время как интерпретация этих идеалов в контексте современной западной философии подчеркивает культурно-специфические элементы. Личные философские воззрения П. Слотердайка, акцент на интеллектуальные усилия и критическое мышление придают глубину его критике и показывают, как его моральные оценки формируют его теоретические позиции. Это приводит к тому, что его критика цинизма становится не просто философским аргументом, но и выражением его личных и культурных предпочтений.

Таким образом, допустимость включения личных оценок в научные теории зависит от их обоснованности, соответствия общепринятым моральным стандартам, способности к критической саморефлексии, открытости к критике и потенциала для развития существующих моральных установок. При соблюдении этих условий исследователь сохраняет свой статус и способствует созданию более глубокой и обоснованной теории. В случае П. Слотердайка его критика цинизма может считаться обоснованной, поскольку его личные оценки дополняют и развивают универсальные моральные стандарты, обеспечивая, таким образом, как объективность, так и культурную релевантность его теории.

Таким образом, в данной статье проведен метаэпистемологический анализ теории Петера Слотердайка, направленный на выявление моральных стандартов, лежащих в основе его критики современного цинизма. В ходе исследования рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся взаимосвязи этических принципов и эпистемологических основ теории, а также влияние личных и культурно-специфических воззрений автора на его критику.

Анализ показал, что критика «цинизма» П. Слотердайка представляет собой сложное переплетение универсальных и культурно-специфических моральных стандартов. Его приверженность идеалам Просвещения и рациональности указывает на универсальные аспекты, в то время как интерпретация этих идеалов в контексте современной западной философии подчеркивает культурно-специфические элементы. Личные философские воззрения П. Слотердайка, акцент на интеллектуальные усилия и критическое мышление придают глубину его критике и формируют его теоретические позиции.

Основной вывод статьи заключается в том, что моральные и этические оценки играют критическую роль в формировании и оценке теорий. Включение личных оценок в теорию возможно при условии их обоснованности, прозрачности и соответствия общепринятым моральным стандартам. Это позволяет сохранить объективность и научную ценность теории.

Кроме того, исследование показало, что личные взгляды П. Слотердайка могут как обогащать его критику, делая ее более глубокой и многослойной, так и представлять риск предвзятости, снижая объективность его выводов. Позиция «исследователя» предполагает объективный и беспристрастный подход к анализу информации и формированию суждений, что требует интеллектуальной добродетели, эпистемологической скромности и готовности к саморефлексии.

Таким образом, применение универсальных моральных стандартов в метаэпистемологическом анализе критики теории П. Слотердайка помогает установить степень объективности и справедливости его теории, а также понять, в какой мере личные и культурные взгляды автора влияют на его оценку. Это подчеркивает важность этических основ в эпистемологических исследованиях и их значимость для формирования обоснованных и надежных теорий в социальных науках.

Список источников

1. Audi R. Testimony as a Social Foundation of Knowledge // *Philosophy and Phenomenological Research*. 2004. Vol. 68, № 3, P. 434–458.
2. Audi R. *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*. Routledge, 2003. 368 p.
3. Петрова А.В. Метаэпистемологический анализ концепции «диффузного цинизма» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 66–75.
4. Петрова А.В., Ладов В.А. «Исследователь» как эпистемологический статус субъекта: социальная этика и метапозиция // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 76. С. 46–53.
5. Zagzebski L. *Epistemic Values: Collected Papers in Epistemology*. Oxford University Press, 2020. 380 p.
6. Elgin Z. *True Enough*. MIT Press, 2017. 213 p.
7. Kornblith H. *Belief in the Face of Controversy*. [Electronic resource] // Oxford University Press, 2010. Electronic data. URL: <https://sites.google.com/site/hkornblith/home/publications/belief-in-the-face-of-controversy> (access date: 20.05.2024).
8. Слотердайк П. Критика цинического разума / пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург : У-Фактория ; М. : АСТ МОСКВА, 2009. 800 с.

References

1. Audi, R. (2004) Testimony as a Social Foundation of Knowledge. *Philosophy and Phenomenological Research*. 68(3). pp. 434–458.
2. Audi, R. (2003) *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*. Routledge.
3. Petrova, A.V. (2022) Meta-epistemological analysis of the concept “diffuse cynicism.” *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 66–75. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/69/8
4. Petrova, A.V. & Ladov, V.A. (2023) The “researcher” as an epistemological status of a subject: Social ethics and metaposition. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 76. pp. 46–53. (In Russian).
5. Zagzebski, L. (2020) *Epistemic Values: Collected Papers in Epistemology*. Oxford University Press.
6. Elgin, Z. (2017) *True Enough*. MIT Press.
7. Kornblith, H. (2010) *Belief in the Face of Controversy*. Oxford University Press. [Online] Available from: <https://sites.google.com/site/hkornblith/home/publications/belief-in-the-face-of-controversy> (Accessed: 20th May 2024).
8. Sloterdijk, P. (2009) *Kritika tsinicheskogo razuma* [Critique of Cynical Reason]. Translated from German by A.V. Pertsev. Ekaterinburg: U-Faktoriya.

Сведения об авторе:

Петрова А.В. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории логико-философских исследований Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (Томск, Россия). E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

A.V. Petrova, Cand. Sci. (Philosophy), senior researcher, Laboratory of Logical and Philosophical Research, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation). E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 12.06.2024;
одобрена после рецензирования 16.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*
*The article was submitted 12.06.2024;
approved after reviewing 16.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 930.85
doi: 10.17223/1998863X/80/7

ОТ ПОЛИТИКИ ПОКАЯНИЯ К КУЛЬТУРЕ ОТМЕНЫ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗАБВЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕДИАТИЗАЦИИ ПРОШЛОГО

Даниил Александрович Аникин

*Томский государственный университет, Томск, Россия;
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия,
dandee@list.ru*

Аннотация. Анализируется культура отмены в качестве формы исторического забвения. Основным фактором возникновения данного явления выступает трансформация коллективных идентичностей, порождающая травматическое восприятие прошлого и потребность в выработке новых правил взаимодействия сообществ. На основе процессореляционной методологии формулируются особенности возникновения культуры отмены в условиях медиатизированного общества, определяются социально-философские перспективы исследования данного понятия.

Ключевые слова: культура отмены, политика покаяния, историческая идентичность, сообщество, забвение

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

Для цитирования: Аникин Д.А. От политики покаяния к культуре отмены: трансформация исторического забвения в условиях медиатизации прошлого // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 74–85. doi: 10.17223/1998863X/80/7

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

FROM THE POLITICS OF REGRET TO CANCEL CULTURE: THE TRANSFORMATION OF HISTORICAL OBLIVION IN THE CONTEXT OF THE MEDIATIZATION OF THE PAST

Daniil A. Anikin

*Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation;
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation, dandee@list.ru*

Abstract. The article analyzes cancel culture as a form of historical oblivion. Existing classifications of historical oblivion formulate criteria in different ways to distinguish different types of oblivion. Paul Connerton's classification is based on a variety of functions of historical oblivion – from the repressive action of the state to the natural obsolescence of material or intangible elements of tradition. Aleida Assmann's classification is based on the difference in the positions of the offender and the victim, which allows us to formulate four possible options for historical oblivion: dialogical oblivion, oblivion on the part of victims, oblivion on the part of criminals, and dialogical memory. All of these forms involve articulating one's own position and waiting for a reaction from another community. The formation of cancel culture in modern society leads to the emergence of a new form of historical oblivion, in which the exclusion of memories from public space is considered as compensation for the inconsistency of certain memorials with the modern structure of social and symbolic space. The main factor in the emergence of this phenomenon is the transformation of collective identities, which generates a traumatic perception of the past and the need to develop new rules for the interaction of communities. Cancel culture relies on moral justification for forgetting and involves the use of media communications to publicly represent the position of one community in relation to others, allowing it to be seen as a specific form of social ostracism. The phenomenon of cancel culture can be analyzed in several theoretical aspects. In a moral and ethical sense, the key issue is the use of categories of ethics to assess the activities of individual or collective entities committed in a fundamentally different historical situation. In the legal sense, of particular interest is the need to determine the boundaries of the operation of those compensation mechanisms that imply not only symbolic, but also economic or legal sanctions in relation to the community subject to cancellation. In a socio-philosophical sense, it is worth considering cancel culture in the context of the categories of solidarity and identity, paying special attention to those symbolic splits to which the imperative requirement of oblivion leads.

Keywords: cancel culture, politics of regret, historical identity, community, oblivion

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-18-00465, <https://rscf.ru/project/23-18-00465/>

For citation: Anikin, D.A. (2024) From the politics of regret to cancel culture: the transformation of historical oblivion in the context of the mediatization of the past. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 74–85. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/7

Политика покаяния: проблема социально-философской концептуализации

В 2008 г. премьер-министр Австралии Кевин Радд, вступая в свою должность, в первой же официальной речи принес извинения коренным народам Австралии за последствия колонизаторской политики британских властей. Этот символический жест, вписывающийся в целую цепочку аналогичных действий, совершаемых политическими лидерами разных стран (начиная, пожалуй, с немецкого канцлера Вилли Брандта), демонстрирует важную тенденцию в современном отношении к прошлому, которая получила название «политика покаяния». Д. Олик, который вынес это словосочетание в название одной из своих книг (*Politics of Regret*), обращает внимание на тот факт, что важной чертой современного публичного пространства становится сосредоточенность на проблемах трагического прошлого, нуждающегося в реабилитации – по отношению к одним сообществам, и в покаянии – со стороны других сообществ [1]. Несмотря на многозначность самого английского слова «regret», в котором можно увидеть разные оттенки негативного переосмысления произошедших событий, на русском языке этот термин лучше всего передается через категории «раскаяние» или «покаяние», что добавляет до-

полнительных морально-этических аспектов в его интерпретацию. Как отмечает П. Брюкнер, «следует напомнить о традиционном в философии различии между раскаянием и сожалением: если первое признает ошибку с тем, чтобы решительнее отмежеваться от нее, вкусить благодати исцеления, второе, в силу болезненной потребности чувствовать ее ожоги, никак не может с ней расстаться» [2. С. 54]. В этом различии кроется суть тех политических и даже теоретических дискуссий вокруг «политики покаяния», которые происходят в современном обществе, поскольку нет точного понимания того, насколько публичные извинения становятся инструментом для разрешения периодически возникающих в обществе идентификационных кризисов.

А. Ассман справедливо отмечает, что сам факт возникновения «политики покаяния» еще не является способом решения накопившихся вопросов по поводу «трудного прошлого», а скорее, ставит новые проблемы, поскольку не до конца понятными становятся символические пределы подобной политики, а также позитивный эффект от ее использования [3. С. 32]. По мере увеличения количества подобных публичных актов становится существенным вопрос о том, имеет ли публичное признание ответственности хоть какой-то эффект с точки зрения сглаживания тех противоречий, которые существуют между современными мемоническими акторами по поводу общего прошлого, или само по себе политическое выступление становится лишь способом завуалировать сложность и неоднозначность процессов переосмысления исторической реальности [4].

Если в политологическом дискурсе существенное значение при анализе подобных явлений представляет выяснение политических позиций заинтересованных акторов, то с точки зрения социальной философии больший интерес приобретает выяснение того, насколько культура публичных извинений вписывается в контуры трансформации современного общества, выявляя новые грани в диалектике исторической памяти и исторического забвения.

Изучение взаимосвязи признания и приписывания коллективной вины нуждается в четкой теоретической рамке, позволяющей соотнести социальные процессы с формами их политической и культурной репрезентации, что достигается за счет использования процессо-реляционной методологии Д. Олика [5]. Суть данного подхода заключается в понимании процессов организации коллективных воспоминаний как социальных практик, предполагающих ориентацию на внутренние потребности сообщества, так и на внешних акторов, деятельность которых может быть важна для обеспечения нормального функционирования сообщества. В этом смысле анализ коллективной вины и «политики покаяния», предполагающей готовность к публичному принятию этой вины в той или иной степени, стоит рассматривать не в ракурсе юридических или экономических претензий или с точки зрения этических характеристик прошлого, а в рамках происходящих процессов трансформации социальных практик, определяющих возникновение новых контуров исторической идентичности [6. С. 70–71].

Важным обстоятельством формирования политики покаяния, с точки зрения процессо-реляционной методологии, является трансформация социального пространства, прежде всего с точки зрения актуализации претензий новых религиозных и этнических сообществ не только на определенную позицию в системе современных отношений, но и на переосмысление прошлого

данных сообществ. Формирование новых сообществ и их потребность в конституировании собственной идентичности порождает новые образы прошлого. Точнее говоря, данный процесс порождает актуализацию тех латентных воспоминаний, которые оказались полностью устранены из коммуникативной памяти и возвращаются на стадию «живой» памяти, возвращаясь из культурных архивов. В этом и заключается основной парадокс динамики памяти и забвения: вопреки тому, что само сообщество считает свое существование постоянным с постулируемого момента возникновения, причем гарантией этого является непрерывность воспоминаний, передающихся от одного поколения к другому, объективный взгляд исследователя улавливает разрывы в функционировании коллективной идентичности, которые преодолеваются за счет обращения к письменным текстам и их использования в качестве отправных моментов новой идентичности.

По сути, возникает новый культурный канон, который не только определяет культурную память конкретного сообщества, но и становится основанием для интериоризации данных воспоминаний в коммуникативную память современного представителя сообщества. Единственным отличием является то, что единицей коммуникативной памяти становится не само историческое событие, а участие в коммеморации данного события, причем многообразие коммемораций образует «многоголосье» прошлого, которое сложно подчинить единым правилам господствующего нарратива. Такой процесс трансформации идентичностей не является абсолютно новым, ведь в XIX в. аналогичные ситуации имели место в ходе нациестроительства, когда в основе, например, всплеска чешского национального самосознания лежал набор культурных текстов, ставших основанием для реконструкции общенациональной системы ритуалов и коммемораций.

Дополнительную сложность уже в условиях современного общества этот процесс приобретает в силу того, что он сопровождается осознанием равенства прав всех граждан, соответственно, не просто узакониванием нового статуса, но и стремлением к восстановлению исторической справедливости. Эта формула, все больше находящая отражение в мемориальных дискурсах, означает распространение современной оценки роли определенного сообщества на предшествующие стадии его функционирования.

Но поскольку материалом для выстраивания новых исторических нарративов являются уже имеющиеся тексты, для которых просто возникает новая возможность прочтения, то существенной проблемой становится несоответствие между новой структурой идентичностей и теми культурными текстами, которые выступают в качестве проявлений прежней идентификационной рамки. Новая структура идентичностей переключает регистр обращения к прошлому, порождая потребность в устранении из коллективной памяти тех образов прошлого, которые не вписываются в новые символические контуры [7]. Таким образом, процесс политического покаяния в качестве симптома трансформации коллективных идентичностей с неизбежностью артикулирует необходимость устранения определенных элементов символических конструкций прошлого ради их приведения в соответствие с новой конфигурацией символического пространства.

Формирование запаса коллективных воспоминаний у новых сообществ или сообществ, конструирующих новый формат своей исторической иден-

тичности, сопровождается не только обретением собственного прошлого, но и отчетливо выраженным стремлением к устранению того прошлого, которое ставит под сомнение новую идентичность. Важным обстоятельством оказывается тот факт, что устранение «неудобных воспоминаний» автоматически превращается в процесс взаимодействия с теми сообществами, для которых уже устраняемые воспоминания являются краеугольным камнем собственной идентичности. По сути, становление исторической памяти автоматически сопровождается историческим забвением, причем именно последний процесс представляет собой потенциально конфликтогенное событие, поскольку под сомнение ставятся исторических нарративы других сообществ. Анализ закономерностей данного процесса заставляет обратиться к теоретическим аспектам изучения исторического забвения в качестве неотъемлемого элемента обращения к прошлому.

Историческое забвение и коллективная травма

Можно сказать, что проблема исторического забвения имплицитно всегда присутствовала в *memory studies*, но вопрос ее актуализации был связан с осмыслением последствий Второй мировой войны и Холокоста как ключевого события данного исторического периода. А. Ассман формулирует существенное отличие послевоенной ситуации в Европе от предшествующих форм обращения к прошлому на примере двух противоположных императивов: греческого «Не вспоминай!» и библейского «Не забывай!» [8. С. 112]. При всей лапидарности подобной формулировки, по сути она является абсолютно верной, поскольку в 1965 г. публикация статьи Теодора Адорно «Что значит „проработка прошлого“» поставила вопрос о необходимости преодоления забвения немецкой нацией причин и событий Второй мировой войны [9. С. 14–15].

Однако сама природа этого забвения могла быть истолкована по-разному. С прагматической точки зрения забвение военных преступлений и появление даже оправдывающих мифов («хороший вермахт») должны были служить укреплению хрупкой немецкой государственности, основой которой являлись представители предшествующего политического режима. С психологической точки зрения можно рассматривать забвение как своеобразную форму вытеснения, призванную выполнить терапевтическую функцию как для индивидуального, так и для коллективного сознания. Такой вариант В.А. Подорога раскрывает следующим образом: «Речь идет о шоке, который состоялся, но не был пережит, а только сокрыт, отнесен или на время купирован. Но он присутствует в настоящем, в любом „сейчас“, придавая каждому из них дополнительное измерение: возможность возврата непережитого. Забытое незабываемое – это и есть измерение, куда погружается событие, которое невозможно пережить» [10. С. 129]. Проще говоря, вопрос о забвении может быть сведен к онтологической дихотомии: бессознательное избавление от воспоминаний или сознательное замалчивание, психологическое стремление или прагматический расчет. Именно в пределах этих полюсов происходит концептуализация и типологизация исторического забвения в исследовательских работах конца XX – начала XXI в.

Английский антрополог Пол Коннертон выделяет семь типов забывания, видя в самом процессе избавления от воспоминаний определенную социальную практику, выполняющую различные функции [11].

1. *Репрессивное стирание*. Эта практика, получившая особое распространение в условиях становления диктаторских режимов, имеет свое происхождение в более отдаленном прошлом, проявляясь в насильственном избавлении как от коммуникативной памяти, так и от ее носителей.

2. *Предписывающее забывание*. Сходство с предшествующим типом заключается в том, что субъектом действия является государство, которое, однако, публично формулирует свою позицию, апеллируя к необходимости преодоления имевших место в прошлом противоречий.

3. *Забывание, конституирующее новую идентичность*. Этот тип имеет место в том обществе, где присутствует публичный консенсус о необходимости забвения ради преодоления противоречий и формирования нового сообщества.

4. *Структурная амнезия*. Связана не со стремлением конкретного сообщества к устранению неудобных воспоминаний, а с естественной закономерностью, отмеченной еще М. Хальбваксом, к постепенному устранению из памяти тех фактов, которые утрачивают актуальное социальное значение.

5. *Забывание как аннулирование*. Этот тип забывания является продуктом общественного развития, когда происходит массированное накопление информации, не позволяющее помнить все события, в силу чего включается произвольная селекция, заставляющая отказываться от дополнительных фактов, предпочитая максимально простую и доступную интерпретацию прошлого.

6) *Забывание как запланированное устаревание*. В большей степени такой тип забывания свойствен материальной реальности, когда в логику производства вещей уже заложен их определенный жизненный цикл, предполагающий своевременную замену на аналоги, что автоматически означает забвение предшествующих форм как несовершенных и устаревших.

7. *Забывание как униженное молчание*. Пожалуй, самый интересный тип забывания, который связан с моральной ответственностью за определенные события прошлого и стремлением вытеснить любые воспоминания о них из публичного пространства современности именно в силу тяжести. Униженное молчание свойственно тем сообществам или индивидам, которые осознают наличие самой вины, но не готовы по различным причинам делать ее доступной для массовой аудитории.

Главной проблемой типологии П. Коннертона является отсутствие четкого критерия, который позволял бы структурировать возможные типы забывания, а также относить к ним конкретные случаи, имевшие место в прошлом или возникающие в настоящий момент. Например, репрессивное стирание вполне может идти в связке с униженным молчанием, если допустить существование вполне правдоподобной ситуации, когда исполнитель воли авторитарного государства по устранению памяти и ее носителей оказывается, в силу изменения самого характера государственного устройства, в положении потенциального преступника, что и вынуждает его отказываться от части имеющихся у него воспоминаний.

Историческое забвение в контексте диалектики жертвы и преступника

С более теоретической позиции подошла к решению вопроса об историческом забвении А. Ассман, поставив вопрос о том, что сама процедура за-

бвения предполагает наличие двух сторон – жертвы и преступника, и, соответственно, различную мотивацию каждой из этих сторон.

1-я модель. *Диалогическое забвение* – готовность забыть и со стороны жертв, и со стороны преступников. Н. Лоро в своей работе, посвященной урегулированию последствий гражданской войны в античных Афинах, формулирует суть этого забвения следующим образом: «Это история Афин возвращается через миф и это 403 год служит моделью для всей риторико-политической традиции, унаследованной в числе прочих Исократом. Как если бы тогда, клянясь не припоминать прошлое, афинский город во второй раз основал свое политическое существование на утрате памяти» [12. С. 62]. Несмотря на подчеркиваемую исключительность политической ситуации в Афинах, эта модель вполне воспроизводима, но при условиях, что общей рамкой для каждой стороны травматического события является понимание принадлежности к единому сообществу, которое не может быть разделено, поэтому и возникает потребность во взаимном урегулировании.

2-я модель. *Помнить, чтобы преодолеть* – готовность забыть со стороны жертв, но готовность помнить со стороны преступников. Важным примером такой модели является концептуализация Холокоста в качестве центрального травматического события не столько для еврейского сообщества, сколько для всей послевоенной Европы, стремящейся к преодолению внутренних противоречий не в контексте прошлого, а в контексте проекта будущего (построение Европейского Союза). Показательно, что сам императив необходимости сохранения памяти прозвучал от немецких интеллектуалов (Т. Адорно, Ю. Хабермас), говоривших в первую очередь не о собственной вине, а о готовности принять на себя коллективную ответственность. В ходе «спора историков» возможность асимметричного понимания прошлого (вина одной стороны является неоспоримым фактом) способствовала закреплению необходимости сохранения воспоминаний о травматическом событии как совокупности процедур признания вины, предполагающих деятельность комиссий по урегулированию последствий травмы. В качестве средств урегулирования данных последствий используются не только символические действия, но и вполне материальные способы возмещения ущерба (выплата пособий бывшим узникам концлагерей).

3-я модель. *Помнить, чтобы никогда не забывать* – готовность забыть со стороны преступников, но неготовность забыть со стороны жертв. Эта модель является зеркальным отображением предыдущей, выстраивая исторический дискурс с точки зрения непосредственных участников травматических событий, стремящихся преодолеть бессознательное вытеснение прошлого из актуальной памяти, и в этом смысле она обладает мощным моральным императивом. Зачастую это даже не память самих жертв, а память тех, кто обладает правом говорить от их имени – свидетелей травматического события, родственников и очевидцев [13]. Главной проблемой этой модели становится возникновение механизма «конкуренции жертв», когда символически выгодная позиция, предполагающая неоспоримую моральную правоту, становится предметом спора со стороны различных сообществ, обосновывающих свое право считаться «главной жертвой».

4-я модель. *Диалогическая память* – взаимное обязательство помнить травматические события при готовности выработать совместное восприятие.

Такая память становится продуктом транснациональных взаимодействий, при которых локальные сообщества по своей воле или вынужденно предстают в качестве элементов глобального сообщества, для которого принципиально важно сохранение внутреннего единства. В такой ситуации присущая двум предшествующим моделям асимметрия является фактором дестабилизации политического порядка, при этом обоюдное забвение, в силу открытости информационного пространства, становится невозможным. Точнее говоря, публичный отказ от проговаривания взаимных претензий чреват тем, что травматический нарратив окажется вытеснен в «слепую зону» публичного пространства, чтобы вернуться в самый непредвиденный момент, став основанием для разрушения всей мемориальной конфигурации. Диалог памятей заключается в признании того факта, что вся предшествующая история человечества и отдельных сообществ представляла собой чередование ролей жертвы и преступника, причем у каждого конкретного сообщества, поэтому чисто математическая попытка вычисления большей или меньшей вины не имеет никакого смысла. Нетрудно заметить, что сама А. Ассман считает идеальной именно эту модель, но возможность ее реализации, по крайней мере, в существующих политических координатах, стоит расценивать как весьма маловероятную.

Проблема политики покаяния не в том, что возникают травмированные сообщества, а в том, что они претендуют на исключительность своей травмы, что делает невозможным выстраивание диалога между носителями различных идентичностей. «В привычной логике национальной идентичности роль преступника и роль жертвы взаимно исключают друг друга. Жертвенные нарративы строятся таким образом, что история страдания становится ядром идентичности и единственным содержанием коллективной памяти» [3. С. 159]. Но подобная ситуация, естественная для национального нарратива, построенного на образе внешнего врага и предполагающего консолидацию сообщества по отношению к фигуре преступника, нарушается, если раздвигаются сами границы сообщества. В таком случае дихотомия преступник – жертва становится губительной для самого сообщества, выдвигая на первый план постоянно нарастающий вал взаимных претензий для выявления окончательной диспозиции между этими образами. Причем инструментом для публичного конституирования травмы и является требование компенсирующего забвения, итогом которого должно стать устранение из актуальной памяти тех конфигураций прошлого, которые противоречат существованию самой фигуры травмированного сообщества.

Прежде всего, нарочитому замалчиванию подвергаются те образы прошлого, которые являются элементами предшествующих идентичностей, провоцируя дальнейшие разломы и расколы. Но проблема заключается в том, что требование покаяния в качестве акта узаконивания травматического прошлого не имеет четких границ. Иначе говоря, символичность самого жеста покаяния, во-первых, не означает отказа травмированного сообщества от более прагматичных требований по поводу возмещения понесенного ущерба, а также может выступать со стороны того актора, который является символическим наследником травмирующего сообщества, способом обеспечить приемлемую систему взаимоотношений, не подвергая резкой деконструкции связанный исторический нарратив.

Культура отмены в медиатизированном обществе: новая модель жертвы и преступника

Важной особенностью современного публичного пространства становится его медиатизация, т.е. способность средств коммуникации определять содержание социальных, политических и экономических процессов. Применительно к исторической памяти важность учета медиатизации оказывается едва ли не более существенной, чем в других сферах общественной жизни, поскольку создание медиарепрезентаций какого-либо исторического события (особенно имеющего травматическую природу) способствует формированию определенной общественной позиции по поводу оценок данного события, а также ставит вопрос о необходимости урегулирования его последствий.

Но если формирование исторической памяти в медиатизированном пространстве уже давно стало предметом рассмотрения со стороны специалистов в гуманитарных науках, то перспективы рассмотрения исторического забвения в подобном ракурсе пока еще остаются за пределами теоретического анализа. С одной стороны, забвение в цифровом пространстве стоит рассматривать как постоянное устранение информации (либо в физическом смысле, либо сокрытие за свежими пластами информационных сообщений), но такое забвение имеет технический смысл. Оно, скорее, связано с переводом исторически значимых фактов из оперативной памяти в архив, из которого в случае необходимости информация может быть возвращена. С другой стороны, историческое забвение, как уже говорилось выше, может иметь не только случайное, но и осознанное измерение, выражаясь в публично артикулированном требовании селективного забвения. Именно в этом качестве выступает социальный феномен, получивший название «культура отмены» (cancel culture) [14].

Культура отмены, проявившаяся в виде специфической формы социального ostracism в последние годы, может рассматриваться не только в индивидуальном, но и в коллективном смысле, становясь предметом социально-философского исследования. Точнее говоря, индивидуальная культура отмены является симптомом трансформации темпоральных характеристик отдельных биографий в условиях, когда происходит интенсификация информационной среды, сопровождающаяся подчеркнутым стремлением к переносу актуальных морально-этических и правовых норм на всю совокупность предшествующих жизненных ситуаций [15. Р. 130]. Что же касается коллективной культуры отмены, то ее объектом (как, впрочем, и субъектом) выступает определенное сообщество, историческая идентичность которого начинает подвергаться деконструкции именно в силу своего несоответствия новым конфигурациям социального пространства. Культура отмены возникает именно как публичный институт императивного требования исторического забвения, но само его возникновение, определяющееся в публичной риторике апелляцией к восстановлению исторической справедливости, свидетельствует о столкновении различных сообществ в настоящем времени. Конструирование травматического прошлого выступает в качестве одного из важных элементов формирования и поддержания коллективной идентичности, но существенным изменением именно в условиях медиатизированной эпохи становится возникновение фактора массовой аудитории, которая выступает в

качестве конечной инстанции вынесения этической оценки. Можно даже сказать, что сама стратегия определения преступника (или, по крайней мере, виновника) исторической травмы напрямую связана с готовностью аудитории к подобному выбору.

Вопреки тем моделям, которые выделяет А. Ассман на основании различия стратегий поведения символической жертвы и символического преступника, культура отмены формирует новую модель взаимоотношений, при которой восстановление исторической справедливости достигается за счет умолчания о прежнем нарративе, не уделявшем достаточного внимания травматическому прошлому. Само забвение служит своеобразным возмещением исторической травмы, выступая в качестве морального вердикта тому сообществу, которое рассматривается в качестве виновника имевшего место в прошлом события. Иначе говоря, возникает определенная диспропорция между объемами воспоминаний различных сообществ, которая артикулируется как необходимая и справедливая в контексте современной конфигурации социального пространства. При такой диспропорции сохранение памяти жертв сопровождается требованием к забвению памяти преступников, при том что сам критерий установления соответствия между данными символическими фигурами оказывается определен конфигурацией публичных дискурсов, апеллирующих к равноправию и демократичности общественных отношений.

Особенностью такого подхода к прошлому становится принципиальный отказ от принципа историзма – не в гносеологическом, а в аксиологическом смысле, поскольку оценка событий прошлого оказывается обусловлена теми этическими императивами, которые являются продуктами современного общества. Но данная проблема носит не только этический характер, заново ставя вопрос о релятивизме моральных норм, но и социально-философское измерение, поскольку за каждой конкретной нормой стоит видеть динамику тех сообществ, которые вступают в символическую борьбу друг с другом, легитимируя не только свое право на существование, но и на занятие определенной позиции в социальном пространстве. Поскольку речь не идет о соответствии совершенных действий правовым или моральным рамкам своего времени, а вопрос ставится исключительно об их оценке в контексте современной нормативной системы, то само возникновение культуры отмены порождает несколько возможных теоретических экспозиций исследования.

В юридическом смысле культура отмены демонстрирует отчетливое противоречие между классическим правилом об отсутствии у закона обратной силы и стремлением к формированию универсальной системы оценивания человеческого поведения с точки зрения «общечеловеческих ценностей». Поскольку использование правовых норм предполагает и определенные правовые последствия, то существенной проблемой становится определения срока давности тех поступков, которые могут быть переосмыслены в качестве правонарушений. Поскольку речь идет не о продолжительности индивидуальной жизни человека, а о времени существования сообщества, то расширение сферы ретроспективного правоприменения автоматически означает и стремление к удревнению момента возникновения того или иного сообщества. Этиологический миф в этом случае приобретает важные нормативные последствия. В морально-этическом смысле культура отмены демонстрирует претензию на абсолютизацию и универсализацию той системы норм, которая

является продуктом конкретной системы социально-политических отношений, причем данные тенденции приводят к необходимости теоретизации понятий «исторический долг» и «историческая справедливость», которые активно используются в политическом дискурсе, не обладая соответствующей этической концептуализацией.

Наконец, с социально-философской точки зрения в происходящих процессах переформатирования прошлого в соответствии с изменившимися этическими нормативами и символическими контурами, стоит видеть не только ретроспективный, но и перспективный аспект. Сам факт озабоченности определенным сообществом необходимостью легитимации своего положения за счет апелляции к травматическому прошлому демонстрирует, как ни странно, продолжающуюся тенденцию к трансформации коллективных идентичностей, когда процесс, запущенный созданием гражданских наций внутри имперской системы отношений модернистской Европы, неотъемлемым образом становится фактором изменения исторической идентичности всех сообществ, которые являлись элементами такой системы. В этом смысле процесс выявления новых форм исторического забвения свидетельствует о незавершенности деконструкции колониальной системы и сохранении очагов конфликтности внутри современных национальных государств.

Список источников

1. Olick J.K. *The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility*. New York ; London : Routledge, 2007. 312 p.
2. Брюкнер П. Тирания покаяния. Эссе о западном мазохизме. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. 256 с.
3. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 408 с.
4. Irwin-Zarecka I. *Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory*. New Brunswick : Transaction Publishers, 1994. 288 p.
5. Olick J., Robbins J. Social Memory Studies: From Collective Memory to the Historical Sociology of Mnemonic Practices // *Annual Review of Sociology*. 1998. Vol. 24. P. 105–140.
6. Аникин Д.А. Трансфер прошлого: культурная память в условиях миграционных потоков // *Вестник Томского университета*. 2020. № 452. С. 66–72.
7. Бурдые П. Социальное пространство и символическая власть // *Начала*. М. : Socio-Logos, 1994. С. 181–207.
8. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 342 с.
9. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // *Неприкосновенный запас*. 2005. № 2. С. 7–16.
10. Подорога В.А. Память и забвение (Т.В. Адорно и время «после Освенцима») // *Новое литературное обозрение*. 2012. № 4. С. 126–138.
11. Connerton P. Seven types of forgetting // *Memory Studies*. 2008. № 1. P. 59–71.
12. Лоро Н. Разделенный город. Забвение в памяти Афин. М. : Новое литературное обозрение, 2021. 360 с.
13. Anikin D. Traumatization of the past and martyrological thinking in the soviet union and the post-soviet space // *Folklore*. 2021. T. 83. C. 47–62.
14. Clark M. Drag Them: A brief etymology of so-called “cancel culture” // *Communication and the Public*. 2020. Vol. 5, № 3–4. P 88–92.
15. Reddy V., Andrews D. Cancel Culture: Shrinking or Remaking Narratives? // *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa*. 2021. Vol. 106, № 1. P. 130–132.

References

1. Olick, J.K. (2007) *The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility*. New York, London: Routledge.

2. Bruckner, P. (2009) *Tiraniya pokaniya. Esse o zapadnom mazokhizme* [The Tyranny of Repentance. Essay on Western Masochism]. Translated from French by S. Dubin. St. Petersburg: Ivan Limbakh.
3. Assman, A. (2016) *Novoe nedovol'stvo memorial'noy kul'turoy* [New Discontent with Memorial Culture]. Translated from English by B. Khlebnikov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
4. Irwin-Zarecka, I. (1994) *Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory*. New Brunswick: Transaction Publishers.
5. Olick, J. & Robbins, J. (1998) Social Memory Studies: From Collective Memory to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. *Annual Review of Sociology*. 24. pp. 105–140.
6. Anikin, D.A. (2020) Transfer of the Past: Cultural Memory in the Conditions of Migration Flows. *Vestnik Tomskogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 452. pp. 66–72. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/452/7
7. Bourdieu, P. (1994) *Nachala* [Beginnings]. Translated from French. Moscow: Socio-Logos. pp. 181–207.
8. Assman, A. (2014) *Dlinnaya ten' proshlogo. Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past. Memorial Culture and Historical Policy]. Translated from German by B. Khlebnikov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
9. Adorno, T. (2005) Chto znachit “prorabotka proshlogo” [What does it mean to “work through the past”]. *Neprikosnovennyi zapas*. 2. pp. 7–16.
10. Podoroga, V.A. (2012) Pamyat' i zabvenie (T.V. Adorno i vremya “posle Osventsima”) [Memory and oblivion (T.V. Adorno and the time “after Auschwitz”)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 4. pp. 126–138.
11. Connerton, P. (2008) Seven types of forgetting. *Memory Studies*. 1. pp. 59–71.
12. Loro, N. (2021) *Razdelennyi gorod. Zabvenie v pamyati Afin* [The Divided City. Oblivion in the Memory of Athens]. Translated from French by S. Ermakov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
13. Anikin, D. (2021) Traumatization of the past and martyrological thinking in the Soviet Union and the post-Soviet space. *Folklore*. 83. pp. 47–62.
14. Clark, M. (2020) Drag Them: A brief etymology of so-called “cancel culture.” *Communication and the Public*. 5(3–4). pp. 88–92.
15. Reddy, V. & Andrews, D. (2021) Cancel Culture: Shrinking or Remaking Narratives? *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa*. 106(1). pp. 130–132.

Сведения об авторе:

Аникин Д.А. – старший научный сотрудник Лаборатории трансдисциплинарных практик познания, языка и социальных практик философского факультета Томского государственного университета (Томск, Россия); кандидат философских наук, доцент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва, Россия). E-mail: dandee@list.ru

Information about the author:

Anikin D.A. – Cand. Sci. (Philosophy), senior researcher at the Laboratory of Transdisciplinary Practices of Cognition, Language and Social Practices, Faculty of Philosophy, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); associate professor, Peoples' Friendship University of Russia (Moscow, Russian Federation). E-mail: dandee@list.ru

Статья поступила в редакцию 20.03.2024;
одобрена после рецензирования 16.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 20.03.2024;
approved after reviewing 16.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья

УДК 17.021.2+ 159.9.01

doi: 10.17223/1998863X/80/8

НАРРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: РЕАЛЬНОСТЬ И ВООБРАЖЕНИЕ

Владимир Владимирович Бабич

*Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия,
v.v.babich@gmail.com*

Аннотация. Утверждается, что нарративная идентичность в эмпирическом плане всегда предполагает наличие воплощенного субъекта, способного конструировать свои автобиографические высказывания. Анализируется проблема подмены автобиографического высказывания фантастическим повествованием. Предложены два оригинальных «ограничения» нарративной идентичности – «воплощением» и «правдоподобием».

Ключевые слова: структура нарративной идентичности, воображение, антиреализм, ограничение нарративной идентичности, воплощенный субъект

Для цитирования: Бабич В.В. Нарративная идентичность: реальность и воображение // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 86–98. doi: 10.17223/1998863X/80/8

Original article

NARRATIVE IDENTITY: REALITY AND IMAGINATION

Vladimir V. Babich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, v.v.babich@gmail.com

Abstract: A model for representing the structure of narrative identity in the form of a hermeneutic spiral is proposed. An embodied subject is considered as an empirical “centre of narrative gravity”, having a numerically identical body and possessing a basic ability for self-expression and reflection. It is argued that, empirically, narrative identity always presupposes the presence of an embodied subject capable of constructing his autobiographical statements in solving four practical problems: moral responsibility, realization of personal interest, compensation, and survival. The problem of replacing an autobiographical statement with a fantastic narrative is analyzed. It is suggested that the discrepancy between the model of narrative identity and substantial ideas about personality cannot serve as confirmation of the thesis about the anti-realism of the narrative model. Rather, the narrative model asserts the ontological openness of a subject capable of possessing dynamic personifying predicates. Since not every statement about oneself is part of a narrative identity, in order for a narrative identity to take place, it must pass the test of “restrictions”, the consequences of which can lead to its cancellation or revision. The claim that narrative identity can be abolished, restricted, or redefined is the idea that identity is subject to elimination or transformation in a number of different circumstances, but remains unchanged when such circumstances do not occur. These circumstances can be defined by the “constraints” of narrative identity. This article analyzes different types of “limitations” of narrative identity. Two original “constraints” are proposed – “incarnation” and “plausibility”. The presented “constraints” allow to more accurately define the boundaries of narrative identity and help prevent the relativization of the narrative, creating an opportunity to consider narrative identity not only from the point of view of reporting subjective

experience from the first person, but also from the point of view of the second person, as well as a generalized point of view from the third person, defining it as a horizon of public symbols and meanings of culture.

Keywords: narrative identity structure, imagination, anti-realism, narrative identity constraint, embodied subject

For citation: Babich, V.V. (2024) Narrative identity: reality and imagination. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 86–98. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/8

Введение

Философы, психологи, антропологи и другие изучающие особую природу человеческого существования часто утверждают, что необходимым условием для понимания нашей жизни является ее выражение в повествовательной форме. За последние несколько десятилетий нарративному подходу в философских дискуссиях о личной идентичности уделялось постоянно растущее внимание, что привело к появлению широкого спектра нарративных теорий. Хотя данные теории показали большие перспективы в качестве инструмента для решения давних и трудноразрешимых проблем личной идентичности, они также вызвали множество подозрений и критики [1, 2]. Противники нарративных теорий, объясняющих личную идентичность, критикуют их за преувеличение или искажение структуры реальной жизни, понимая нарратив в качестве механизма передачи информации с помощью мифа или попытки подражания вымышленному персонажу, используя воображение [3, 4]. Таким образом, одним из основных тезисов критиков нарративного подхода является обвинение в антиреализме. Однако не любое высказывание о себе является частью нарративной идентичности: для того чтобы нарративная идентичность состоялась, она должна пройти проверку «ограничениями», последствия которой могут привести к отмене или пересмотру нарративной идентичности.

Структура нарративной идентичности

Большинство из сторонников теории нарративной идентичности определяют самотождественность личности через ее автобиографический рассказ [5–7]. Мария Шехтман, анализируя причины, образующие нарративную идентичность, утверждает, что их можно свести к четырем практическим проблемам: благоразумная забота о личном интересе (особая забота, которую мы испытываем только о наших собственных будущих состояниях), моральная ответственность за свои действия, компенсация (получение выгод или потерь в будущем за свои действия в настоящем) и выживание [8. Р. 164]. При этом единство нарратива от первого лица понимается как единая динамическая перспектива нашего существования, которая характеризуется аксеологичностью, интеллигибельностью, телеологичностью и темпоральной непрерывностью (события биографии распределены во времени и связаны между собой смыслом). В попытке определить точку схождения событий единой перспективы Д. Деннет вводит понятие «центр нарративной гравитации»: «Я полагаю, что она сродни центру гравитации – абстракции, которая, несмотря на свою абстрактность, тесно связана с физическим миром» [9. С. 122]. Такая точка схождения есть взгляд от первого лица. «Она имеет четкие

временные и пространственные координаты, но может перемещаться. Перемещение точки перспективы в развивающейся истории в основном последовательно и непрерывно как в пространстве, так и во времени. Конкретное расположение точки перспективы обуславливает избирательное отношение к обстоятельствам и выражается в описаниях под каким-то специфическим углом зрения. Перспектива действует как прожектор, выхватывая из бесконечности доступных описаний основное... Таким образом, законы перспективы позволяют отбирать и структурировать элементы нарратива» [10. С. 169].

Эмпирическим «центром нарративной гравитации» является воплощенный субъект, имеющий численно идентичное тело и обладающий хотя бы минимальной способностью к самовыражению и рефлексии, ниже которого он становится неспособным управлять своими действиями и брать на себя ответственность за них. Идея здесь состоит в том, что, когда какой-то аспект деятельности человека не может быть объяснен самостоятельно, эти аспекты остаются для него непостижимыми и не могут быть интегрированы в его представление о себе.

Телесная природа сознания, основанная на численной идентичности тела, определяет сохранение единства перспективы от первого лица. Без соотношения с «моим телом» перспектива, которую выражает «Я», сама по себе не могла бы быть идентифицирована, поскольку она не была бы закреплена ни в чем перцептивном. Благодаря этому мы можем проводить атрибуцию моральной ответственности и выявлять, какие события, цели и ценности определяли жизнь конкретного человека. С этой точки зрения сознание есть функция наших телесных способностей восприятия. Мы воспринимаем и познаем не абстрактным интеллектом, а нашими сенсомоторными способностями. Сюда входят такие вещи, как ощущение своей мускульной силы, положение своих конечностей в пространстве, слуховой, двигательный и речевой аппараты [11. Р. 551–568]. Как выражение телесной индивидуальности перцептивное сознание всегда перспективно, особенности предметов и переживаний артикулируются на фоне сенсомоторных возможностей собственного тела. Принятие необходимости телесного воплощения в качестве необходимого условия самотождественности личности позволяет утверждать, что само существование нарратива, определяющего личную идентичность, зависит от возможности его изложения протагонистом.

«Ведь само понятие индивидуальной перспективы имеет неизбежные онтологические коннотации. В самом деле, что является центром такой перспективы, как не мое собственное тело? Но мое телесное воплощение, – то есть тот факт, что я суть это тело, – не изолированный феномен, а часть более общей онтологической структуры... В этом понимании нам дан простой факт: мое тело как тело среди других тел – только фрагмент объективного мира, но как тело собственное, мне принадлежащее, оно разделяет с Ego его статус перспективной точки отсчета, задающей границы мировосприятия» [12. С. 44]. Из этого следует, что восприятие есть своего рода двусторонний акт: человек всегда со-воспринимает мир с восприятием собственного тела. Помещенное между миром и сознанием, тело представляет собой фундаментальное затруднение, двойную природу, в которой человек и активен, и пассивен по отношению к самому себе, одновременно выступает в качестве субъекта (Я) и объекта (тело) [13. Р. 19–21]. Нарративная идентичность в эм-

пирическом плане всегда предполагает наличие воплощенного субъекта, чей опыт доступен для повествования [14].

Однако модель нарративной идентичности – это не просто сообщение от первого лица о субъективном опыте и точке зрения индивида, это сложная модель, в которой субъективная точка зрения от первого лица переплетается с точкой зрения второго лица в общей коммуникативной ситуации, а также обобщаемая точка зрения или перспектива от третьего лица, предполагаемая горизонтом общедоступных символов и значений культуры. По Рикёру, «интенциональное высказывание подразумевает самообозначение как говорящего, так и адресата. Но этот процесс самообозначения рождает не только «Я» и «Ты». Структура языка такова, что и третьему лицу – лицу, о котором мы говорим, – мы можем приписывать ту же самую способность обозначать себя как того, кто говорит, и обозначать своего адресата» [12. С. 43]. А. Макин-таер утверждал, что «каждый из нас, являясь главным героем собственной драмы, играет второстепенные роли в драмах других, и, таким образом, каждая драма служит ограничением для других» [6. Р. 2013].

Это позволяет представить нарративную идентичность через ряд диалектических оппозиций: Я/Другой; личное/социальное; субъективное/объективное; интенциональность/пассивность; интеллигибельное/физическое. Несводимую полностью ни к одному компоненту личность (представленную с помощью нарративной концепции) следует понимать как ментально-телесную динамическую перспективу от первого лица.

Ограничение нарративной идентичности

Выстраивая теорию нарративной идентичности, П. Рикёр признавал влияние воображения на формирование нарратива. Воображение способно «...привести к преобразению, к трансгрессии повседневного, которая, в свою очередь, возвещает „новые оценки“, „прояснение“, „критический разбор“ и, наконец, „когнитивное преобразование“» [15. С. 109]. Восприятие нарратива позволяют вообразить новые возможности, тем самым расширяя пространство свободы субъекта. В своих «Лекциях о воображении» Рикёр говорит о возможности литературы преобразовывать реальность: «...литературные произведения не репродуцируют предшествующую реальность, они воспроизводят новую реальность. Они не связаны тем первичным, которое предшествует им» [16. Р. 97]. В данном контексте воображение понимается не как воспроизведение или отражение чего-то, а как базовое креативное начало, способное конструировать и изменять антропологическую реальность. Конструирование перспективы существования «Я» с помощью творческой работы воображения способно собирать «Я» в единое целое на основе принятия ценностей и целей, которые формирует наше воображение и которые мы оцениваем как достойные того, чтобы соотносить с ними наше понимание себя, наши желания, чувства и действия.

Рикёр, в своем исследовании «The Rule of Metaphor, multidisciplinary studies in the creation of meaning in language» подчеркивает активные и творческие возможности личности через способность использования символических ресурсов «воображаемого» [17]. В работе философ опирается на концепцию кантианского продуктивного (трансцендентального) воображения, чтобы показать, как рождение новых смыслов и их понимание происходят

благодаря способности воображения опосредовать и синтезировать разнообразные аспекты нарративов: аффективные изменения звука, ритма и чувства с концептуальными измерениями денотации и коннотации. Рикёр помещает синтетические силы воображения в основу нарративных процессов, посредством которых артикулируются самопонимание и идентичность.

Очевидно, что, используя воображение, мы можем ошибаться в своих суждениях о себе, поэтому необходимо исключить подмену автобиографического высказывания фантастическим повествованием. «Все мы являемся болтливыми существами, рассказывающими и заново пересказывающими себе историю нашей собственной жизни, не обращая внимания на вопрос об ее истинности» [9. С. 127].

Нарративная идентичность – это не просто сообщение от первого лица, а сложная структура, которая переплетает точки зрения от первого, второго и третьего лица в семантическое целое с воплощенным субъектом, который свидетельствует о себе в своих высказываниях и тем самым конституирует свою идентичность и чьи высказывания относительно идентичности подлежат определенным ограничениям и могут быть подвергнуты процессам проверки, последствия которой могут привести к отмене или пересмотру нарративной идентичности.

Утверждение о том, что нарративная идентичность может быть отменена, ограничена или пересмотрена, – это идея о том, что идентичность подлежит элиминации или трансформации в ряде различных обстоятельств, но остается неизменной, если такие обстоятельства не наступают. Данные обстоятельства могут быть определены с помощью «ограничений» нарративной идентичности.

1. Ограничение реальностью (reality constraint) требует, чтобы повествование человека совпадало с тем что мы знаем о базовой структуре реальности и природе людей. Нарратив должен учитывать факты, свободные от интерпретации, как, например, невозможность нахождения субъекта в двух местах одновременно или что люди не живут больше 120 лет и т.п. [8. Р. 163]. Таким образом ограничение реальностью есть требование соотношения повествования о личности с нашим знанием о реальности. Оно утверждает, что нарратив не может основываться на фактических ошибках и противоречиях реальности (например, совершенно неверное представление о дате, месте, текущих событиях и действующих лицах), так как такие ошибки разрушают семантическую сеть, которая связывает «кто» с «где» и «когда».

Поскольку такие ошибки разрушают семантическую сеть, они также исключают практические возможности, которые позволяют нам функционировать в качестве личности; мы не можем реализовывать свои интересы, или взять на себя ответственность за свои действия, или пожинать плоды наших усилий. Таким образом, причина отвергать рассказ человека о себе состоит в том, что в нем явно отсутствуют оправдательные доказательства, при этом рассказчик утверждает в качестве оправдывающих обстоятельств выдуманные аргументы. Примером нарратива, не выдерживающего требований ограничения реальностью, могут служить нарративы Лжедмитриев, которые утверждали, что они являются чудом, спасшимися сынами Ивана IV.

Сама М. Шехтман иллюстрирует принцип ограничения реальностью с помощью предположения о том, что Чарлз, живущий в XX в., переживший

тяжелую психологическую травму, считает себя Наполеоном, он в этом убежден и способен выстроить аргументированное повествование от первого лица, которое включает объясняющие причины действий в битве при Ватерлоо и готовность принять на свой счет ответственность за поражение. Следует ли из этого, что человек, мнивший себя Наполеоном, несет ответственность за результаты исторического сражения при Ватерлоо? По мнению Шехтман, этот нарратив не соответствует требованиям критерия ограничения реальностью, так как, сопоставляя годы жизни, социальные связи, рост и другие характеристики тел, мы легко обнаруживаем, что выявленные несоответствия исключают возможность включения событий Наполеона в нарратив человека XX в. [18. С. 121].

Д.Б. Волков считает, что «это не лучшая тактика объяснения для нарративиста, так как в этом ответе скрытым образом используется телесный критерий атрибуции, ведь именно на основании различия истории тел Шехтман различает Наполеона и Чарлза. Без задействования телесного критерия интерпретация жизни Чарлзом не будет противоречить правдоподобности». Данный тезис создает ложное противоречие, так как нарративная идентичность, в эмпирическом плане, всегда предполагает наличие воплощенного субъекта, чей опыт существования доступен для повествования от первого лица. Данный тезис подводит нас ко второму критерию ограничения нарративной идентичности.

2. Ограничение воплощением предполагает выживание личности в численно идентичном теле с сохранением минимальной способности к самовыражению. Численно идентичное тело субъекта выступает в качестве «центра нарративной гравитации», связывая абстракцию нарратива с физическим миром.

Мы беспокоимся о себе иначе, чем о других (решая четыре практических проблемы, обозначенных Шехтман), тем самым выстраивая собственную нарративную идентичность. И эта забота является не абстрактной спекулятивной игрой ума, психологическими фантазиями или некой конвенцией, а выражением того факта, что как личность мы являемся всегда воплощенным субъектом, образующим ментально-телесную перспективу. «Я» и «тело» – не два отдельных компонента одной личности, а единая диалектическая структура, «мое тело», как описал его Марсель [19. С. 169].

Я несу ответственность за то или иное действие или имею право на компенсацию не потому, что я подобен тому, кто совершил действие или отработал определенное количество часов, а потому, что именно я страдаю от последствий (или наслаждаюсь вознаграждением) и являюсь тем же субъектом, который совершил в прошлом соответствующие действия. Не потому, что кто-то в будущем будет таким же, как я (некто характеризующийся как я), а потому, что я ожидаю пережить в качестве личного опыта эти последствия. Мое выживание не гарантируется «кем-то вроде меня», имеющим опыт в будущем и схожий нарратив. У меня должен быть свой уникальный опыт, а не опыт кого-то похожего на меня; быть собой не значит быть «кем-то вроде меня».

Если мое выживание состоит в продолжающемся существовании воплощенных во мне атрибутов, а не в том, что я являюсь численно тождественным субъектом моих переживаний в опыте существования, то совершенно

непонятно, почему я должен, бояться того, что произойдет в будущем с человеком, в котором эти атрибуты воплощены так же, как я бы это делал по отношению к себе. В конце концов, я не почувствую боли – я даже не могу предвидеть ее наступление. Точно так же в этой ситуации разрушается связь субъекта с моральной ответственностью и компенсацией: имеет смысл наказывать или вознаграждать за мои усилия только меня, а не кого-то другого, «кого-то похожего на меня». Как указывает М. Шехтман, одно дело «заставить Салли работать после школы, чтобы она могла поступить в колледж, и заставить свою сестру-близнеца работать после школы, чтобы Салли могла поступить в колледж, это – совсем другое дело» [18. Р. 52]. Это выражение того факта, что перспектива от первого лица и тело человека конституируют друг друга. Четыре практических проблемы выражают именно ту непрерывность и числовую идентичность, которые описываются термином «самотождественность»: взаимная импликация самости и тела, несводимая к перспективе третьего лица.

Таким образом, если мы связываем единую динамическую перспективу с численно тождественным субъектом, то взаимная импликация «Я» и тела смещает вопрос о непрерывности идентичности к вопросу о непрерывности телесной перспективы. Такая телесная непрерывность является условием возможности постановки вопроса о моей идентичности.

Динамическая перспектива от первого лица может присутствовать и у животных, также имеющих численно идентичное тело, что делает ее прежде всего биологическим феноменом [20. С. 184–185]. У животных также присутствует социальность и языковое общение, однако отсутствие второй сигнальной системы не позволяет, например, шимпанзе сформировать минимальный уровень самовыражения, учитывающего физическую, когнитивную, психологическую, телеологическую и социальную связность в едином темпоральном горизонте. Это подводит нас к третьему ограничению.

3. Ограничение артикуляцией (articulation constraint) требует сохранения личностью способности повествования от первого лица о своей индивидуальной истории, включающей логическое, телеологическое и аксиологическое обоснование. По сути, это ограничение требует возможности провести атрибуцию ответственности и судить о мотивации и выборе тех или иных решений личности. Идея состоит в том, что вы должны быть способны ответить на вопрос «как вы оказались в том или ином месте?», или «почему вы выбрали такой образ действия?», или «почему вы получили данное образование и как оно помогло вам в вашей нынешней работе?», или «как вы думаете, куда вы пойдете дальше и что будете делать?».

Это не значит, что нужно иметь четкий, единый и непротиворечивый план или подробное объяснение всех фактов вашей жизни. Требование заключается в признании необходимости обязательств по объяснению своих планов и действий; в способности человека к минимальному уровню самовыражения, ниже которого он не может управлять своими действиями и брать на себя ответственность за них. Когда какой-то аспект деятельности человека не может быть объяснен самостоятельно действующим субъектом, то эти аспекты остаются для него непостижимыми, т.е. они не могут быть интегрированы в его представление о себе. С этой точки зрения, чтобы действия были строго собственными, они должны быть приписаны себе в качестве отре-

флексированного опыта или выражать ценности, которые человек ранее артикулировал и, как следствие, действовал в соответствии с ними. Это то, что К. Корсгаард называет «рефлексивным одобрением» (reflective endorsement). Эта «способность к сознательной рефлексии по поводу наших собственных действий дает нам вид власти над самими собой, и эта власть придает нормативность нашим моральным требованиям» [21. Р. 25–26.]. То есть ограничение артикуляцией требует, чтобы личный нарратив был чем-то большим, чем простой рассказ о фактах своего прошлого или планах на свое будущее, он должен восприниматься как осознаваемый и активный проект.

Случай с Клайвом произошел в 1985 г., он, будучи уже признанным музыкантом, перенес заболевание мозга, последствием которого была потеря способности формировать долгосрочные воспоминания и ретроградная амнезия. По свидетельствам жены, «его способность воспринимать то, что он видел и слышал, не пострадала. Но он, похоже, не мог удерживать никаких впечатлений дольше одного мгновения. Действительно, если он и моргал, его веки открывались, открывая новую сцену. То, что он видел и воспринимал до моргания, было совершенно забыто» [22]. Клайв начал вести дневник, но записи состояли только из утверждений «я бодрствую» или «я в сознании», которые вносились снова и снова через каждые несколько минут. Он писал: «14:10 – на этот раз проснулся как следует. 14:14 – на этот раз наконец-то проснулся. 14:35 – на этот раз полностью проснулся», а также отрицание этих утверждений: «В 21:40 я впервые проснулся, несмотря на мои предыдущие заявления». Это, в свою очередь, было зачеркнуто, а за ним последовало: «Я был в полном сознании в 22:35 и проснулся впервые за много-много недель» [22]. Это, в свою очередь, было отменено следующей записью. Дневник, достигший сотни страниц, отражал попытку подтвердить непрерывность собственного существования, но всегда парадоксальным образом противоречил ей.

Данный пример фокусирует наше внимание на том, каким образом потеря способности быть автором собственного повествования приводит к потере специфических человеческих способностей. С утратой личности возможности минимального уровня самовыражения, воплощающего физическую, логическую, телеологическую и социальную связности, происходит отмена или разрушение нарративной идентичности.

4. Ограничение правдоподобием предполагает возможность проверки нарратива на подлинность подобно тому, как некоторые высказывания проходят проверку в процессе судебных разбирательств. Поскольку наша нарративная идентичность представляет собой комплекс практических действий и высказываний о себе, то ее можно проверить так же, как утверждения проверяются в юридических процессах с точки зрения опровержимости.

Если ограничение реальностью требует наличия фактов о личности, независимых от их интерпретаций, то ограничение правдоподобием подразумевает ограничение нарративной идентичности другими нарративами. Здесь подразумевается схождение перспективы от первого и третьего лица. Рассмотрим пример с Павлом.

Павел считает себя скромным и уединенным человеком и редко упускает возможность рассказать об этом своим коллегам, соседям и многочисленным друзьям, с которыми любит часто общаться. Таким образом Павел представ-

ляет собой перформативное противоречие, так как нормативные критерии, обозначенные культурой, позволяющие приписать ему «скромности» и «уединения», не соответствуют тому, что он делает, и не согласуются с психологическими состояниями, вытекающими из значений, которые он приписывает себе. В таком случае его нарративная идентичность подлежит пересмотру или отмене.

В контексте нарративной идентичности высказывание о действии субъекта является не только описанием фактов, но и выражением ответственности личности, обоснованной ее действиями. Это определяет связь между фактами и точкой зрения агента от первого и третьего лица, которые вместе составляют значение совершенных действий. Например, утверждение «Иван ударил меня» означает не только описание движений двух тел в пространстве, но и утверждение о деятельности Ивана. Однако приписывание намерения ударить меня основано не на описании его психологического состояния, а на интерпретации, основанной на культурных традициях того, что считается ударом. Обвинение в нанесении удара можно снять, например, показав, что Иван ударил меня случайно в результате того, что он выбрасывал руки, чтобы удерживать равновесие.

Когда действия приписываются личности, мы не используем правила истинности или ложности, как мы это обычно делаем относительно исследуемых наукой объектов или как это происходит при анализе реальности языковых значений [23]. Скорее, наша концепция действия, подобно нашей концепции собственности, является культурно обоснованной и зависит от принятых правил поведения. По мнению философа права Герберта Харта, действие несводимо к эмпирическим фактам (психически обусловленным движениям человеческого тела), а является синтезом культурной нормы и факта и по своей природе аскриптивно [24]. Действие невозможно выразить только с помощью описательных понятий. «...разницу между предложениями „Его тело двинулось в насильственное соприкосновение с телом другого“ и „Он сделал это“ („Он ударил его“) нельзя объяснить без обращения к неописательному употреблению предложений, посредством которых приписываются обязанности или ответственность. Что в корне неправильно [в традиционном анализе действия], так это ошибочное отождествление значения неописательного высказывания, приписывающего ответственность, с фактическими обстоятельствами, которые подкрепляют такое приписывание или являются для него надлежащими основаниями» [25. Р. 360–362]. Связь фактов, описываемых с использованием перспективы от третьего лица, с перспективой от первого лица осуществляется путем обращения к культурным и социальным нормам, регулирующим возможный спектр значений рассматриваемого действия.

Выстраиваемая нарративная идентичность может быть отклонена, если продемонстрировать, что связи между описаниями от третьего лица и психологическими состояниями субъекта (перспектива от первого лица) не соответствуют стандарту того, что общество в настоящее время понимает под этой идентичностью; или она может не удовлетворять культурным критериям создания смысла, которые включают лингвистические, юридические и другие институциональные практики. Социальные критерии значения действия варьируются от культуры к культуре, например, многие действия, которые

древние греки считали добродетельными и благородными, средневековые христиане, чье догматическое благочестие многим кажется сегодня жестоким, считали бы порочными и варварскими.

Данное ограничение нарративной идентичности имеет практическое значение, например, в случаях оценивания личных нарративов для получения статуса беженца. Беженцы, прибывающие из охваченных войной районов, проходя оценивание своего личного нарратива службами, предоставляющими статус беженца, иногда сталкиваются с непониманием и откровенным недоверием. Во многом это связано с методом оценивания повествования о себе лиц, ищущих убежища. Как правило, под «правдивой историей» в данном контексте подразумевается рассказ о фиксированных в единой исторической последовательности событиях жизни, а также их интерпретации, и любое отклонение от фиксированной точки зрения рассматривается в качестве свидетельства притворства, направленного на получение ценного статуса. Выявленные противоречия в результате анализа нарративов часто могут быть определены разными культурными системами, в рамках которых происходит интерпретация действий и оценка истинности личных нарративов [26, 27]. Другим примером может служить процесс социальной регенерации и возврат самоуважения через понимание личного повествования в рамках нарративной алгологии [28].

Выводы

Нарративная идентичность предполагает наличие воплощенного субъекта, способного конструировать свои автобиографические высказывания, которые не противоречат фактам об окружающей среде и знанию о природе человека и способны выдержать проверку «ограничениями», решая четыре практических задачи: моральной ответственности, реализации личного интереса, компенсации и выживания. Это подразумевает, что человек должен имплицитно согласовывать свой опыт в соответствии с личным нарративом, выражающим прошлое и настоящее в качестве личного опыта, имеющего последствия для выбора в настоящем и значение для будущего в контексте культурной среды.

Нарративная идентичность – это не данность (подобно той, которую допускают теории, ассоциирующие личность с субстанцией), а достижение субъекта, она может быть изменена, нарушена или потерпеть неудачу при конструировании. Это может произойти по разным причинам физической или психиатрической патологии, социальной деформации или под воздействием социальной аномии, т.е. всех тех факторов, которые мешают способности человека формировать представление о себе, выражать его и интегрировать в текущую социальную реальность.

Расхождение модели нарративной идентичности с субстанциальными представлениями о личности не может служить подтверждением тезиса об антиреализме нарративной модели. Скорее, нарративная модель утверждает онтологическую разомкнутость субъекта, способного обладать динамичными персонифицирующими предикатами.

Поскольку для конструирования нарративной идентичности мы используем синтетические силы воображения, то возможна замена автобиографического высказывания фантастическим повествованием. Концепция нарратив-

ной идентичности предполагает наличие «ограничений», выступающих необходимыми критериями оценки повествования в качестве активного автобиографического проекта от первого лица и его демаркации от фантастических высказываний. Дополнение двух классических «ограничений» (сформулированных Шехтман) ограничениями «воплощением» и «правдоподобностью» позволяет более точно определить границы нарративной идентичности и способствует предотвращению релятивизации нарратива, позволяя рассматривать нарративную идентичность не только с точки зрения сообщения субъективного опыта от первого лица, но и с точки зрения второго лица, а также обобщаемой точки зрения от третьего лица, определяя ее горизонтом общедоступных символов и смыслов культуры. Представленные ограничения могут быть использованы в исследованиях, посвященных связи нарративной идентичности с различными видами групповой идентичности или ее связью с коллективной памятью.

Список источников

1. Strawson G. Against narrativity // *Ratio*. 2004. Vol. 17, is. 4. P. 428–452.
2. Кочнев Р.И. Повесть о настоящем человеке: тождество личности и экзистенциализм // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. 2020. № 1. С. 95–102.
3. Черванева В.А. Мифологический нарратив: информационно-коммуникативный аспект // Традиционная культура. 2017. № 1 (65). С. 76–84.
4. Vice S. Literature and the narrative self // *Philosophy*. 2003. Vol. 78, № 303. P. 93–108.
5. Schechtman M. *Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns, and the Unity of a Life*. Oxford : University Press, 2014. 214 p.
6. Macintyre A. *After Virtue. A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press, 2007. 286 p.
7. Рикёр П. *Время и рассказ. Интрига и исторический рассказ*. М. ; СПб. : Университетская книга, 1998. Т. 1. 313 с.
8. Schechtman M. Stories, lives, and basic survival: A refinement and defense of the narrative view // *Royal Institute of Philosophy Supplements*. 2007. Vol. 60. P. 155–178.
9. Деннет Д.С. Почему каждый из нас является новеллистом // *Вопросы философии*. 2003. № 2. С. 121–130.
10. Волков Д.Б. Преимущества нарративного подхода к проблеме тождества личности // *Философский журнал*. 2018. Т. 11, № 3. С. 166–175. doi:10.21146/2072-0726-2018-11-3-166-175
11. Lakoff G. *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought*. New York : Basic Books, 1999. 640 p.
12. Рикёр П. Человек как предмет философии // *Вопросы философии*. 1989. № 2. С. 41–50.
13. Goddard E. *The Bionic self: neural implants and threats to identity: implications for selfhood and social relations* (Dissertation). University of Tasmania. 2015. 246 p.
14. Koster A. Narrative and embodiment – a scalar approach // *Phenomenology and the cognitive sciences*. 2017. Vol. 16. P. 893–908.
15. Тема Ж.М. Нарративная идентичность как теория практической субъективности. К реконструкции концепции Поля Рикёра // *Социологическое обозрение*. 2012. Т. 11, № 2. С. 100–121.
16. Taylor G.H. Ricoeur's Philosophy of Imagination // *Journal of French Philosophy*. 2006. Vol. 16, № 1, 2. Spring-Fall. P. 93–104.
17. Ricoer P. *The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language*. University of Toronto Press, 2008. 384 p.
18. Schechtman M. *The Constitution of Selves*. Cornell University Press, 2007. 192 p.
19. Гусейнов Ф.И. Метафизика телесности в творчестве Габриэля Марселя // *Социально-гуманитарные знания*. 2015. № 8. С. 161–172.
20. Левин С.М. Нарративный подход: фикция и реальность // *Философский журнал*. 2018. Т. 11, № 3. С. 184–187. doi: 10.21146/2072-0726-2018-11-3-184-187
21. Korsgaard C.M. *The Sources of Normativity*. The tanner lectures on human values. URL: https://tannerlectures.utah.edu/_resources/documents/a-to-z/k/korsgaard94.pdf (accessed: 03.07.2023).

22. Sacks O. The Abyss: Music and Amnesia // The New Yorker. 2007. September 24. URL: <http://www.newyorker.com/magazine/2007/09/24/the-abyss> (accessed: 03.07.2023).
23. Суровцев В.А. Реальность лингвистического значения и языковые игры // ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики (ПРАΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics). 2022. № 3 (33). С. 135–144. DOI:10.23951/2312-7899-2022-3-135-144
24. Касаткин С.Н. Концепция юридического языка Герберта Харта: опыт реконструкции // Философия права. 2016. № 5 (78). С. 77–83.
25. Hart H.L.A. Analytical jurisprudence in mid-twentieth century: a reply to professor Bodenheimer // University of Pennsylvania Law Review. 1956–1957. Vol. 105. 953 p.
26. Kirmayer L.J. Failures of imagination: The refugee's narrative in psychiatry // Anthropology & medicine. 2003. Vol. 10, № 2. P. 167–185.
27. Puvimanasinghe T., Denson L.A., Augoustinos M., Somasundaram D. Narrative and silence: How former refugees talk about loss and past trauma // Journal of Refugee Studies. 2015. Vol. 28, № 1. P. 69–92.
28. Жюслен Ш., Майленова Ф.Г. Нарративная алгология // ПРАΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2023. № 1 (35). С. 78–90. doi: 10.23951/2312-7899-2023-1-78-90

References

1. Strawson, G. (2004) Against narrativity. *Ratio*. 17(4). pp. 428–452.
2. Kochnev, R.L. (2020) Povest' o nenastoyashchem cheloveke: tozhdestvo lichnosti i ekzistentsializm [The Story of Non-real Man: Personal Identity and Existential]. *Omskiy nauchnyy vestnik. Seriya "Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost'."* 5. pp. 95–102.
3. Chervaneva, V.A. (2017) Mifologicheskii narrativ: informatsionno-kommunikativnyy aspekt [Mythological narrative as a way of information transmission]. *Traditsionnaya kul'tura*. 1(65). pp. 76–84.
4. Vice, S. (2003) Literature and the narrative self. *Philosophy*. 78(303). pp. 93–108.
5. Schechtman, M. (2014) *Staying Alive: Personal Identity, Practical Concerns, and the Unity of a Life*. Oxford: University Press.
6. Macintyre, A. (2007) *After Virtue. A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press.
7. Ricoeur, P. (1998) *Vremya i rasskaz* [Time and Story]. Vol. 1. Translated from French. Moscow; St. Petersburg: Universitetskaya kniga.
8. Schechtman, M. (2007) Stories, lives, and basic survival: A refinement and defense of the narrative view. *Royal Institute of Philosophy Supplements*. 60. pp. 155–178.
9. Dennett, D.S. (2003) Pochemu kazhdy iz nas yavlyaetsya novellistom [Why Each of Us is a Novelist]. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 121–130.
10. Volkov, D.B. (2018) Preimushchestva narrativnogo podkhoda k probleme tozhdestva lichnosti [Advantages of the Narrative Approach to the Problem of Personal Identity]. *Filosofskiy zhurnal*. 11(3). pp. 166–175. DOI: 10.21146/2072-0726-2018-11-3-166-175
11. Lakoff, G. (1999) *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought*. New York: Basic Books.
12. Ricoeur, P. (1989) Chelovek kak predmet filosofii [Man as a subject of philosophy]. *Voprosy filosofii*. 2. pp. 41–50.
13. Goddard, E. (2015) *The bionic self: Neural implants and threats to identity: implications for selfhood and social relations*. PhD Thesis. University of Tasmania.
14. Koster, A. (2017) Narrative and embodiment – a scalar approach. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*. 16. pp. 893–908.
15. Teta, J.M. (2012) Narrativnaya identichnost' kak teoriya prakticheskoy sub"ektivnosti. K rekonstruktsii kontseptsii Polya Rikera [Narrative Identity as a Theory of Practical Subjectivity: Reconstructing Paul Ricoeur's Concept]. *Sotsiologicheskoe obozrenie*. 11(2). pp. 100–121.
16. Taylor, G.H. (2006) Ricoeur's Philosophy of Imagination. *Journal of French Philosophy*. 16(1, 2). pp. 93–104.
17. Ricoeur, P. (2008) *The Rule of Metaphor: Multidisciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language*. University of Toronto Press.
18. Schechtman, M. (2007) *The Constitution of Selves*. Cornell University Press.
19. Guseynov, F.I. (2015) Metafizika telesnosti v tvorchestve Gabrielya Marselya [Metaphysics of Corporeality in the Works of Gabriel Marcel]. *Sotsial'no-gumanitarnye znaniya*. 8. pp. 161–172.
20. Levin, S.M. (2018) Narrativnyy podkhod: fiktsiya i real'nost' [Narrative Approach: Fiction and Reality]. *Filosofskiy zhurnal*. 11(3). pp. 184–187. DOI: 10.21146/2072-0726-2018-11-3-184-187

21. Korsgaard, C.M. (n.d.) *The Sources of Normativity*. The Tanner Lectures on Human Values. [Online] Available from: https://tannerlectures.utah.edu/_resources/documents/a-to-z/k/korsgaard94.pdf (Accessed: 3rd July 2023).
22. Sacks, O. (2007) The Abyss: Music and Amnesia. *The New Yorker*. September. [Online] Available from: <http://www.newyorker.com/magazine/2007/09/24/the-abyss> (Accessed: 3rd July 2023).
23. Surovtsev, V.A. (2022) Reality of Linguistic Meaning and Language Games. *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 3(33). pp. 135–144. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2022-3-135-144
24. Kasatkin, S.N. (2016) Kontseptsiya yuridicheskogo yazyka Gerberta Kharta: opyt rekonstruktsii [Herbert Hart's Legal Language Concept: A Reconstruction Experience]. *Filosofiya prava*. 5(78). pp. 77–83.
25. Hart, H.L.A. (1956–1957) *Analytical jurisprudence in mid-twentieth century: a reply to professor Bodenheimer*. University of Pennsylvania Law Review.
26. Kirmayer, L.J. (2003) Failures of imagination: The refugee's narrative in psychiatry. *Anthropology & Medicine*. 10(2). pp. 167–185.
27. Puvimanasinghe, T., Denson, L.A., Augoustinos, M. & Somasundaram, D. (2015) Narrative and silence: How former refugees talk about loss and past trauma. *Journal of Refugee Studies*. 28(1). pp. 69–92.
28. Zhushlen, Sh. & Mailenova, F.G. (2023) Narrative algology. *ППАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 1(35). pp. 78–90. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2023-1-78-90

Сведения об авторе:

Бабич В.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: v.v.babich@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Babich V.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department and Philosophy of Science, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: v.v.babich@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 05.07.2023;
одобрена после рецензирования 17.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 05.07.2023;
approved after reviewing 17.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья
УДК 332.14:352
doi: 10.17223/1998863X/80/9

СОЦИОЦЕНТРИЗМ VERSUS ТЕХНОЦЕНТРИЗМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УМНОГО ГОРОДА

Наталья Андреевна Колодий¹, Вера Степановна Иванова²,
Дарья Александровна Чернова³

^{1, 3} Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия

² Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия

¹ kolna@tpu.ru

² vcsoc@rambler.ru

³ dariaew@tpu.ru

Аннотация. Анализируются две тенденции исследований умного города, ориентированного на человека. Одна тенденция связана с так называемым техноцентризмом, другая – с социоцентризмом. Позиция социоцентризма оформляется в целостную систему, включающую в себя фокус исследований, ориентированный на граждан («citizen-focused» Smart Cities), гражданскую науку; предполагающую разнообразие инструментов вовлечения горожан в процессы со-участного проектирования умного устойчивого города.

Ключевые слова: умный город, ориентированный на человека; техноцентризм, социоцентризм, гражданская наука

Для цитирования: Колодий Н.А., Иванова В.С., Чернова Д.А. Социоцентризм versus техноцентризм в исследованиях умного города // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 99–107. doi: 10.17223/1998863X/80/9

Original article

SOCIOCENTRISM VERSUS TECHNOCENTRISM IN SMART CITY RESEARCH

Nataliia A. Kolodii¹, Vera S. Ivanova², Daria A. Chernova³

^{1, 3} National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

² National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

¹ kolna@tpu.ru

² vcsoc@rambler.ru

³ dariaew@tpu.ru

Abstract. The article examines two prevailing trends in human-centered research on smart cities, specifically focusing on the dichotomy between technocentrism and sociocentrism. Sociocentrism is conceptualized as a comprehensive framework that emphasizes citizen-

oriented research (referred to as “citizen-focused” smart cities) and citizen science, advocating for diverse methodologies to engage citizens in the participatory design processes of a smart sustainable city. This sociocentric perspective reveals a proclivity towards reinforcing the significance of critical urbanism, whose proponents argue it is crucial for detecting heightened inequality, social injustices, and equitable urban spatial arrangements. Contemporary critical urbanism and critical urban sociology share a common goal of unearthing the underlying implications of technology – specifically, its associations with disparities, hegemony, and injustices. The study delves into the historical, cultural, and political settings that have given rise to smart urbanism. Furthermore, it underscores the necessity of adopting a balanced strategy that integrates participatory elements alongside professional expertise in the execution of any smart city initiative. An integral theme within the discourse surrounding the reevaluation of smart cities pertains to the multifaceted concept of participation. Presently, the involvement of residents is deemed indispensable in not only the development of public spaces such as parks, waterfronts, and squares, but also in all smart projects. Various tools are employed to facilitate participation, ranging from surveys and social research to strategic project workshops, seminars, and community festivals. The mode of engagement is largely contingent on the project’s scale and contextual backdrop. Within the realm of participatory endeavors linked to smart cities, the concept of a city assembly invariably assumes a central role. Several scholars posit that the theory of city assemblages enhances our comprehension of urban constructs and elucidates how contemporary discourses shape the realms of living, learning, recreation, employment, and interactivity.

Keywords: smart city, people-oriented; technocentrism, sociocentrism, citizen science

For citation: Kolodii, N.A., Ivanova, V.S. & Chernova, D.A. (2024) Sociocentrism versus technocentrism in smart city research. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 99–107. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/9

В первой четверти XXI в. появилось множество исследований, фиксирующих ряд закономерностей в создании и развитии умных устойчивых городов. Фокус таких исследований формируется в зависимости от общей ориентированности: либо на технико-технологическую составляющую умного города (техноцентризм); либо на способы вовлечения горожан в проектирование смарт-города (социоцентризм).

Представители и той и другой позиции проявляют особое внимание к контексту любых смарт-преобразований. Традиционно это был историко-национальный и политико-географический контекст [1], но сегодня, в рамках другого исследовательского подхода реконструируются уже более сложные контексты: глобально-локальный, связанный со спецификой глобального Юга / глобального Севера; контекст стран, ориентированных на неолиберальную философию развития города или на концепции умного города с сильной патерналистски-государственной опекой, с разными модификациями партисипаторных городских проектов.

В социоцентристском подходе [2] отчетливо проявляется тенденция усиления роли критического урбанизма, представители которого убеждены в том, что только разработанные стратегии критического анализа позволяют выявлять усилившиеся неравенство, отсутствие социальной справедливости и справедливого устройства городского пространства. Современный критический урбанизм и критическая социология города объединяются в попытке раскрыть «подлинную» природу технологий – ту, что связана с неравенством, доминированием, несправедливостью [3].

Критики хотят привлечь внимание к эффектам городского наблюдения и цифрового управления, основанные на «Больших данных». Они сомневаются

в том, что умные города обязательно способствуют устойчивому развитию [4–7]. Анализируя проекты умного города, инициированные маркетинговыми компаниями и направленные на поиск применения новых технологий, считают, что их цели абсолютно не соответствуют интересам простых горожан. Возникают вопросы о том, как (заново) сделать умный город более популярным, локально-полезным, как «переосмыслить умные города с нуля».

В европейском сообществе ряд исследователей убеждены в закономерности формирования новой исследовательской оптики, сфокусированной уже не на отдельной концепции умного города, а на умном урбанизме в целом [8]. Сторонники умного и устойчивого города, критикуя узкую и технократическую перспективу, которая сводит устойчивость к серии «технических и экономических решений», уже более десяти лет позиционируют в качестве альтернативы человекоцентрированность [9. Р. 58].

В рамках дискуссии, посвященной переосмыслению умной человекоориентированной трансформации города (глобальный, локальный контексты), на разных кейсах обосновывается то, что формально ориентированность на граждан объявлялась идеалом технологий и коммуникаций уже в исследованиях устойчивого города [10]. Участники проекта «Co-creation of EU Human Smart Cities» («Европейские практики совместного создания человекоориентированных умных городов»), осуществляемого при поддержке программы Европейского Союза (Erasmus + Jean Monnet), проследили смещения, связанные с умным городом, сфокусированным на горожанах¹.

Исследования умного города в сравнительной перспективе убедительно доказывают, что «социальная справедливость и экологическая устойчивость не отсутствуют априори и не присутствуют де-факто в технологических решениях инициатив «умных городов», их необходимо создавать, развивать и поддерживать по мере их реализации в определенных местах» [11].

Ряд исследовательских проектов убедительно демонстрирует, как открываются все новые и новые возможности смарт-урбанизма: «новые возможности анализа больших данных, распределенных сенсорных систем и повсеместных вычислений» [10. Р. 1430]. Эти новые возможности, по мысли ряда исследователей, не только значительно усложнили процесс сбора, хранения, обработки и визуализации данных, но и обусловили две крайности: технократизм управления (ориентированность на то, что город – это совокупность познаваемых и управляемых систем, способы работы которых рациональны, механистичны, линейны и иерархичны и которые можно регулировать и контролировать [12]) и нерелевантный антитехнократизм (признание неоднородности, прерывности, а порой и разнонаправленности дигитализации городской среды).

Несмотря на распространение сотовой связи и мобильного Интернета, а также на вайфаизацию городской среды, в городах сохраняются зоны, не включенные в орбиту цифровых технологий. Кроме того, нередки ситуации, когда даже во включенных зонах цифровая связь в различных ее воплощениях обладает недостаточным качеством или нерегулярна и прерывиста; со-

¹ Будущее умных городов в Европе и Средней Азии: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Томск, 6–8 июня 2021 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. Н.А. Гончарова, Н.А. Колодий, Е.В. Гиниятова. Томск : Изд-во ТПУ, 2021.

зданные базы данных, например, по сложным сельско-городским окраинам провинциальных российских городов не учитывают качество мобильных телефонов, которое не позволяет людям сигнализировать смс или фото об угрозах и проблемах в таких зонах.

В ряде исследований показано, что большие данные хороши ровно настолько, насколько адекватны модели, лежащие в основе их использования. Неадекватные модели сбора и хранения больших данных города порождают технократический редукционизм [13], который маскирует те городские конфликты и проблемы, не отражаемые в цифровых представлениях (например, отсутствие базовых услуг в неформальных поселениях, к тому же не зарегистрированных в официальных реестрах и документах). Так, практики, занимающиеся ГИС-картированием, геоинформационными технологиями, не всегда способны предложить технологически оправданные решения при отображении, например, границ территорий (исторических зон и зон особого использования). Так, в Томске более строгая визуализация данных, отражающих сложную структуру с плотным слоем строений, составляющих ядро культурно-исторического наследия, и точная систематизация данных об охраняемых зонах исторического Томска позволили бы более эффективно решить проблему, связанную с реконструкцией исторического центра. И хотя управленцы при принятии решений могут обращаться к 3D карте Томск, цифровой платформе «Строим вместе», к многочисленным моделям города в целом, проблема полной каталогизации и детализированной визуализации всего того, что позволило городу обрести статус исторического поселения, до сих пор не решена. Министерство культуры РФ уже несколько раз возвращало план реконструкции исторического центра города. А, как известно, обновленный исторический центр действует как катализатор регенерации более широкой территории; он улучшает логику, ускоряет социальное взаимодействие; решает в определенной степени проблему неравенства, присутствующего в зонах, модернизация которых затруднена.

В целом следует согласиться с авторами, которые придерживаются принципов контекстуального анализа пространственного неравенства: этот анализ «в пределах городов/регионов может способствовать разработке более конкретных теорий о том, как создается и поддерживается это неравенство, открывая возможности для разработки, теоретически обоснованной и более конкретной инклюзивной программы роста» [14].

По сути, уже возникло «мультидисциплинарное глобальное сообщество», репрезентирующее сегодняшнее дискурсивное поле умного урбанизма. Различные дискурсы, пересекаясь и взаимодействуя, по-иному проблематизируют эпистемологические основания не только теорий умного города, но и города вообще.

Важный сюжет, обсуждаемый в рамках переосмысления умного города, разумеется, партисипаторность в ее различных измерениях. Сегодня уже сложно представить не только проекты создания публичных пространств – парка, набережной, площади, но и любые смарт-проекты – без участия жителей. Для вовлечения применяется определенное количество инструментов: от опросов и иных социальных исследований до проектных стратегических семинаров, воркшопов и фестивалей различных комьюни-

ти. Формат привлечения во многом зависит от масштабов проекта, от контекста, в рамках которого это происходит. В рамках партисипаторных проектов, связанных с умным городом, всегда осуществляется так называемая сборка города. Теория сборок города, с точки зрения ряда авторов, помогает переосмыслить городское и понять то, как благодаря различным дискурсам конструируется сегодня пространство жизни, обучения, отдыха и работы, взаимодействия.

Городское пространство, фиксируют исследователи, само по себе обладает неуничтожимой материальностью: «пространственные и социальные процессы имеют статус материальных объектов независимо от их дискурсивного обсуждения» [15]. Этот факт важен для различных типов урбанизма, таких как смарт-урбанизм (завоевавший статус мейнстримного), умный критический и радикально-критический. Все они создают различные онтологии города и реконструируют различные типы активности, акторности, субъектности, партисипаторности, а следовательно, порождают многообразие репрезентаций города. Объемный технолого-социальный аппарат «общества непрерывности» обуславливает специфические типы субъективности, вынужденные приспосабливаться к непрекращающемуся потоку социально-экономической активности. Новый режим гражданственности формируется во многом благодаря деятельности экспериментальных Живых лабораторий. Так, Живая лаборатория Томска в 2018–2021 гг. стала на долгое время экспериментальной площадкой умной среды [16]. Благодаря деятельности в этой лаборатории был осмыслен синтез технологий, осуществлено со-проектирование скверов и парков, умной парковки, пешеходной улицы города. Внимание исследователей и в этом контексте часто обращено на необходимость баланса, соучаствующего и экспертного подходов к проектированию. Любопытно, что действующие архитекторы в различных городах, несмотря на то, что провозглашают принципы со-участного проектирования как принцип «глаза в глаза», осуществляют нетипичную персонализацию, работают с протестным настроением (например, при создании общественных пространств в Барнауле), осуществляют системную рубрикацию в каталогизировании идей жителей, все-таки придерживаются принципов строгого равновесия участного и экспертного мнения.

Со-участвующее проектирование направлено на вовлечение жителей, представителей городских властей, бизнеса, локальных сообществ, активистов и других заинтересованных сторон в процесс принятия городских решений. С этим трудно не согласиться. Но практика со-участного проектирования сегодня тревожит профессионалов-архитекторов, профессионалов-строителей. Так, например, деятельность одной из проектных групп, активно занимающаяся в России со-проектированием, неожиданно остро критикуется определенной частью исследователей и проектировщиков города. Профессионалы в сфере градостроительства, анализируя деятельность этой студии, подчеркивают важность признания границ тактического урбанизма.

Сбалансированный участный и экспертный подходы важно реализовывать при со-проектировании студенческих кампусов и городов-университетов. Это сегодня актуально для ряда российских регионов. Эксперты, исследующие город-университет, в последнее время стали утверждать,

что «образовательные практики участвуют в укреплении неолиберальной городской политики, приводят к джентрификации, перемещению, дефициту демократии, а также к радикальному изменению сообществ [17]. И это нужно иметь ввиду, осуществляя реальную деятельность, со-проектирование.

Сегодня и в России, и в других странах накопился значительный опыт использования различных инструментов вовлечения горожан в со-проектирование. Так, Лаборатория качества городской жизни, Институт дизайна и урбанистики, Университет ИТМО (Санкт-Петербург) уже несколько лет занимаются соучаствующим картированием как инструментом вовлечения пользователей в разработку схем/иллюстраций/карт территории, репрезентирующих ее субъективное восприятие, используя технологии PPGIS (public participation GIS), развивая геоинформационную систему общественного участия [18]. Преимущества соучаствующего картирования очевидны. Они дают возможность исследователям, управленцам получать реальные представления о восприятии городских ландшафтов и общественных пространств различными группами городских жителей. Уникальное восприятие при этом точно регистрируется и фиксируется. Технология позволяет сочетать системность и гибкость, разные инструменты выражения мнения (вербальный способ и формализованное геокодирование). Технологию отличает точность, возникающая посредством строгой пространственной «привязки субъективного мнения». Технология тиражируема. Она может быть использована как при городском умном планировании, так и при формировании мастер-планов; «создании дружественных городских сред; оптимизации размещения городских сервисов и инфраструктуры» [18].

Нередко при использовании аналогичных инструментов вовлечения в пространственное развитие городов исследователи обращают внимание на возможности формирования новых режимов гражданственности (вне избирательной системы) в рамках новых технологий и инструментов.

Таким образом, именно социоцентристская позиция позволяет актуализировать и исследовать такие явления, как равенство в новых условиях, справедливость в распределении ресурсов; перераспределение, социальное обеспечение, здоровье, образование и жилищные условия. Это с одной стороны. С другой – социоцентризм обосновывает свое решение таких проблем, как рост социального капитала, увеличение разнообразных способов вовлечения в со-проектирование умных городов, участие и стабильность сообщества, гордость и чувство места, взаимодействие внутри сообществ и социальных сетей, взаимосвязанность, разнообразие.

Одна из перспективных тем будущих исследований – это как раз изучение потенциала умных городов в процессах восстановления/формирования норм и практик гражданственности, форм подлинной социальной активности. Тем более что перспектива формирования режимов гражданственности вне избирательной системы является актуальной и вполне реальной, поэтому усилия по исследованию таких режимов вполне оправданы.

Список источников

1. *Angelidou M. Smart city policies: A spatial approach // Cities. 2014. Vol. 41. P. 3–11. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007>*

2. Аргунова М.В. Модель «Умного города» как проявление нового технологического уклада // Наука и школа. 2016. № 3. С. 14–23.
3. Видясова Л.А., Тензина Я.Д., Видясов Е.Ю. Восприятие концепции «умного города» активными горожанами в Петербурге // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2018. Т. 11, вып. 4. С. 404–419. doi: 10.21638/spbu12.2018.402
4. Allwinkle S., Cruickshank P. Creating Smarter Cities: An Overview // Journal of Urban Technology. 2011. Vol. 18, № 2. P. 1–16. doi: 10.1080/10630732.2011.601103
5. Greenfield A. Against the Smart City. New York : Do, 2013.
6. Cardullo P., Kitchin R. Being a ‘citizen’ in the smart city: Up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland // GeoJournal. 2019. Vol. 84, № 1. P. 1–13. doi: 10.1007/s10708-018-9845-8
7. Townsend A. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. New York : W.W. Norton, 2013. 244 p.
8. Marvin S., Luque-Ayala A., McFarlane C. Smart urbanism: Utopian vision or false Dawn. New York, NY : Routledge, 2016. 204 p.
9. Bulkeley H., Betsill M. Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and the ‘Urban’ Politics of Climate Change // Environmental Politics 2005. Vol. 14, № 1. P. 42–63. doi: 10.1080/0964401042000310178
10. Verrest H., Pfeffer K. Elaborating the urbanism in smart urbanism: distilling relevant dimensions for a comprehensive analysis of Smart City approaches // Communication & Society. 2019. Vol. 22, № 9. P. 1328–1342. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1424921>
11. Evans J. et al. Smart and sustainable cities? Pipedreams, practicalities and possibilities // Local Environment. The International Journal of Justice and Sustainability. 2019. Vol. 24, iss. 7. P. 557–564. doi: 10.1080/13549839.2019.1624701
12. Kitchin R. Making sense of smart cities: Addressing present shortcomings // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2015. Vol. 8, № 1. P. 131–136.
13. Söderström O., Paasche T., Klauser F. Smart cities as corporate storytelling // City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. 2014. Vol. 18, № 3. P. 307–320. doi: 10.1080/13604813.2014.906716\
14. Hughes C., Lupton R. Understanding inclusive growth at local level: changing patterns and types of neighbourhood disadvantage in three English city-regions // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2021. Vol. 14, iss. 1. P. 141–156.
15. Barrado-Timón D. The Meaning and Content of the Concept of the Social in the Scientific Discourse on Urban Social Sustainability // City & Community. 2020. Vol. 19, iss. 4. P. 1103–1121. <https://doi.org/10.1111/cico.12480>
16. Будущее умных городов в Европе и Средней Азии: проблемы и перспективы : материалы международной научно-практической конференции. г. Томск, 6–8 июня 2021 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. Н.А. Гончарова, Н.А. Колодий, Е.В. Гиниятова. Томск : Изд-во ТПУ, 2021. 144 с.
17. Lipman P. The New Political Economy of Urban Education: Neoliberalism, Race, and the Right to the City. New York, NY : Routledge, 2011. 205 p.
18. Ненько А.Е., Галактионова А.А., Эльдиб П.Ю., Курилова М.А., Подкорытова М.И. Геоинформационные системы общественного участия как инструмент соучаствующего проектирования // Городские исследования и практики. 2021. Т. 6, № 2. С. 96–112. doi: 10.17323/usp62202196-112 (дата обращения: 12.03.2023).

References

1. Angelidou, M. (2014) Smart city policies: A spatial approach. *Cities*. 41. pp. 3–11. DOI: 10.1016/j.cities.2014.06.007
2. Argunova, M.V. (2016) Model' "Umnogo goroda" kak proyavlenie novogo tekhnologicheskogo uklada [The “Smart city” model as a manifestation of the new technological mode]. *Nauka i shkola*. 3. pp. 14–23.
3. Vidyasova, L.A., Tensina, Ya.D. & Vidyasov, E.Yu. (2018) Vospriyatie kontseptsii «umnogo goroda» ak-tivnymi gorozhanami v Peterburge [Perception of the Smart City Concept by Active Citizens in St. Petersburg]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Sotsiologiya*. 11(4). pp. 404–419. DOI: 10.21638/spbu12.2018.402
4. Allwinkle, S. & Cruickshank, P. (2011) Creating Smarter Cities: An Overview. *Journal of Urban Technology*. 18(2). pp. 1–16. DOI: 10.1080/10630732.2011.601103
5. Greenfield, A. (2013) *Against the Smart City*. New York: Do.

6. Cardullo, P. & Kitchin, R. (2019) Being a 'citizen' in the smart city: Up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland. *GeoJournal*. 84(1). pp. 1–13. DOI: 10.1007/s10708-018-9845-8
7. Townsend, A. (2013) *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia*. New York: W.W. Norton.
8. Marvin, S., Luque-Ayala, A. & McFarlane, C. (2016) *Smart urbanism: Utopian vision or false Dawn*. New York, NY: Routledge.
9. Bulkeley, H. & Betsill, M. (2005) Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and the 'Urban' Politics of Climate Change. *Environmental Politics*. 14(1). pp. 42–63. DOI: 10.1080/0964401042000310178
10. Verrest, H. & Pfeffer, K. (2019) Elaborating the urbanism in smart urbanism: distilling relevant dimensions for a comprehensive analysis of Smart City approaches. *Communication & Society*. 22(9). pp. 1328–1342. DOI: 10.1080/1369118X.2018.1424921
11. Evans, J. et al. (2019) Smart and sustainable cities? Pipedreams, practicalities and possibilities. *Local Environment. The International Journal of Justice and Sustainability*. 24(7). pp. 557–564. DOI: 10.1080/13549839.2019.1624701
12. Kitchin, R. (2015) Making sense of smart cities: Addressing present shortcomings. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. 8(1). pp. 131–136.
13. Söderström, O., Paasche, T. & Klauser, F. (2014) Smart cities as corporate storytelling. *City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action*. 18(3). pp. 307–320. DOI: 10.1080/13604813.2014.906716
14. Hughes, C. & Lupton, R. (2021) Understanding inclusive growth at local level: changing patterns and types of neighbourhood disadvantage in three English city-regions. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. 14(1). pp. 141–156.
15. Barrado-Timón, D. (2020) The Meaning and Content of the Concept of the Social in the Scientific Discourse on Urban Social Sustainability. *City & Community*. 19(4). pp. 1103–1121. DOI: 10.1111/cico.12480
16. Goncharova, N.A., Kolodiy, N.A. & Giniyatova, E.V. (eds) (2021) *Budushchee umnykh gorodov v Evrope i Sredney Azii: problemy i perspektivy* [The Future of Smart Cities in Europe and Central Asia: Problems and Prospects]. Proc. of the International Conference. Tomsk, June 6–8, 2021. Tomsk: TPU.
17. Lipman, P. (2011) *The New Political Economy of Urban Education: Neoliberalism, Race, and the Right to the City*. New York, NY: Routledge.
18. Nenko, A.E., Galaktionova, A.A., Eldib, P.Yu., Kurilova, M.A. & Podkorytova, M.I. (2021) Geoinformatsionnye sistemy obshchestvennogo uchastiya kak instrument souchastvuyushchego proektirovaniya [Geoinformation systems of public participation as a tool for participation planning]. *Gorodskie issledovaniya i praktiki*. 6(2). pp. 96–112. DOI: 10.17323/usp62202196-112

Сведения об авторах:

Колодий Н.А. – доктор философских наук, профессор отделения социально-гуманитарных наук Школы общественных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: kolna@tpu.ru

Иванова В.С. – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: vcsoc@rambler.ru

Чернова Д.А. – эксперт Старт-лаборатории Б.51 Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: dariaew@tpu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Kolodii N.A. – Dr. Sci. (Philosophy), professor of the Department of Social Sciences and Humanities, School of Social Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kolna@tpu.ru

Ivanova V.S. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: vcsoc@rambler.ru

Chernova D.A. – expert of Startup Laboratory B.51, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: dariaew@tpu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 12.06.2024;
одобрена после рецензирования 17.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*
*The article was submitted 12.06.2024;
approved after reviewing 17.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 316.752.4

doi: 10.17223/1998863X/80/10

ОНЛАЙН-РАДИКАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕХАНИЗМЫ

Владимир Иванович Красиков

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),

Москва, Россия;

Институт театрального искусства (ГИТИС), Москва, России, KrasVladIv@gmail.com

Аннотация. Автор на основе рассмотрения имеющейся литературы по радикализации определяется с ее пониманием. Каталогизируются возможные жизненные уязвимости в модель кумулятивных факторов риска – как предпосылки и потенциал радикализации. Представлена модель механизмов онлайн-радикализации: компенсация уязвимости, закрепление изоляции посредством онлайн-погружения, фасилитация, эхо-камеры, ускорение радикализации, запуск действий в офлайн. Обсуждаются результаты анализа, а также их некоторые теоретические и практические следствия.

Ключевые слова: онлайн-радикализация, возрастные уязвимости, социальные сети

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00080, <https://rscf.ru/project/23-28-00080/>

Для цитирования: Красиков В.И. Онлайн-радикализация молодежи: предпосылки и механизмы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 108–122. doi: 10.17223/1998863X/80/10

Original article

ONLINE RADICALIZATION OF YOUTH: PREREQUISITES AND MECHANISMS

Vladimir I. Krasikov

All-Russian State University of Justice, Moscow, Russian Federation

Russian Institute of Theater Arts, Moscow, Russian Federation

KrasVladIv@gmail.com

Abstract. The article examines online radicalization of youth on social networks. Based on a review of the existing literature on radicalization, I first defined its understanding. Having examined the existing approaches, I joined the opinion that radicalism leads to violence only in some cases. I distinguish between “cognitive” radicalization, or the formation of extreme beliefs, and “behavioral” radicalization, which leads to extremist behavior. Thus, radicalization is the process of accepting certain ideas that can lead to possible violent actions. Online radicalization is a reality that has emerged in the last 10–15 years due to the rapid development of online social networks. I understand it as the formation of radical views, yet mainly through interaction with various types of Internet content and not direct personal communication or written study of propaganda materials. Further, also based on monitoring of relevant sources, I developed a model of risk factors that can trigger the radicalization process. Of the many possible factors, I chose, in my opinion, the most significant ones. Firstly, these are social macro-level risk factors that violate norms and homeostasis, creating internal tensions, namely: the ongoing conflict with the West and existential threats of its escalation, the prevalence of ideologies that justify violence, the formation of a new information and semantic environment of fakes and simulacra, socio-

economic problems, dangers of social disintegration. Secondly, these are age-psychological risk factors for changes in the consciousness and behavior of young people in a harmful direction, namely: the search for a new belonging, provocative behavior and nonconformism. I believe that the onset of radicalization among young people is initiated by the inability of some of them to satisfactorily solve their age-related developmental tasks in the context of increasing problematization of the social environment. Finally, I presented a model of the mechanisms of online radicalization as the realization of offline potential. These are interconnected mechanisms, namely: compensation for vulnerability, consolidation of isolation through online immersion, facilitation, echo chambers, acceleration of radicalization, launching actions offline.

Keywords: online radicalization, age-related vulnerabilities, social networks

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23-28-00080, <https://rscf.ru/project/23-28-00080/>

For citation: Krasikov, V.I. (2024) Online radicalization of youth: prerequisites and mechanisms. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 108–122. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/10

Введение

Экспоненциальное развитие Интернета и онлайн-социальных сетей позволило радикалам самых разных мастей общаться и распространять свои идеи среди гораздо более широкой аудитории, чем ранее, а изучение роли онлайн-общения в содействии радикализации стало одной из обсуждаемых тем среди ученых целого ряда дисциплин.

Вместе с тем число имеющихся исследований онлайн-радикализации в отечественной литературе еще невелико и они носят зачастую описательный характер¹. Также они отличаются двумя особенностями. Во-первых, большинство работ изучает скорее «предложение» экстремистского контента (так сказать, его «репертуар») в социальных сетях, а не то, как он влияет на радикализацию его потребителей. Исследования, таким образом, сосредоточены в основном на анализе содержания экстремистских материалов, а не на их производителях или потребителях, механизмах распространения, функционирования и последствий [1. Р. 77]. Остается малоизученным, таким образом, «спрос» на онлайн-радикализацию: насколько и почему востребован молодыми людьми радикальный контент [2. Р. 637]. Во-вторых, вплоть до недавнего времени в исследованиях наблюдался дисбаланс, связанный с постоянным вниманием к джихадизму, в то время как другим формам экстремизма уделялось меньше внимания [3. П. 2].

Соответственно, в этой статье мы стремимся по мере наших сил компенсировать отмеченные выше «уклоны» и сосредоточить внимание именно на «спросе» на онлайн-радикализацию. Также мы намерены выявить факторы, ставящие часть молодых людей в позицию *жизненной уязвимости* как важнейшей предпосылки актуализации для них радикальных материалов самого разнообразного свойства: правого, левого и экстремистски-религиозного. Это также предполагает изучение основных механизмов последующей «смычки» потенциального потребителя с имеющимся радикальным контентом как форм «соучастия» социальных сетей в радикализации новых adeptов.

¹ Именно это обстоятельство продиктовало необходимость изучения этих вопросов в англоязычной исследовательской литературе последних лет.

Статья состоит из четырех частей. Вначале, на основе рассмотрения имеющейся литературы по радикализации, мы определяемся с ее пониманием. Во второй части, также на основе мониторинга соответствующих источников, каталогизируем возможные жизненные уязвимости, выявленные до нас, в модель кумулятивных, или взаимно влияющих, факторов риска как предпосылки и потенциал радикализации. В третьей части разрабатывается модель механизмов онлайн-радикализации – как реализации потенциала, складывающегося офлайн, – посредством и через формы, сложившиеся в практиках социальных сетей. В завершающей части представлены и обсуждаются результаты проведенного анализа, а также некоторые теоретические и практические следствия наших выводов.

Что такое радикализация, специфика онлайн-радикализации

Понятия «радикал», «радикализм» – то, что изменяет основы вещей, – вошли в активную европейскую языковую практику с конца XVIII в. Хотя слово латинское, однако современное значение в социальном дискурсе приходит из английского и французского языкового оборота. Если не брать во внимание использование слова «радикал» в математике, химии и биологии, то в отношении людей так характеризуют тех, кто стремится к фундаментальным социальным преобразованиям, противоречащим существующему порядку или представляющим для него прямую угрозу. Соответственно, «радикализацией» будет процесс формирования подобного стремления.

Естественно ожидать, что, как и по большинству ключевых понятий в науке, в отношении радикализации существуют различные мнения. Это действительно так, однако ее можно упростить до трех ключевых подходов [4. С. 49].

Первый из них увязывает радикализацию с процессом обращения к насилию как средству преобразований, т.е. радикализм и насилие, по сути, синонимизируются.

Однако это явное упрощение, на что справедливо указывается: многие часто озвучивают очень жестокие вещи, но лишь единицы сопровождают это насильственными действиями [5. С. 117].

Второй подход, учитывая это, разделяет классические смыслы «радикализма»: как исторически связанного с борьбой либерализма с феодальным порядком и буржуазными революциями и поэтому как бы «прогрессивного», и радикализма «угрожающего» («современным демократиям»), «насильственного». Понятно, что определенно здесь наблюдаются двойные стандарты.

Третий подход можно назвать скорее «софистическим», поскольку он означает отказ от четких квалификаций в пользу глубокомысленных рассуждений об относительности понятия «радикализм» и его зависимости от конкретных обстоятельств.

Нам близка точка зрения, которая отталкивается от критики синонимизации радикализма и насильственного экстремизма, но не доходит до их разделения по признаку прогрессивности. Становятся приверженцами радикальных взглядов многие, однако, к счастью, лишь некоторые переходят к насилию. Это соответствует различию между *когнитивной* радикализацией, сосредоточенной на формировании крайних убеждений, и радикализацией

поведенческой, которая фокусируется на экстремистском поведении [6. Р. 786].

Под радикализацией, таким образом, мы будем понимать принятие определенных идей, убеждений и взглядов, которые *могут* лежать в основе насильственных действий, т.е. как когнитивную трансформацию сознания, ведущую в некоторых случаях и к поведенческим изменениям. Действительно, у небольшого числа людей, придерживающихся радикальных взглядов, может развиться чувство личного долга самим участвовать в насильственных акциях, и они могут выражать такие намерения или же готовиться к ним. Однако даже среди тех, кто выражает подобные намерения, только незначительное меньшинство (менее 1%) действительно когда-либо пойдут дальше и примут участие в актах насилия во имя дела или идеологии [7. Р. 206].

Вот уже два-три десятилетия к традиционной офлайн-радикализации добавляется новая ее форма – онлайн-радикализация. Действительно, посредством Интернета обеспечивается безопасное, простое и дешевое общение, распространение пропаганды, расширение поддержки, демонизации врага и сбора средств. Если раньше экстремисты полагались на «традиционные» средства массовой информации, чтобы донести свое «дело» до общественности, то теперь им предоставляется широкий спектр коммуникационных возможностей – от веб-сайтов до виртуальных сообществ. Последние выполняют важные функции для отдельных лиц и групп, предоставляя «убежище» сторонникам экстремистских идеологий, форум проверки и поддержки, а также средства для повышения осведомленности и все более активного участия в движении [8. Р. 2].

Вместе с тем до сих пор ведутся споры о том, в какой степени средства массовой информации влияют на процессы радикализации [9. Раздел 1.2]. Так, одни рассматривают Интернет и социальные сети в частности как один из наиболее важных факторов радикализации, другие же считают их роль незначительной. Некоторые даже придерживаются мнения, что радикальная риторика в онлайн является, по сути, «предохранительным клапаном» для «сброса пара», ненасильственным выходом для выражения недовольства, возможностью для радикалов почувствовать себя «в деле», без необходимости прибегать к насильственному поведению в «реале».

Так или иначе, онлайн-радикализацию можно понимать в общем виде как процесс, посредством которого некоторые люди в результате взаимодействия с различными типами интернет-контента приходят к убеждениям, оправдывающим насилие (когнитивная радикализация), а у особо восприимчивых эти убеждения могут трансформироваться в насильственные действия (радикализация поведенческая) [10. Р. 464]. И все это происходит как за счет возрастания приверженности крайним взглядам, так и через все большую вовлеченность в деятельность радикальных сообществ.

Социальные и возрастные уязвимости молодежи как потенциал радикализации

Людское сообщество крайне многообразно, кто же из него будет стоять в первой очереди к радикализации? Если бы радикальные идеи срабатывали автоматически, как вирусная эпидемия (предположительного нового типа, как недавно пережитая нами), то от нее не было бы спасения. Однако мы знаем и о

естественном иммунитете, и о вакцинации. Так же и в отношении радикальных идей. Естественно предположить, что у многих людей есть аналитические, критические способности, здравый смысл, равно как культура, образование и здоровая социальная среда. Однако существует и обратная сторона – когда указанные способности еще зарождаются, а окружающую среду трудно назвать нормальной. Итак, что же способствует «запуску» радикализации?

В научной литературе уже разработаны некоторые подходы в понимании причин радикализации, связывающие последнюю с множеством явлений макро-, мезо-, микроуровней социума [11. Р. 5], и на их базе можно связать эти выявленные корреляционные аспекты в *модель кумулятивных, или взаимно влияющих, факторов риска*, под действием которых могут возникать разные пути радикализации.

На сознание и поведение людей оказывает влияние множество причин самого разного характера: от природно-физических до индивидуально-психологических. Понятно, что степени подобных влияний будут сильно различаться, и потому из них мы должны выбрать одни – очевидно существенные, приводящие к ментальным и поведенческим изменениям, и игнорировать другие как малосущественные, не ведущие к заметным изменениям.

На отдельного человека и группу людей оказывают несомненное формирующее влияние: и особенности страны проживания, и местности-климата, и коллективная психология, и менталитет проживающих здесь, и социально-экономический уровень, и традиции власти, управления, быта, и предшествующая история взаимоотношений людей внутри наличествующего здесь социума и т.п. И, как правило, общность людей на данной территории достигает некоего устойчивого баланса, гомеостаза, когда большинство людей как бы «притираются» друг к другу, все нормализуется, где «норма» и является условием безопасного сосуществования людей. Однако нас в данном случае интересует иная ситуация – дестабилизация, когда люди становятся недовольными, уязвимыми и конфликтными, вследствие чего они более открыты для радикализации.

В первую очередь это молодые люди, специфическая антропологическая категория, поскольку помимо общего влияния на них окружающего социального контекста они испытывают необычное (для остальных возрастных групп) дестабилизирующее и проблематизирующее влияние комплекса своих специфических факторов, резко ломающих физиологию, психологию и ментальность, сопутствующих формированию взрослого человеческого организма. Нечто, напоминающее превращение гусеницы в бабочку.

Начнем с возможных травмирующих воздействий, подталкивающих к крайностям в сознании и поведении, со стороны, так сказать, «большого» социума, в котором обитают молодые люди.

Факторы риска социального макроуровня, нарушающие нормы, гомеостаз, создающие внутренние напряжения, явные и неявные противоречия, сейчас очевидны как никогда. Это:

- современные международные конфликты и их небезопасные перспективы, экзистенциальные угрозы их разворачивания;
- распространенность идеологий, нормализующих насилие, включающих их в новую повседневность, в контексте сознательной девальвации традиционных ценностей;

- складывание новой информационно-смысловой среды «постправды», фейков и симулякров, разрушение ориентационных основ классических метафизик;
- социально-экономические проблемы (санкции, инфляция, снижение жизненного уровня);
- явления социальной дезинтеграции (релоканты, мигранты, межрегиональные противоречия).

И это наиболее явственные, мы не ставили задачу выставить исчерпывающий список имеющихся сейчас дестабилизирующих социальных факторов. Понятно, что они специфическим образом «спускаются» с макроуровня на мезоуровень города-района, присутствуя здесь в местных локациях.

И, наконец, эти тревожащие события, деструктивные идеологии, вереница проблем и нежелательные явления атакуют психологию и мышление молодых людей, входя в корреляцию с *возрастно-психологическими факторами риска* их изменений в пагубном направлении. Мы хотим сказать, что возрастные трансформации есть всегда и везде, вызывая обычно хулиганские эксцессы, значимые для самих молодых и их окружения, тогда как в особых социальных контекстах они становятся триггерами эксцессов опасных для общества в целом – процессов экстремистской радикализации.

Очевидно, что радикализироваться можно в любом возрасте, однако, с большей вероятностью – в раннем молодежном возрасте (16–20 лет), примыкающем, по сути, к позднему подростковому. И как показало наше предшествующее исследование, 92% состава первокурсников в Москве и 13 других крупных городах шести федеральных округов РФ пребывают как раз в этой категории [12. С. 138]. И они, как мы полагаем и попытаемся далее это продемонстрировать, вначале теоретически, в разной степени обладают этим набором возрастных уязвимостей.

Пристальное внимание именно к этому возрасту связано с тем, что он представляет особую стадию в человеческом развитии, имеет некоторые специфические особенности, которые необходимо учитывать. В подростковом и юношеском возрасте люди начинают искать себя на путях рационального критического прояснения своей идентичности: места в жизни и предназначения. Кроме того, отношения между родителями и детьми меняются, отчасти потому, что последние пытаются утвердить свою автономию. Для понимания уязвимостей, возникающих в это время, важен анализ факторов риска, воздействующих на многих подростков и молодежь со сходным контекстом и опытом. К таким факторам относят поиск новой принадлежности, провокационное поведение и неконформизм [13. Р. 180]. Они обусловлены биологическим и психологическим развитием, в разных формах и степенях интенсивности распространены в этом возрасте.

Поиск принадлежности связан, как правило, с проблемой идентичности. Прежняя принадлежность уже не ценится как ранее, а значит, и прежнее «место», как тебя принимали другие и ты сам, т.е. идентичность.

Подростково-молодежный возраст особенно важен в жизненном расписании людей, поскольку именно в это время складывается личностная система норм и ценностей. Потому-то люди данного возраста и считаются особенно уязвимой группой, поскольку постоянно находятся в серьезном поиске принадлежности, признания и идентичности. Плюс к тому они ищут приклю-

чений, острых ощущений и провокаций: а почему бы не попробовать, «прикольно» ведь? Простота объяснений, категоричность решений, бескомпромиссность, воспринимаемая как «честность», довольно привлекательны, нежели многотрудные нюансировки глубокого знания, обстоятельный выбор или же толерантность компромисса. И молодые люди стремятся экспериментировать с различными мировоззренческими позициями, объявлять себя сторонниками крайних взглядов. И хотя, скорее всего, эти эксперименты преходящи, а юношеский максимализм не особенно стабилен, многие опросы из разных стран показывают, тем не менее, широкую распространенность радикальных настроений в подростково-молодежной среде [14. Р. 127–130].

В период полового созревания молодежь все больше отдаляется от родителей, ибо для новой идентичности нужно оттолкнуться от прежней, на страже которой и стоят родители. Резко возрастает роль сверстников – это новая и на некоторое время важнейшая референтная группа. Таким образом, подростково-молодежный возраст – специфический этап социализации, более определяемый пребыванием в школе, потом в вузе, групп сверстников. Соответственно, кризисы идентичности могут преодолеваются как позитивно – при благоприятных условиях положительного объединения контекста (сверстники, родители и администрация), так и быть длительными или особенно трудноразрешимыми – при хроническом рассогласовании контекста. Тогда проблематизация идентичности становится фактором риска неконформного поведения: радикализации, когнитивной и даже поведенческой.

Кризис и поиски идентичности органично сопряжены с провокационным поведением или опробованием устоявшихся границ в поведении и нормах. Равно как и с неконформизмом как нежеланием жить с навязываемой идентичностью (каким тебя привыкли и хотят видеть родители, твоё окружение). В некоторых случаях это ведет к фрустрациям, так как новые границы должны быть признаны и другими, а вместо прежней идентичности должна быть предъявлена и подтверждена новая. Фрустрации могут приобретать хронический характер, создавая условия для возникновения и нарастания отчуждения от привычной прежней среды.

Отчуждение проявляется в состоянии замкнутости, одиночества, потери либо изоляции от чего-то знакомого, формируя чувство неполноценности. Понятно, что это в большинстве случаев субъективная оценка своего положения, возможностей, в сравнении с другими. И она может не вполне соответствовать объективному положению дел или же быть относительной. Скорее это переживания неблагополучия и морального ущерба, стимулирующие поиск таких же «преследуемых и страдающих». Или же внимание может переключиться на чуждые – в экономическом, политическом или же этническом отношении – группы, которые можно обвинить в агрессии, эксплуатации и в собственном чувстве неполноценности. Особенно это актуально для молодых людей с небольшими ресурсами, что ухудшает их шансы на достижение намеченных целей. Неспособность достичь этих целей, конечно же, таит в себе высокий потенциал разочарования.

Провокационное поведение и неконформизм молодых людей могут вести к их доминированию в «своей» культурно-этнической подростково-молодежной среде, молодежным бандам и часто связанным с ними правозэкстремистским и левозэкстремистским движениям. Если же речь идет о моло-

дежи из иных культурно-этнических сред, к примеру, мигрантских сообществ из мусульманских стран в крупных городах, то возрастает риск исламистской радикализации как следствие их виктимизации и дискриминации, явной или же скрытой. Здесь радикализация питаема нарративами, основанными на коллективном чувстве несправедливости, и является тем фактором риска, который может побудить молодых людей присоединиться к радикальным группам.

Таким образом, похоже, что начало радикализации среди молодых людей обозначенного возраста является результатом неспособности удовлетворительно решать возрастные задачи развития, такие как принадлежность, признание и эмоциональная поддержка, в контексте нарастания проблематизации социального окружения. Причем не следует ставить знак равенства между радикализацией и критическими настроениями в социально-проблемных условиях. Последние являются вариациями нормы, признаются уместными и приемлемыми, так же как и лояльность. Подростково-молодежная среда имманентно критична по отношению и к «взрослому миру», и к существующим порядкам. Однако лишь при известных условиях, а по сути, исключениях часть этой среды становится уязвимой для радикализации, болезненного отхода от нормы.

Механизмы онлайн-радикализации молодежи в практиках социальных сетей

По большому счету, все это бывало и ранее: и обострение мировой обстановки, и агрессивные идеологические влияния, и рост мировоззренческо-информационной неопределенности, и социально-экономические проблемы. Равно как никто не отменял того непреложного обстоятельства, что каждые 15–20 лет меняются «поколения» (бумеры, иксы, миллениалы, зуммеры, альфа и пр.), а каждый год идет набор студентов на первые курсы и вчерашние подростки испытывают сходные возрастные риски. Есть лишь одно но – только в последние 10–15 лет развиваются социальные сети как новый вид массовой коммуникации, который вносит существенные коррективы в традиционные процессы радикализации, дает им новые формы. Итак, рассмотрим эти формы.

Компенсация уязвимости

Мы полагаем, что легкодоступный онлайн-контент предоставляет людям с проблемной (кризисной) идентичностью большой ассортимент альтернативных мировоззрений¹, привлекательных для них. Они стремятся к присоединению к новой социальной среде, разделяющей эти мировоззрения, где к ним не будут предъявлять большие требования, т.е. порог для включения здесь низкий. Эта простота доступа, при малой затрате сил и времени, отличает онлайн-компенсацию от компенсации офлайн, сопряженной с трудностями реальной коммуникации, самопредставления и закрепления – в случае поиска и присоединения к радикальным сообществам.

Компенсация появляется в основном на этапе до начала радикализации (предрадикализация) и представляет собой попытку человека переопределить себя через поиск новой, четкой и решительной идентичности – посредством

¹ По отношению к одобряемым и принимаемым в этом социуме.

примыкания к «успешным»¹ онлайн-сообществам. Компенсация, таким образом, связывает личностные уязвимости с процессами радикализации, идущими в социальных сетях.

И надо понимать, что уязвимости не исчерпываются личностным кризисом, хотя именно в подростково-юношеском возрасте он встречается более часто. Уязвимости могут быть связаны и с проблемами психического здоровья, буллингем, проблемами в семье, экстремальными жизненными ситуациями (потеря работы или места учебы) и т.п. Потеря работы или образования может отстранить людей от социальной активности и общения, подтолкнув их к поиску новых источников смысла и сделав их более открытыми для изучения новых идей. Эти типы уязвимостей могут со временем вызвать разочарование в общественной системе или неудовлетворенность существующим положением вещей. И, как правило, все это опять ведет к испытаниям прежней, «неудачной», идентичности и смыслов, которые ее поддерживают. Чтобы компенсировать это, молодой человек устремляется в социальные сети – для поиска альтернативных мировоззрений и выражения своего разочарования.

Закрепление изоляции посредством онлайн-погружения

Изоляция может иметь место на разных этапах процесса радикализации. Во временном отрезке предрадикализации она производна от отчуждения молодого человека от окружающих и ведет к подвижкам в смысловых ориентациях, подталкивающих его к положительному реагированию на радикальные нарративы. На этапе собственно запуска радикализации изоляция хабиитуализируется, превращается из болезненно переживаемого состояния некоего аутсайдерства в позитивно оцениваемую принадлежность и чуть ли не предмет гордости. Закрепление идет через обострение конфликта с прежней значимой средой (семья, друзья) и через резкое возрастание времени пребывания в выбранных радикальных онлайн-сообществах, усиления эмоциональной привязанности к ним, степени вовлеченности (виртуальной интеграции).

В итоге радикализующиеся люди отделяются от офлайновых социальных сетей и взаимоотношений, все более «поглощаются» онлайн-сообществами. Подобное социальное отчуждение и радикальное погружение (в тексты и организации) присутствует и в традиционных траекториях радикализации, специфика же онлайн-погружения в том, что оно особенно актуально для одиноких людей с коммуникативными проблемами.

Эффективная агитация-и-организация (фасилитация)

Новомодное слово «фасилитация» обозначает те аспекты онлайн-сферы, которые облегчают и оптимизируют знакомство и взаимодействие с радикальным контентом. Многие исследователи признают, что Интернет и социальные сети действуют и как вспомогательный инструмент, открывающий новые возможности, и для идеологического развития, и для оперативного планирования радикальной деятельности [15. Р. 112–114].

О чем идет речь? Традиционная радикализация, осуществляемая офлайн, реализуется в виде как инструментальной, так и коммуникативной практики.

¹ В глазах разочарованного и уязвленного.

В первом случае необходимо доставить литературу для пропаганды ее потенциальным потребителям, обращаемым, потом это уже могут быть материальные средства для реализации радикальных идей. Коммуникативные аспекты – общение, лекции-семинары, совещания и разработка планов. И все это и трудоемко, и опасно, требует долгих напряженных усилий согласования и поддержания в реальном пространстве-времени и настороженной социальной среде. Онлайн-фасилитация значительно упрощает и ускоряет эти процессы, предоставляя как бы «единое окно»: и для одностороннего потребления радикальных материалов, и для безопасного, даже комфортного, социального взаимодействия в онлайн-сетях вокруг этих материалов.

Эффективная онлайн-агитация-и-организация может действовать как на этапе когнитивной радикализации, так и на этапе поведенческой радикализации. Сначала это содействие идеологическому развитию посредством информирования и развития радикальных идей, затем уже в рамках возможной офлайн-деятельности – путем предоставления ресурсов для планирования и проведения радикальных акций.

Эхо-камеры – усилители радикализации

Механизм эхо-камер проявляется в виде усиления и укрепления радикальных убеждений, оправдание насильственных действий – в понимании тех людей, которые постоянно взаимодействуют в киберпространстве в основном лишь с теми, кто придерживается таких же, столь же крайних взглядов [16. Р. 36].

Соответственно, вероятно, одним из наиболее опасных воздействий Интернета и социальных сетей на человеческую психику, особенно неустойчивую, следует считать не просто пассивное воздействие радикальной риторики, а то, что предоставляется легкий постоянный доступ к сообществу единомышленников, где можно обмениваться радикальными идеями и подтверждать их. И та же ситуация эхо-камеры, в которую человек заходит добровольно и, более того, воспринимает пребывание там как комфортное, надежно изолирует его от большинства внешних влияний, особенно от альтернативных идей и конкурирующих рациональностей.

Кроме того, чувство анонимности и защиты от обнаружения, обеспечиваемое интернетовскими технологиями, снижает естественный человеческий порог чувствительности на взаимодействие с радикальными идеями и образами, снимает культурные запреты. Это может подтолкнуть людей к поведению и отношениям, которые они сами бы сочли неприемлемыми в окружающей нормальной офлайн социальной среде. Эхо-камера имеет, таким образом, растормаживающий эффект, заставляя людей чувствовать себя менее сдержанными, провоцировать на вызывающее поведение: среди своих все можно, свои поймут и высоко оценят.

Воздействие эхо-камер может иметь также поляризующий эффект, когда люди начинают идентифицировать себя со «своей группой» или сообществом, в то время как «чужая группа» дегуманизируется и воспринимается как враг. Человек усваивает радикальные идеи и выстраивает новую социальную идентичность в онлайн-сообществе.

Конечно, сходные явления наблюдаемы и в сфере офлайн, но лишь тогда, когда человек уже постоянно и длительно находится в составе радикаль-

ной группы. Эхо-камера онлайн-радикализации дает человеку форумы и сети с более высоким чувством безопасности, питаемой анонимностью, которую обеспечивает Интернет. Вследствие этого к радикализации могут приобщаться больше людей, больше возможностей для искуса и меньше страха перед осуждением и наказанием.

Ускорение – сокращенные временные рамки радикализации в социальных сетях по сравнению с традиционными траекториями радикализации

Благодаря тому что Интернет и социальные сети предоставляют качественно иные возможности для информации и коммуникации, они могут функционировать как «инкубатор» или «ускоритель» онлайн-радикализации. Сроки всего процесса (от идеи до практических акций) становятся значительно короче, чем средние сроки радикализации в офлайн-режиме. Если, как показывают исследования правоохранительных органов, до 2010 г. – начала эры массовых онлайн-сетей – средние сроки радикализации составляли чуть более 4 лет, то после 2015 г. он уже варьируется в пределах одного года [17. Р. 598–600]. Таким образом, введение онлайн-механизмов в процесс радикализации буквально «взвинчивает» его темпы, и человек в очень короткое время начинает выражать заметно более радикальные взгляды.

Запуск действия

И завершает наше описание механизмов онлайн-радикализации его финал, который, конечно же, случается совсем не часто в конкретно-личных траекториях онлайн-радикализации. Мы уже отмечали ранее, что, по приблизительным подсчетам, речь может идти всего лишь о нескольких процентах радикализовавшихся людей. Но тем не менее эти проценты существуют и представляют собой самую серьезную социальную опасность. Тем более, ожидаемо, они могут сильно возрасти в случае наступления общественной анархии по каким-либо причинам. Потому-то о финальном механизме стоит сказать.

Запуск действия относится к моменту, который создает стимул для совершения офлайн-актов в соответствии с усвоенной радикальной идеологией (выйти на демонстрацию, развесить листовки, совершить поджог, нападение на неудобных лиц и пр.). Большинство ученых указывают на необходимость наличия активатора или триггера действия, чтобы адресовать существующие обиды и новые взгляды на конкретных врагов [18. Р. 4–5].

Подобными активаторами, или триггерами, могут быть самые разные возможные причины: личные неудачи и проблемы; социально-политические события, вызывающие моральное возмущение; непосредственное вдохновение от ранее успешно проведенных радикальных акций и т.п. Важно отметить, что многие согласны с тем, что инициирование действий может происходить исключительно в Интернете, например, через видео или письменные сообщения от админов сообщества или через форумы онлайн-чатов, электронную почту, сообщения в социальных сетях [19. Р. 4]. Быть знакомым с такими событиями в электронных СМИ, а не в реальном мире, оказывается вполне достаточным для того, чтобы человек каким-либо образом идентифицировал себя с жертвой «творящегося вокруг него зла».

Заключение

Итак в нашей статье на основе имеющейся литературы по радикализации в первую очередь мы определились с ее пониманием. Рассмотрев существующие подходы, мы присоединились к мнению о том, что радикализм лишь в некоторых случаях приводит к насилию. Потому следует различать *когнитивную* радикализацию или формирование крайних убеждений, и радикализацию *поведенческую*, приводящую к экстремистскому поведению. Тем самым, радикализация означает процесс принятия некоторых идей, которые *могут* руководить возможными насильственными действиями.

Онлайн-радикализация – реальность, сформировавшаяся в последние 10–15 лет в связи с бурным развитием онлайн-социальных сетей. Ее можно понимать как формирование тех же крайних взглядов, но преимущественно путем взаимодействия с различными типами интернет-контента, нежели прямого личностного общения или письменного изучения агитационных материалов. И опять-таки в онлайн-случае следует говорить о когнитивной и поведенческой онлайн-радикализации.

Также на основе мониторинга соответствующих источников мы разработали модель факторов риска, которые и могут запустить процесс радикализации. Из множества возможных факторов мы выбрали, как нам представляется, наиболее существенные.

Во-первых, это *факторы риска социального макроуровня*, нарушающие нормы, гомеостаз, создающие внутренние напряжения: длящийся конфликт с Западом и экзистенциальные угрозы его эскалации; распространенность идеологий, нормализующих насилие; складывание новой информационно-смысловой среды фейков и симулякров; социально-экономические проблемы; опасности социальной дезинтеграции.

Во-вторых, подобные тревожащие события, деструктивные идеологии, вереница проблем и нежелательные явления атакуют психологию и мышление молодых людей, превращаясь в *возрастно-психологические факторы риска* их изменений в пагубном направлении: поиск новой принадлежности, провокационное поведение и неконформизм. Мы полагаем, что начало радикализации среди молодых людей инициируется неспособностью некоторых из них удовлетворительно решать свои возрастные задачи развития – в контексте нарастания проблематизации социального окружения.

Наконец, предложена модель механизмов онлайн-радикализации – как реализации потенциала, складывающегося офлайн, – посредством и через формы, сложившиеся в практиках социальных сетей. Это взаимоувязанные механизмы: компенсации уязвимости, закрепления изоляции посредством онлайн-погружения, эффективной агитации-и-организации (фасилитации), эхо-камер, ускорения и запуска действия.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Интернет не может «управлять» радикализацией людей в одиночку, онлайн-социальные сети не могут заменить реальный активизм. Онлайн-радикализация – лишь посредник в процессе радикализации, вспомогательный инструмент, а онлайн- и офлайн-факторы (возрастных уязвимостей) играют взаимосвязанные роли.

Полученные результаты могут иметь и практическое значение для профилактики и правонарушений, и крайних идей. Ведь радикализация начинается в

большинстве случаев все же «в реале», в форме факторов, выталкивающих людей из нормальной социальной среды, делающих их более восприимчивыми к искушающему радикальному онлайн-контенту. Молодые люди, бросающие учебу или работу, находящиеся в явной фрустрации, в изоляции-отчуждении, могут быть особо уязвимыми для экстремистского интернет-контента. Знание признаков и идентификация этих людей до того, как они начнут радикализироваться, важно для заблаговременного запуска процессов их возвращения в нормальную социальную среду.

Также выявить тех, кто будет применять насилие среди тех, кто использует крайнюю риторику, но не прибегает к насилию, еще более сложно. Мониторинг радикальных веб-сайтов может быть недостаточно. Описание и формулирование признаков возрастных уязвимостей и онлайн-механизмов радикализации могут стать ориентирами для формулировок вопросов-зондирований студенческой аудитории с целью выявления потенциала радикализации в том или ином конкретном высшем учебном заведении.

Список источников

1. Conway M. Determining the Role of the Internet in Violent Extremism and Terrorism: Six Suggestions for Progressing Research // *Studies in Conflict & Terrorism*. 2017. № 40 (1). P. 77–98. doi: 10.1080/1057610X.2016.1157408
2. Bastug M. et al. Exploring the «demand side» of online radicalization: Evidence from the Canadian context // *Studies in Conflict & Terrorism*. 2020. № 43 (7). P. 616–637. doi: 10.1080/1057610X.2018.1494409
3. Winter C. et al. Online extremism: Research trends in internet activism, radicalization, and counter-strategies // *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*. 2021. № 14. P. 1–20. <https://doi.org/10.4119/ijcv-3809>
4. Сакаев В.Т. Понятие радикализации: обзор научных подходов в современной зарубежной литературе // *Антиномии*. 2021. Т. 21, вып. 2. С. 45–72. doi 10.17506/26867206_2021_21_2_45
5. Sageman M. The Turn to Political Violence in the West // *Jihadi Terrorism and the Radicalization Challenge: European and American Experiences* / ed. by Rik Coolsaet. 2ed. London ; New York : Routledge, 2016. P. 117–129.
6. Franc R., Pavlović T. Inequality and Radicalisation: Systematic Review of Quantitative Studies // *Terrorism and Political Violence*. 2023. № 35 (4). P. 785–810. doi: 10.1080/09546553.2021.1974845
7. McCauley C., Moskalenko S. Understanding political radicalization: The two-pyramids model // *American Psychologist*. 2017. № 72 (3). P. 205–216.
8. Bowman-Grieve L. A psychological perspective on virtual communities supporting terrorist & extremist ideologies as a tool for recruitment // *Security Informatics*. 2013. № 2. Article number: 9. <https://doi.org/10.1186/2190-8532-2-9>
9. Wolfowicz M. et al. PROTOCOL: What are the effects of different elements of media on radicalization outcomes? A systematic review // *Campbell Systematic Reviews*. 2021. Vol. 17, iss. 1. <https://doi.org/10.1002/cl2.1148>
10. Molmen G. et al. Mechanisms of online radicalisation: how the internet affects the radicalisation of extreme-right lone actor terrorists // *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*. 2023. № 15 (4). P. 463–487. doi: 10.1080/19434472.2021.1993302
11. Beelmann A. A social-developmental model of radicalization: A systematic integration of existing theories and empirical research // *International Journal of Conflict and Violence*. 2020. № 14 (1). P. 1–14. <https://doi.org/10.4119/ijcv-3778>
12. Красиков В.И. и др. Российская студенческая молодежь и онлайн-сообщества с риторикой политической вражды в социальных сетях: узнаваемость и влияние // *Вестник Российской правовой академии*. 2023. № 4. С. 132–154.
13. Schröder C. et al. Radicalization in Adolescence: the Identification of Vulnerable Groups // *Eur J Crim Policy Res*. 2022. № 28. P. 177–201. <https://doi.org/10.1007/s10610-022-09505-x>

14. Muxel A. Political Radicalism Among the Younger Generations // Youth and Globalization. 2020. № 2(2). P. 123–136. <https://doi.org/10.1163/25895745-02020001>
15. Gill P. et al. Terrorist use of the internet by the numbers // Criminology & Public Policy. 2017. Vol. 16, № 1. P. 99–117. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12249>
16. Barberá P. Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization // Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform (SSRC Anxieties of Democracy) / eds. N. Persily, J. Tucker. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. P. 34–55. doi: 10.1017/9781108890960
17. Klausen J. et al. Toward a Behavioral Model of “Homegrown” Radicalization Trajectories // Studies in Conflict & Terrorism. 2020. Vol. 43, № 7. P. 588–615. doi: 10.1080/1057610X.2018.1492819
18. Beadle S. How does the Internet facilitate radicalization. London, England: War Studies Department, King's College. 2017. URL: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:PvZp-bomZcfQJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5
19. Anderson A. Online utilization for terrorist self-radicalization purposes // Online terrorist propaganda, recruitment, and radicalization. CRC Press, 2019. P. 3–32. <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315170251/chapters/10.1201/9781315170251-1>

References

1. Conway, M. (2017) Determining the Role of the Internet in Violent Extremism and Terrorism: Six Suggestions for Progressing Research. *Studies in Conflict & Terrorism*. 40(1). pp. 77–98. DOI: 10.1080/1057610X.2016.1157408
2. Bastug, M. et al. (2020) Exploring the “demand side” of online radicalization: Evidence from the Canadian context. *Studies in Conflict & Terrorism*. 43(7). pp. 616–637. DOI: 10.1080/1057610X.2018.1494409
3. Winter, C. et al. (2021) Online extremism: Research trends in internet activism, radicalization, and counter-strategies. *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*. 14. pp. 1–20. DOI: 10.4119/ijcv-3809
4. Sakaev, V.T. (2021) Ponyatie radikalizatsii: obzor nauchnykh podkhodov v sovremennoy zarubezhnoy literature [The concept of radicalization: A review of scientific approaches in modern foreign literature]. *Antinomii*. 21(2). pp. 45–72. DOI: 10.17506/26867206_2021_21_2_45
5. Sageman, M. (2016) The Turn to Political Violence in the West. In: Coolsaet, R. (ed.) *Jihadi Terrorism and the Radicalization Challenge: European and American Experiences*. 2ed. London; New York: Routledge. pp. 117–129.
6. Franc, R. & Pavlović, T. (2023) Inequality and Radicalisation: Systematic Review of Quantitative Studies. *Terrorism and Political Violence*. 35(4). pp. 785–810. DOI: 10.1080/09546553.2021.1974845
7. McCauley, C. & Moskalenko, S. (2017) Understanding political radicalization: The two-pyramids model. *American Psychologist*. 72(3). pp. 205–216.
8. Bowman-Grieve, L. (2013) A psychological perspective on virtual communities supporting terrorist & extremist ideologies as a tool for recruitment. *Security Informatics*. 2. Article 9. DOI: 10.1186/2190-8532-2-9
9. Wolfowicz, M. et al. (2021) PROTOCOL: What are the effects of different elements of media on radicalization outcomes? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*. 17(1). DOI: 10.1002/cl2.1148
10. Mølmen, G. et al. (2023) Mechanisms of online radicalisation: how the internet affects the radicalisation of extreme-right lone actor terrorists. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*. 15(4). pp. 463–487. DOI: 10.1080/19434472.2021.1993302
11. Beelmann, A.A. (2020) A social-developmental model of radicalization: A systematic integration of ex-isting theories and empirical research. *International Journal of Conflict and Violence*. 14(1). pp. 1–14. DOI: 10.4119/ijcv-3778
12. Krasikov, V.I. et al. (2023) Rossiyskaya studencheskaya molodezh' i onlayn-soobshchestva s ritorikoy politicheskoy vrazhdy v sotsial'nykh setyakh: uznavaemost' i vliyatel'nost' [Russian student youth and online communities with the rhetoric of political hostility in social networks: Recognition and influence]. *Vestnik Rossiyskoy pravovoy akademii*. 4. pp. 132–154.
13. Schröder, C. et al. (2022) Radicalization in Adolescence: The Identification of Vulnerable Groups. *The European Journal on Criminal Policy and Research*. 28. pp. 177–201. DOI: 10.1007/s10610-022-09505-x

14. Muxel, A. (2020) Political Radicalism Among the Younger Generations. *Youth and Globalization*. 2(2). pp. 123–136. DOI: 10.1163/25895745-02020001
15. Gill, P. et al. (2017) Terrorist use of the internet by the numbers. *Criminology & Public Policy*. 16(1). pp. 99–117. DOI: 10.1111/1745-9133.12249
16. Barberá, P. (2020) Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization. In: Persily, N. & Tucker, J. (eds) *Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform* (SSRC Anxieties of Democracy). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 34–55. DOI: 10.1017/9781108890960
17. Klausen, J. et al. (2020) Toward a Behavioral Model of “Homegrown” Radicalization Trajectories. *Studies in Conflict & Terrorism*. 43(7). pp. 588–615. DOI: 10.1080/1057610X.2018.1492819
18. Beadle, S. (2017) *How does the Internet facilitate radicalization*. London, England: War Studies Department, King's College. [Online] Available from: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:PvZpbomZcfQJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5
19. Anderson, A. (2019) Online utilization for terrorist self-radicalization purposes. In: *Online terrorist propaganda, recruitment, and radicalization*. CRC Press. pp. 3–32. [Online] Available from: <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315170251/chapters/10.1201/9781315170251-1>

Сведения об авторе:

Красиков В.И. – доктор философских наук, профессор; главный научный сотрудник центра научных исследований Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (Москва, Россия); профессор кафедры истории, философии и литературы Государственного института театрального искусства (ГИТИС) (Москва, России). E-mail: KrasVladIv@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Krasikov V.I. – Dr. Sci. (Philosophy), professor; chief researcher of the Center for Scientific Research of the All-Russian State University of Justice (Moscow, Russian Federation); professor of the Department of History, Philosophy and Literature of the Russian Institute of Theater Arts (Moscow, Russian Federation). E-mail: KrasVladIv@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 16.02.2024;
одобрена после рецензирования 17.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 16.02.2024;
approved after reviewing 17.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 304.2+378.4

doi: 10.17223/1998863X/80/11

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРИОРИТЕТОВ ВЫПУСКНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Владимир Валерьевич Петров

*Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск, Россия,*

*Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Новосибирск, Россия, vvpetrov@mail.nsu.ru*

Аннотация. Показано, что ядром совокупного социального потенциала является научно-образовательный потенциал. Обосновано, что поскольку высшая школа включена в работу специфических социальных институтов науки, образования и информации, то уровень мотивации молодых специалистов, вовлекаемых в сферу исследований и разработок, выступает в качестве одного из значимых критериев прогноза формирования совокупного социального потенциала.

Ключевые слова: социальные институты, университетские системы, человеческий капитал

Для цитирования: Петров В.В. Формирование социального потенциала: динамика изменений приоритетов выпускников отечественной высшей школы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 123–135. doi: 10.17223/1998863X/80/11

Original article

SOCIAL POTENTIAL FORMATION: DYNAMICS OF CHANGES IN PRIORITIES OF NATIONAL HIGHER EDUCATION GRADUATES

Vladimir V. Petrov

*Institute of Philosophy and Law Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation;*

*Novosibirsk National Research State University,
Novosibirsk, Russian Federation, vvpetrov@mail.nsu.ru*

Abstract. As part of a change in the vector of globalization development, a revision of approaches to the formation of social potential, which is a systemic set of abilities and capabilities of individuals and social groups, is required, ensuring social reproduction. The formation and reproduction of social potential occurs in an ensemble of fields of social interactions, which include culture, education, science, economics, etc. Modern higher school at the national, state and global levels is included in the work of specific social institutions that formalize, normalize and organize all types and forms of activities existing in society in these key areas. Therefore, from the point of view of the total social potential of society, educational potential is, first of all, the educational level of the current population as a result of previous educational activities. Consequently, in the structure of the total social potential, educational potential can act as a resource support for any educational activity, i.e., the social institution of education and its core – the education system. Accordingly, based on the dynamics of changes in the priorities of higher school graduates, we can build a forecast

of changes in the total social potential. Since universities, focused primarily on training personnel for the production of fundamental knowledge, act as the “flagships” of the education system, it is their development that is the most important prerequisite for socio-political, socio-economic and socio-cultural changes that influence the formation of the overall social potential. The results of annual sociological research conducted at Novosibirsk State University show the continued positive dynamics of the young specialists’ involvement in the scientific and educational sphere. At the same time, engaging in scientific activity as a value for which one enters a master’s program, is losing its position. If it turns out to be possible to create mechanisms for university graduates’ professional growth, then the training of scientific personnel can act as a tool for improving the quality of the intellectual characteristics of the total social potential.

Keywords: social institutions, university systems, human capital

For citation: Petrov, V.V. (2024) Social potential formation: dynamics of changes in priorities of national higher education graduates. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 123–135. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/11

В результате произошедших в начале 2020-х гг. деглобализационных процессов главным критерием успеха отдельных государств становится уже не столько достижение высоких темпов экономического роста, сколько обеспечение перехода к моделям устойчивого развития с сохранением национальной идентичности. В рамках происходящего перехода требуется пересмотр подходов к формированию социального потенциала [1–3], дискуссии о котором ведутся с конца 1970-х гг., позволяя существенно расширить традиционно использующуюся категорию «трудовые ресурсы»¹ за счет наполнения ее качественно новым – социальным – содержанием.

В самом широком смысле социальный потенциал представляет системную совокупность способностей и возможностей индивидов и социальных групп, обеспечивая общественное воспроизводство. Он может определяться как потенциал сложной самоорганизующейся динамической системы, который формируется и воспроизводится в результате социокультурных и socio-экономических действий, взаимодействий, отношений и деятельности, осуществляющихся в социальном пространстве, под которым мы понимаем абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей [5. С. 53]. В определенных условиях и при наличии необходимых ресурсов социальный потенциал реализуется в труде, выступая в качестве конкурентного преимущества и обеспечивая действия, взаимодействия, отношения и социальную деятельность его носителей.

Проблему, рассматриваемую в настоящей работе, можно сформулировать следующим образом: с одной стороны, существует реальная потребность общества в эффективном развитии и реализации социального потенциала, но, с другой стороны, отсутствует понимание, какими могут быть механизмы и технологии его воспроизводства в изменившихся социокультурных условиях.

По мнению Т. Пикетти, в качестве ядра социального потенциала выступает кадровый потенциал, который представляет собой «человеческий капитал», сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций,

¹ До середины 1970-х гг. понятие «трудовые ресурсы» носило преимущественно экономический характер, выражаясь в количественной характеристике трудоспособного населения какой-либо определенной территории [4. С. 12].

целесообразно использующихся в процессе труда, содействуя росту его производительности и заработка [6. С. 487]. Необходимо отметить, что классификация видов человеческого капитала возможна по разным основаниям и в разных целях, например: капитал здоровья, трудовой капитал, культурно-нравственный капитал, интеллектуальный капитал и др. При этом повышение роли человеческого капитала позволяет сократить долю земельного, недвижимого и финансового капитала. В свою очередь, П. Бурдьё обращает внимание на тот факт, что формирование и воспроизведение социального потенциала происходит в ансамбле полей социальных взаимодействий, к которым относятся культура, образование, наука, экономика и т.д. Собственно социальные взаимодействия и деятельность обусловлены конкретными проявлениями возможностей действующих агентов, их способностями к активности (включая труд), а также совокупностью имеющихся в их распоряжении ресурсов [7. С. 153]. Поскольку анализ социального потенциала конкретного общества предполагает структурирование последнего на базовые компоненты (подсистемы, если рассматривать само общество как систему), для нас также важен взгляд известных социологов и историков. Мы обращаемся к позиции А. Тойнби, в которой выделен ряд критериев для структурирования общества. В рамках предлагаемого им подхода границы общества могут быть обнаружены в пересечении трех планов социальной жизни – экономического, политического и культурного, причем каждый из этих планов имеет свои границы распространения [8. С. 40]. По оценке А. Тойнби, «культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации», а «двигательная сила экономического элемента оказывается наиболее мощной» [8. С. 355–356]. Другой, не менее широко известный философ, социолог, экономист, общественный деятель, историк К. Маркс в своей работе «К критике политической экономии» выделяет в качестве взаимодействующих компонентов общества экономическую структуру, социальный, политический и духовный процессы: «Совокупность... производственных отношений, составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальных благ жизни обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще» [9. С. 6]. Ф. Бродель, представляя общество как сложное структурное единство, отмечает, что в данное «множество множеств» [10. С. 453] входят в обязательном порядке экономика, социальная иерархия (социальные рамки), политика и культура, причем каждое из данных составляющих подразделяется на ряд подмножеств «и далее в таком же роде» [10. С. 453].

Отталкиваясь от обозначенных представлений, можно сделать вывод о том, что каждое конкретное общество представляет собой единство во времени и пространстве основных сфер социальной жизни: во-первых, экономики, включающей в себя производство и отношения, возникающие между индивидами в процессе производства; во-вторых, политики, объединяющей институты власти и сферу властных отношений всех типов, возникающих в обществе; в-третьих, собственно культуры (культуры в узком смысле слова, но, в принципе, в данную область можно отнести все, что не вошло в совокупности, объединяемые другими двумя понятиями).

Единство сфер социальной жизни – экономики, политики, собственно культуры – формирует комплекс, характеризующий конкретное общество. Поэтому именно эти три сферы социальной жизни могут быть приняты за аккумулятор всего бытующего в современном мире социального запроса на продукцию высшей школы.

Социальные институты задают несколько иной срез членения общества – по организации и формализации социально значимой деятельности людей. Множественность видов конкретных носителей (коллективных или индивидуальных) деятельности, аналогичной и важной для существования общества, заставила его формализовать, нормировать и структурировать эту деятельность в рамках специфических виртуальных образований. Последние, возникая первоначально на уровне функции или роли, в дальнейшем выходят на уровень специфических учреждений и их систем. Системно организованные группы учреждений составляют ядро развернувшегося и стабилизировавшегося в конкретном обществе (обычно в ходе исторического процесса в рамках территориальных национально-государственных границ) соответствующего социального института. Каждый из них несет в себе особенности самой нормируемой деятельности, а также пройденного им в процессе своего формирования исторического пути.

Взаимодействие социальных институтов между собой и с общественным производством выражается, с одной стороны, по их запросам друг к другу на необходимые услуги и, с другой стороны, по реальному предоставлению друг другу результатов своей деятельности.

По мнению социолога Э. Гидденса, социальные институты «цементируют» общественную жизнь, обеспечивая общие соглашения, выработанные людьми в общении друг с другом, в результате чего достигается преемственность поколений [11. С. 277].

Таким образом, сферы социальной жизни являются ведущим компонентом базовой структуры общества. Во-первых, они носят изначальный характер по своему происхождению и на них как бы наслаивается все остальное. Во-вторых, социальные институты формализуют те реальности, которые функционируют внутри этих сфер. В-третьих, социальные структуры вне зависимости от их характера и разнообразия формируются не без воздействия особенностей социальной жизни. В-четвертых, в современных развитых обществах последними задается специфика профессиональной деятельности и связанной с этим статусной позиции. Подготовка специалистов в высшей школе традиционно связана с теми профессиональными занятиями, которые требуют от своих исполнителей квалификации высокого уровня.

Современная высшая школа на национально-государственном и глобальном уровнях включена в работу специфических социальных институтов, формализующих, нормирующих и организующих все виды и формы существующей в обществе деятельности по ключевым направлениям. Мы можем выделить, во-первых, трансляцию в пространстве и времени социально значимой информации, ориентированной на формирование социально заданного типа личности (социальный институт образования); во-вторых – производство научного фундаментального и прикладного знания и его преобразование для возможного практического применения (социальный институт науки); и, наконец, в-третьих – деятельность по аккумуляции, хранению и преобразо-

ванию в удобный для потребления вид как накопленной, так и вновь появляющейся в социуме информации (социальный институт информации).

Превратившись в массовую образовательную структуру, став обладателем крупных информационных фондов, занимая приоритетные позиции по развитию фундаментальной науки и постепенно расширяя свое присутствие в прикладных исследованиях и разработках, современная высшая школа обеспечивает системную связь между производством фундаментального знания и его трансляцией. Опыт развития высшей школы в условиях системных общественных трансформаций на протяжении всей ее многовековой истории подтверждает неразрывность функций генерации, хранения и трансляции знаний, которые в современном мире выступают в качестве общественно значимой информации [12. С. 12].

Поэтому с точки зрения совокупного социального потенциала общества образовательный потенциал – это, прежде всего, образовательный уровень наличного населения как результат предшествующей образовательной деятельности.

Следовательно, в структуре совокупного социального потенциала образовательный потенциал может выступать как ресурсное обеспечение любой образовательной деятельности, т.е. социального института образования и его ядра – системы образования [13. С. 60]. Соответственно, по динамике изменений приоритетов выпускников высшей школы мы можем выстраивать прогноз изменения совокупного социального потенциала. Но подчеркнем еще раз, в классическом западном понимании производством научного знания занимаются университеты, которые создают идеи, при этом правительство формирует нормативную базу, а бизнес обеспечивает ресурсами. В российской модели развития науки и образования исторически сложился иной подход, когда научными исследованиями занимались институты специально созданной для этого Академии наук, в то время как на университеты возлагалась преимущественно функция трансляции полученных знаний в виде информации [14. С. 193]. Именно поэтому в российских реалиях с точки зрения формирования социального потенциала необходимо рассматривать систему образования (высшая школа) и систему производства фундаментального знания (академические структуры) не по отдельности, а в совокупности как единую – университетскую – систему¹. В современных условиях воспроизводство исследовательских кадров является крайне актуальным направлением, для которого в отечественном научно-образовательном пространстве разрабатываются различные механизмы привлечения молодежи и создается комфортная среда. Так, в 2022 г. разработан национальный проект «Наука и университеты», который, по замыслу разработчиков, помогает «молодежи прийти в мир инноваций и открытий и приносить реальную пользу обществу и экономике» [15]. Данные возможности могут быть реализованы через грантовые конкурсы, исследовательские инициативы, развитие научной инфраструктуры в университетах и др.

¹ Под университетской системой мы понимаем комплекс упорядоченно взаимодействующих взаимозависимых структур, образующих единое целое, который включает в себя, во-первых, образовательную структуру, осуществляющую трансфер знаний и технологий, во-вторых, научные структуры, занимающиеся производством фундаментального знания, в-третьих, экспериментально-производственные структуры, способствующие выводу на региональный и глобальный рынки новых разработок и технологий [14. С. 10]

По мнению Министерства науки и высшего образования РФ, реализуемые программы мегагрантов способны существенно увеличить приток научной молодежи в сферу исследований и разработок. Так, в 2022 г. прошел девятый конкурс на получение мегагрантов, из 44 стран поступило 293 заявки. По итогу отобраны 30 победителей из 18 стран [16].

По данным Института современных медиа (MOMRI – Modern Media Research Institute), по итогам 2022 г. доля россиян, считающих работу в науке привлекательной, превысила 60%, при этом среди возрастных групп 25–34 лет этот показатель составляет 52%, а среди молодежи, включая выпускников вузов 18–24 лет, достигает 62%. Авторами исследования утверждается, что максимальный рост показателей произошел именно среди молодежи (от 18 до 35 лет): по итогам 2021 г. о привлекательности работы в науке высказывались лишь 46% опрошенных 18–24 лет и 39% среди 25–34-летних, а около половины представителей данной группы отзывались о работе в науке негативно [17]. В то же время, по мнению В. Матвиенко, проблема привлечения в науку молодых талантливых выпускников университетов по-прежнему остается ключевой [18].

Проведенное в 2022 г. исследование, в ходе которого учитывались три ключевых критерия: жилищные меры поддержки молодых ученых, наличие грантов и специальные меры поддержки, показало, что 22 субъекта предлагают специализированные программы обеспечения молодых специалистов жильем, но только 11 из них реализуются. При этом 60 российских субъектов предлагают и реализуют специализированные программы грантовой поддержки ученых [19].

Поскольку университеты, ориентированные, прежде всего, на подготовку кадров для производства фундаментального знания, выступают в качестве «флагмана» системы образования, то именно их развитие является важнейшей предпосылкой социально-политических, социально-экономических и социально-культурных изменений, влияющих на формирование совокупного социального потенциала.

В этой связи нам представляется целесообразным обратиться к опыту Новосибирского национального исследовательского государственного университета, концептуально ориентированного на производство высококвалифицированных кадров для научно-образовательного сектора. Напомним, что концептуально Новосибирский государственный университет был создан в составе Новосибирского научного центра по инициативе академика М.А. Лаврентьева как неотъемлемая часть триады «наука – внедрение – подготовка кадров», получившей в дальнейшем известность как «Треугольник Лаврентьева» [14. С. 151]. Предполагалось, что студенты университета, начиная с третьего курса, проходят учебную подготовку в научно-исследовательских институтах, используя мощности и лабораторную базу Академии наук, что должно способствовать их раннему вовлечению в научную деятельность и формированию устойчивого интереса к фундаментальным и прикладным исследованиям. При таком подходе академические институты получали возможность определять вектор дальнейшего развития социального потенциала за счет формирования интеллектуальной составляющей.

Мы обратились к результатам ежегодных социологических исследований, проводимых в Новосибирском государственном университете [20], цель

которых – выявить проблемные точки развития университета и определить профессиональные предпочтения выпускников.

В 2022 г. опрос выпускников был проведен в мае–июне в форме раздаточного анкетирования при организационной поддержке дирекций институтов и деканатов факультетов НГУ. Всего опрошен 1 271 человек (из них выпускников бакалавриата – 890, специалитета – 43, магистратуры – 338), что составляет 70% от общего количества выпускников. Для того чтобы оценить динамику изменения профессиональных предпочтений выпускников, мы параллельно обратились к данным предшествующих лет. Особый интерес для нас представляет 2019 г., который, будучи последним «доковидным» годом, явился «рубежом» возникновения и распространения новых образовательных технологий и подходов.

Анкета включала тематические блоки, связанные с оценкой как отдельных аспектов образовательной среды университета, так и приобретенных знаний и навыков, полученных в процессе обучения. Часть вопросов была связана с оценкой работы преподавательского сообщества, а также с механизмами оценки текущей и промежуточной аттестации. Отдельный блок вопросов был разработан специально для выявления трудовой занятости выпускников, а также их дальнейших образовательных и трудовых намерений.

В 2022 г. студенты-выпускники в целом высоко оценили условия для обучения и преподавания на своих факультетах (отделениях): ими удовлетворены порядка 95,6 и 90,0% опрошенных соответственно. По степени удовлетворенности участием в научных исследованиях уровень остается в пределах 80%, что в целом соотносится с прошлогодними показателями. Традиционно достаточно высоко студенчеством оценивалось и наличие дополнительных возможностей развития (открытые лекции, образовательные семинары, мастер-классы), а также участие во внеучебных мероприятиях и занятия спортом – по сравнению с 2019 г. этот показатель вырос почти на 5 пунктов, с 68,3 до 73,1%. Более критично студенты оценивали возможность участия в международных научных мероприятиях, исследованиях, стажировках, уровень которого в сравнении с 2019 г. несколько снизился.

По сравнению с исследованием 2021 г. доля студентов выпускных курсов, полностью удовлетворенных преподаванием, увеличилась с 30,3 до 33%. Доля студентов, которые «скорее удовлетворены», снизилась на 4,7 пункта за счет увеличения доли ответов «затрудняюсь ответить», «скорее не удовлетворен» (с 5,1% в 2021 г. до 6% в 2022 г.) и «не удовлетворены» (с 0,4% в 2021 г. до 1% в 2022 г.).

В сравнении с выпуском студентов 2021 г. картина удовлетворенности различными аспектами образовательной среды НГУ радикально поменялась: доля лояльных бакалавров увеличилась и в некоторых аспектах стала выше доли удовлетворенных магистрантов. Это можно объяснить тем, что студенты бакалавриата в 2022 г. больше принимали участие во внеучебных, карьерных и спортивных мероприятиях. Более того, некоторые показатели аспектов образовательной среды НГУ незначительно возросли в сравнении с ответами в 2021 г. Наибольшее увеличение позитивных оценок происходит в отношении возможности участвовать в научных исследованиях – для магистрантов и бакалавров; во внеучебных мероприятиях – для бакалавров, что нельзя сказать об участии в международных мероприятиях представителей разного

уровня образования (показатель снизился на 20% у бакалавров и на 15% – у магистрантов в сравнении с ответами в 2021 г.). Положительная динамика также наблюдается и для показателя «занятия спортом» у бакалавров (показатель вырос с 69,6 до 78,0%).

Примечательно, что когда студентам-выпускникам было предложено гипотетически повторить выбор вуза и направления обучения, то 66,5% респондентов снова выбрали бы то же направление обучения в НГУ, по которому они получают диплом. Но при этом растет интерес к другим специальностям и специализациям: выбрали бы другое направление обучения на своем факультете 8,3% опрошенных, что немного выше, чем в 2021 г., а другой факультет НГУ – 10,5%. В целом, доля выпускников, вновь бы выбравших НГУ в 2022 г., составила 85,3%, что соотносимо с показателями 2021 г. (85,1%). При этом 79% выпускников 2022 г. считают, что им достаточно знаний и навыков для того, чтобы успешно работать по специальности, полученной в университете, что также практически полностью повторяет результаты 2021 г.

Таким образом, мы можем констатировать, что в целом образовательная среда в НГУ является достаточно комфортной для обучения. В то же время, обращаясь к образовательным и трудовым намерениям студентов выпускных курсов в 2022 г., мы выявили следующие факты, заслуживающие пристального внимания.

Большинство выпускников бакалавриата НГУ намерены продолжить образование после получения диплома. Отказываются от таких планов почти треть от этой части выпускников, 10,2% не определились на момент опроса. Третья часть респондентов, кто хотел бы получить высшее образование следующего уровня, ориентированы на магистратуру НГУ (36,0% выпускников бакалавриата). По сравнению с предыдущими опросами среди выпускников бакалавриата снижается численность тех, кто планирует учиться в магистратуре НГУ.

На продолжение образования в НГУ ориентированы в первую очередь студенты факультетов естественно-научных и точных направлений.

Основными мотивами продолжить обучение в магистратуре являются желание/потребность получить более конкурентоспособный диплом, чем диплом бакалавра или специалиста (56%) и расширить уже приобретенные знания (51,0%). Чуть меньше половины выпускников считают, что с дипломом магистра начнут или продолжат научную деятельность (45%). Для тех, кто намерен учиться в магистратуре НГУ, значимым стало продолжение научной деятельности (57%) и расширение ранее полученных знаний (53%). Распределение мотивов выпускников НГУ 2022 г. при поступлении в магистратуру отображено на рис. 1.

Если сравнивать рейтинги мотивов для планирующих продолжение обучения на магистерских программах НГУ, как приоритетный сохранился мотив «начать или продолжить в магистратуре научную деятельность» – 57%, хотя показатели и снизились по сравнению с предыдущими годами; на втором месте – расширить ранее полученные знания, но доля назвавших его сократилась с 65,0% в 2021 г. до 53% в 2022 г. Менее значимы бытовые факторы: возможность получить место в общежитии – 17% (на 2 пункта сократилась доля в сравнении с 2021 г.), возможность переехать в другой го-

род/страну – 7% (9,8% в 2021 г.). Более актуальной среди причин учебы в магистратуре стала возможность получить отсрочку от армии – 30% (28,7% в 2021 г.).

Половина выпускников магистратуры намерены продолжить обучение в аспирантуре (50,9%), при этом 26,8% выпускников магистратуры хотела бы учиться в аспирантуре НГУ, 19,5% – в аспирантуре институтов Новосибирского научного центра, 4,6% готовы уехать в другие университеты или образовательные организации, чтобы получить высшее образование третьего уровня. По сравнению с 2021 г. магистрантов, ориентированных на обучение в аспирантуре, стало больше (год назад о таких планах сообщили 49,8%, из них: планировали учиться в аспирантуре НГУ 26,4%, в институтах ННЦ – 18,8%, в других местах – 4,6%).



Рис. 1. Мотивы выпускников НГУ 2022 г. при поступлении в магистратуру, % (использованы данные ЦРК НГУ [20])

Основные мотивы обучения в аспирантуре НГУ и институтов Новосибирского научного центра совпадают: продолжение научной деятельности, подготовка и защита кандидатской диссертации, получение ученой степени для карьеры и будущей профессиональной деятельности. Выпускников, которые хотели бы обучаться в аспирантуре в других университетах или образовательных учреждениях, больше всего привлекает возможность переезда в другой город/страну, обогащение ранее полученных знаний, получение диплома престижной аспирантуры.

По результатам проведенных исследований, на научную деятельность ориентирован каждый пятый выпускник-бакалавр НГУ, каждый третий специалист и магистр.

В занятости студентов выпускных курсов проявляется специфика образовательной модели НГУ: 39% респондентов из тех, кто на момент получения диплома работает и не планирует менять место работы, заняты в научной сфере. Поскольку в анкете не спрашивалось о режиме текущей занятости, то можно лишь предполагать, что для многих эта занятость частичная, по гибкому графику, на «младших» должностных позициях. Тем не менее полученные данные косвенно подтверждают, что большинство выпускников, ориентированных на карьеру в науке, оказались вовлечены в научную деятельность еще в процессе обучения.

Частичная неопределенность образовательных и профессиональных планов выпускников отражается и в неопределенности с будущим местом жительства для 25,0% респондентов выборки. Намерены жить в Академгородке 35% опрошенных, 28,5% – в Новосибирске. Столица привлекает 13,5% выпускников, увеличивается популярность Санкт-Петербурга – с 8,8% в 2019 г. до 10% в 2022 г. Планировали жить за границей 5,5% выпускников 2022 г., что на 3 пункта меньше в сравнении с показателем 2021 г. (рис. 2).

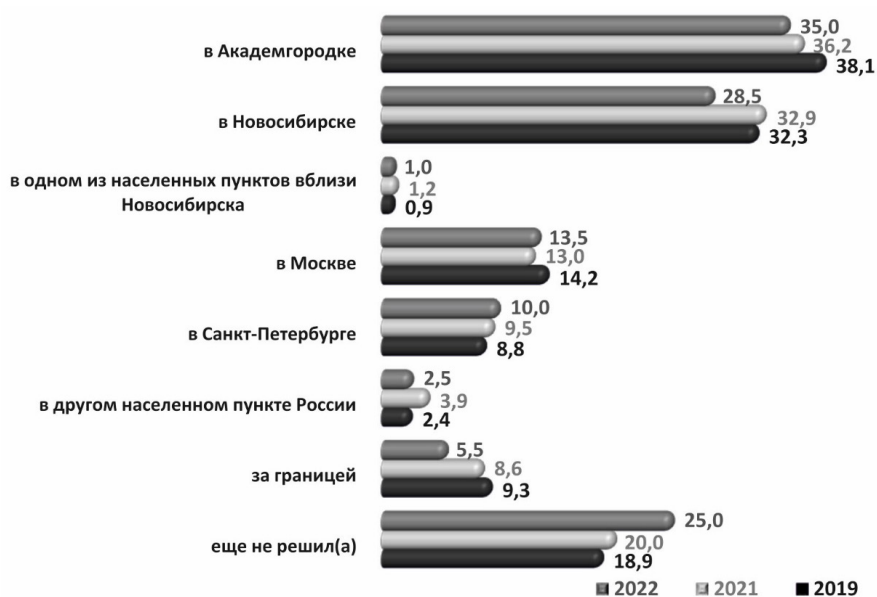


Рис. 2. Предполагаемое место жительства выпускников НГУ 2022 г. после получения диплома, % (использованы данные ЦРК НГУ [20])

Соответственно, полученные результаты в целом показывают сохранение положительной динамики вовлечения молодых специалистов в научно-образовательную сферу после окончания университета, что напрямую влияет на развитие совокупного социального потенциала. По данным предыдущих исследований [20], доля выпускников НГУ, продолжающих трудовую деятельность после окончания университета на территории Новосибирска и Новосибирской области, традиционно была в пределах 70–80%, позволяя формировать региональный социальный потенциал. При этом доля выпускников, занятых в научном секторе, колеблется в пределах от 31 до 41%, в сфере образования – от 12 до 17%. Данные показатели могут свидетельствовать, что привлекательность научно-образовательного сектора для молодых

специалистов не снижается, теоретически позволяя сделать вывод о повышении качественных показателей социального потенциала. С другой стороны, необходимо отметить, что несколько меняется причина такой привлекательности: так, по сравнению с 2019 г. причина выбора магистратуры НГУ «расширю полученные знания» снизилась на 12,3%, «начну или продолжу научную деятельность» – на 5,2%, «получу диплом престижного вуза» – на 12,4%. То есть занятие научной деятельностью как ценность, ради которой поступают в магистратуру, теряет свои позиции. Говорить о том, что возможным привлекательным фактором является исключительно решение жилищной проблемы, тоже не приходится – позиция «возможность получить место в общежитии» снизилась с 28,2 до 17,0%. На наш взгляд, причина может заключаться в другом: показатель «с дипломом магистра я смогу поступить в аспирантуру» вырос на 11,5% по сравнению с предыдущим годом (но при этом ориентация на расширение собственных знаний и занятие научной деятельностью, как мы отмечали выше, снизилась!), а если принять во внимание и «возможность получить отсрочку от армии» (рост на 3%), то не исключено, что в действие вступают защитные механизмы, которые может предоставить система подготовки кадров высшей квалификации как в процессе работы над кандидатской диссертацией, так и после ее успешной защиты. Безусловно, с точки зрения сохранения научных кадров это является несомненным плюсом. Однако с точки зрения формирования совокупного социального потенциала за счет качественного развития интеллектуальной составляющей данный подход может привести к негативным последствиям. Фактически в настоящих условиях формируется механизм, в рамках которого в развитие научно-образовательного сектора вовлекаются выпускники университета, нацеленные не столько на развитие фундаментальных и прикладных исследований, сколько на решение собственных проблем, используя сферу науки и образования в качестве вспомогательного ресурса. Соответственно, уровень мотивации молодых специалистов, вовлекаемых в сферу науки и образования, выступает в качестве одного из значимых критериев прогноза формирования совокупного социального потенциала.

Если окажется возможным проработать механизмы профессионального роста для молодежи, при которых не будет необходимости прибегать к сфере науки и образования как к защитному ресурсу, то такой подход положительно скажется на вовлечении в исследовательскую деятельность талантливых выпускников университетов, изначально на нее ориентированных. В этом случае подготовка научных кадров сможет выступать как инструмент повышения качества интеллектуальных характеристик совокупного социального потенциала.

Список источников

1. Докторович А.Б. Социальный потенциал как предмет системного исследования // Россия и современный мир. 2007. № 3. С. 179–189.
2. Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 122–139.
3. Солодовников С.Ю. Социальный капитал как фактор экономического роста. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/49277814.pdf> (дата обращения: 23.03.2023).
4. Костин Л.А. Проблемы экономики труда. Избранное : в 2 т. М. : АТиСО, 2005. Т. 1. 592 с.
5. Бурдые П. Социология социального пространства. М. ; СПб., 2005. 288 с.

6. Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. 592 с.
7. Бурдые П. Поле экономики // Социальное пространство: поля и практики. СПб. : Алетейя, 2014. С. 129–176.
8. Тойнби А.Дж. Постигание истории. М. : Прогресс, 2010. 736 с.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. 771 с.
10. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 2: Игры обмена. М., 1988. 677 с.
11. Гидденс Э., Бердсолл К. Социология. М., 2005. 629 с.
12. Водичев Е.Г. Высшая школа в условиях системных трансформаций: сравнительно-исторический аспект. Новосибирск : Гео, 2013. 396 с.
13. Петров В.В. Сдерживающие факторы формирования социального потенциала в условиях системных трансформаций // Философия образования. 2019. Т. 19, № 3. С. 57–70.
14. Петров В.В. Университетские системы в трансформирующихся обществах. Новосибирск : ИД «Манускрипт», 2020. 324 с.
15. Эксперты рассказали, как привлечь молодежь в науку // Парламентская газета. URL: <https://www.pnp.ru/social/eksperty-rasskazali-kak-privlech-molodezh-v-nauku.html> (дата обращения: 20.07.2023).
16. В. Фальков рассказал о мерах по привлечению молодежи в науку. URL: <https://regnum.ru/news/3767239> (дата обращения: 24.08.2023).
17. Назад в науку: молодежь снова считает работу в этой сфере достаточно привлекательной // Ведомости. 08.02.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/08/962095-nazad-v-nauku-molodezh-schitaet-rabotu-privlekatelnoi> (дата обращения: 13.02.2023).
18. В. Матвиенко предложила меры для привлечения молодежи в науку. URL: <https://rg.ru/2022/12/14/matvienko-predlozila-mery-dlia-privlecheniia-molodezhi-v-nauku.html> (дата обращения: 21.01.2023).
19. Лучшие практики региональных мер поддержки. Ведомости. 29.11.2023. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/11/29/luchshie-praktiki-regionalnih-mer-podderzhki (дата обращения: 29.11.2023).
20. Мониторинг трудоустройства выпускников // Центр развития карьеры НГУ. URL: <https://www.nsu.ru/n/career/> (дата обращения: 28.12.2023).

References

1. Doktorovich, A.B. (2007) *Sotsial'nyy potentsial kak predmet sistemnogo issledovaniya* [Social potential as a subject of systems research]. *Rossiya i sovremennyy mir*. 3. pp. 179–189.
2. Coleman, J. (2001) *Kapital sotsial'nyy i chelovecheskiy* [Social and human capital]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*. 3. pp. 122–139.
3. Solodovnikov, S.Yu. (n.d.) *Sotsial'nyy kapital kak faktor ekonomicheskogo rosta* [Social capital as a factor of economic growth]. [Online] Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/49277814.pdf> (Accessed: 23rd March 2023).
4. Kostin, L.A. (2005) *Izbrannoe: v 2 t.* [Selected Works: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: ATiSO.
5. Bourdieu, P. (2005) *Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space]. Translated from French. Moscow; St. Petersburg: [s.n.].
6. Piketty, T. (2015) *Kapital v XXI veke* [Capital in the 21st Century]. Translated from English. Moscow: Ad Marginem.
7. Bourdieu, P. (2014) *Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki* [Social Space: Fields and Practices]. St. Petersburg: Aletейя. pp. 129–176.
8. Toynbee, A.J. (2010) *Postizhenie istorii* [Understanding History]. Translated from English. Moscow: Progress.
9. Marx, K. & Engels, F. (1959) *Sochineniya* [Works]. 2nd ed. Vol. 13. Translated from German. Moscow: [s.n.].
10. Braudel, F. (1988) *Material'naya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm. XV–XVIII vv.* [Material Civilization, Economy, and Capitalism. 15th–18th Centuries]. Vol. 2. Moscow: Al'ma-Mater.
11. Giddens, A. & Birdsall, C.K. (2005) *Sotsiologiya* [Sociology]. Translated from English. Moscow: Editorial URSS.
12. Vodichev, E.G. (2013) *Vyshshaya shkola v usloviyakh sistemnykh transformatsiy: sravnitel'no-istoricheskiy aspekt* [Higher education in the context of systemic transformations: A comparative historical aspect]. Novosibirsk: Geo.

13. Petrov, V.V. (2019) Sderzhivayushchie faktory formirovaniya sotsial'nogo potentsiala v usloviyakh sistemnykh transformatsiy [Constraining factors in the formation of social potential in the context of systemic transformations]. *Filosofiya obrazovaniya*. 19(3). pp. 57–70.

14. Petrov, V.V. (2020) *Universitetskie sistemy v transformiruyushchikhsya obshchestvakh* [University systems in transforming societies]. Novosibirsk: Manuscript.

15. Flora, V. (2023) Eksperty rasskazali, kak privlech' molodezh' v nauku [Experts told how to attract young people to science]. *Parlamentskaya gazeta*. 18th January. [Online] Available from: <https://www.pnp.ru/social/eksperty-rasskazali-kak-privlech-molodezh-v-nauku.html> (Accessed: 20th July 2023).

16. *Regnum*. (2023) V. Fal'kov rasskazal o merakh po privlecheniyu molodezhi v nauku [V. Falkov spoke about measures to attract young people to science]. [Online] Available from: <https://regnum.ru/news/3767239> (Accessed: 24th August 2023).

17. *Vedomosti*. (2023) Nazad v nauku: molodezh' snova schitaet rabotu v etoy sfere dostatochno privlekatel'noy [Back to science: Young people again consider work in this field quite attractive]. 8th February. [Online] Available from: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/02/08/962095-nazad-v-nauku-molodezh-schitaet-rabotu-privlekatelnoi> (Accessed: 13th February 2023).

18. Goncharuk, D. (2022) V. Matvienko predlozhila mery dlya privlecheniya molodezhi v nauku [V. Matvienko proposed measures to attract young people to science]. [Online] Available from: <https://rg.ru/2022/12/14/matvienko-predlozhila-mery-dlia-privlecheniya-molodezhi-v-nauku.html> (Accessed: 21st January 2023).

19. *Vedomosti*. (2023) Luchshie praktiki regional'nykh mer podderzhki [Best practices of regional support measures]. 29th November. [Online] Available from: <https://www.vedomosti.ru/press-releases/2023/11/29/luchshie-praktiki-regionalnih-mer-podderzhki> (Accessed: 29th November 2023).

20. NSU Career Development Center. (n.d.) *Monitoring trudoustroystva vypusknikov* [Monitoring the employment of graduates]. [Online] Available from: <https://www.nsu.ru/n/career/> (Accessed: 28th December 2023).

Сведения об авторе:

Петров В.В. – кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела социальных и правовых исследований Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук; доцент кафедры социальной философии Института философии и права Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск, Россия). E-mail: vvpetrov@mail.nsu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Petrov V.V. – Cand. Sci. (Philosophy), docent, senior researcher, Department of Social and Legal Research, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation); associate professor, Department of Social Philosophy, Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk National Research State University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: vvpetrov@mail.nsu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.05.2024;
одобрена после рецензирования 17.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 20.05.2024;
approved after reviewing 17.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья
УДК 101.1:316
doi: 10.17223/1998863X/80/12

БИОМЕТРИКА КАПИТАЛИЗМА: КАК НЕОЛИБЕРАЛИЗМ РАСЩЕПЛЯЕТ ТЕЛО

Ярослав Алексеевич Сединин¹, Василий Николаевич Сыров²,

^{1, 2} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *comsedinin@gmail.com*

² *narrat@inbox.ru*

Аннотация. Исследуется влияние новейших технологий, особенно ИИ, на телесность человека. Авторы выдвигают гипотезу о новой форме отчуждения телесности от субъекта. Используя психоанализ, концепции неолиберализма и биополитики, авторы показывают, как технологии опосредованно «расщепляют» субъективность. Модель «протезированного» субъекта иллюстрирует этот процесс.

Ключевые слова: искусственный интеллект, психоанализ, отчуждение, биополитика, марксизм

Для цитирования: Сединин Я.А., Сыров В.Н. Биометрика капитализма: как неолиберализм расщепляет тело // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 136–145. doi: 10.17223/1998863X/80/12

Original article

THE BIOMETRICS OF CAPITALISM: HOW NEOLIBERALISM SPLITS THE BODY

Yaroslav A. Sedinin¹, Vasily N. Syrov²

^{1, 2} *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *comsedinin@gmail.com*

² *narrat@inbox.ru*

Abstract. In the context of the development and introduction of new technologies, particularly artificial intelligence, there arises a question about how a person's physicality and their attitude towards it are changing. This article aims to explore the current state of physicality through the emergence of new technological means and hypothesize how this may affect the process of physicality subjectivation. Among the methods used in this study are psychoanalytic theories of the subject, particularly the model of the "prosthetic" subject; concepts of neoliberalism, as formulated by W. Brown; and biopolitical logics of power and society. The main problem of this study is how the body of the subject is transformed under conditions of neoliberalism undergoing technological change. This question involves answering several additional questions, including: What is meant by "technology"? How is neoliberalism conceptually implemented? How is the individual connected to their body in modern society? Within the framework of the proposed model of an individual as a prosthetic entity, it is demonstrated how splitting and dysfunctional identity occurs. The findings of this study are presented in the following theses. The "prosthetic body" is currently experiencing a crisis due to the current state of development in society. Aspects of physicality such as appearance and voice no longer entirely belong to individuals, becoming commodities for exchange. There is a separation not only from products of a person's labor,

which is typical of capitalism, but also from individual organs and parts of the body. This results in a “split” of the physical self, granting autonomous existence to mechanical organs and prosthetics as well as other organs within the body. Technology acts as a mediating element in this process of disconnection. The current state of the individual reflects a crisis, manifested in an imagined space where the self splits. The key findings of this study are as follows. It is necessary to develop a new model for the subjectivation and structure of the individual taking into account changes taking place in modern society. Future research could focus on the impact of recent technologies on human subjectivity and physical bodies while considering current social events.

Keywords: artificial intelligence, psychoanalysis, alienation, biopolitics, Marxism

For citation: Sedinin, Ya.A. & Syrov, V.N. (2024) The biometrics of capitalism: how neoliberalism splits the body. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 136–145. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/12

Введение

Данное исследование, апеллируя к понятиям «тело» и «отчуждение», ставит своей целью изучить современное состояние телесности в контексте появления новейших технических средств. Понятие «отчуждение» в XX в. вышло за рамки марксизма. Психопанализ, структурализм, современные политические теории используют его в разных контекстах, но в рамках единой логики. Психопанализ Ж. Лакана трактует отчуждение как «выпадение» значимого элемента для субъекта. М. Фуко переосмыслил поле исследования, показав тело как объект социальной и властной регуляции. В настоящей статье данные подходы синтезируются. Современные социально-критические традиции (психопанализ, марксизм) включают телесность в поле анализа как важный объект социальной динамики и властной регуляции.

Иными словами, проблемное поле исследования касается вопроса о том, как в условиях современной общественной системы, постепенно трансформирующейся под влиянием новейших технологий, обстоит ситуация с телесностью субъекта. Данный вопрос предполагает обозначение широкого поля дополнительных вопросов, в частности, что понимается под техническими средствами, что из себя представляет текущая социальная реальность, как субъект связан со своим телом в рамках этой социальной реальности и т.д. Настоящая публикация выдвигает гипотезу о том, что для целостного анализа состояния субъективности и телесности необходимо обратить исследовательское внимание на специфику отчуждения в связи с появлением новейших технических средств, главным образом в связи с ускорившемся внедрением технологий искусственного интеллекта в социальное пространство. Предполагается, что современные технологии опосредованно способствуют новому процессу отчуждения субъекта – отчуждения самой его телесности. Под отчуждением телесности понимается «распад» и «расщепление» единства тела в его воображаемом регистре субъекта, если обращаться к терминологии психопанализа. Для доказательства истинности выдвинутой гипотезы используется психопаналитическая теория субъекта, анализируется специфика бытия субъекта в рамках нелиберальной социальной системы.

Биополитика, техника и «тело-протез»

Биополитическая регуляция телесности на современном этапе развития сообщества характеризуется не только появлением новых способов обраче-

ния с телом, практикой властного контроля и надзора за жизнью и телом субъекта, но и связано с внедрением в социальную реальность технического инструментария. Рефлексия технического прогресса остается актуальной сферой философского, социологического, психологического и другого исследовательского анализа. Российский социолог В. Вахштайн¹ [1] в отправной точке современного анализа техники предлагает рассматривать программу культурсоциологии техники, возникшей благодаря исследованиям Д. Александера [2]. Первый и центральный пункт данной программы формулируется следующим образом: «Техника – прежде всего культурный феномен. Развитие техники нельзя объяснять исключительно экономическими или политическими причинами. Производство, распространение и использование технических объектов следует рассматривать в контексте коллективных представлений разных социальных групп» [1. С. 39]. Поэтому В. Вахштайн критикует подход, согласно которому техника, в онтологическом смысле, представляется в качестве «протеза»-компенсации недостатков человеческого тела, относя подобный взгляд к разряду «правых» социологических нарративов. Полагаем, что этот тезис не противоречит программе культурсоциологии техники, которая под сущностью техники понимает дискурс, производимый определенными социальными группами в рамках их общественного бытия. Хотя в работе техника концептуализируется в рамках психоанализа, тем не менее актуализировать концепт «протеза» в контексте нашего рассуждения представляется возможным. В работе З. Фрейда «Недовольство культурой» отчасти формулируется набросок психоаналитической теории техники, которая скорее является некоторым дополнением к центральным рассуждениям З. Фрейда о культуре и человеческом существе, нежели самостоятельной теорией. Психоаналитик В. Мазин наиболее отчетливо формулирует взгляд австрийского психиатра на технику: «Итак, ключевой момент: Фрейд называет технические приспособления протезами и подчеркивает выбор понятия словами о том, что это „вспомогательные органы“, которые причиняют страдания, поскольку они – очки, самолеты, письменность, телефоны – с человеком „не срослись“ (nicht verwachsen)» [3. С. 49]. Биологическая дезадаптивность не компенсируется техникой, но синтезируется с техническим, что позволяет говорить о технобиологической эволюции, которая в психоаналитическом смысле и является процессом возникновения и развития культуры [3. С. 45]. Техника, таким образом, не является компенсацией биологических «неудач» человеческого существа, но продолжением биологического органа, который «совершенствуется исключительно вместе-с-орудием». Орган в качестве «протеза» означает появление принципиально иного символического пространства для человеческого субъекта, которое, не являясь простым способом восполнить человеческую нехватку биологического, приносит человеку измерение травмы, поскольку техника может быть использована в качестве, например, средства эксплуатации. Иными словами, техническое, как на то указывает В. Вахштайн, зависит от коллективных представлений, и именно эти коллективные представления субъектов создают пространство диалектического восприятия техники – например, «орудие труда / орудие убийства». Техника в качестве нового элемента телесности

¹ В Российской Федерации признан иностранным агентом.

включается в символическое пространство субъекта, которое, в сущности, представляет собой коллективные, intersubjective сети сообщества.

Неолиберализм – современная форма биовласти

Если взять за отправную точку анализа техники интуицию культурсоциологии, то логично выдвинуть тезис о зависимости техники как коллективных представлений от общего социокультурного контекста современной социальной системы. Условия существования современного субъекта следует связывать с идеологической структурой и экономическими обстоятельствами позднего капитализма. Академические авторы, описывающие социум с помощью критического, марксистского словаря, для этого пользуются термином «неолиберализм». Поэтому, включая данное понятие в наш концептуальный аппарат, необходимо показать, каким образом коллективные представления, а также ситуации взаимодействия с конкретными объектами несут на себе отпечаток социальной динамики.

М. Фуко в курсе лекций «Рождение биополитики» формулирует в некотором смысле интеллектуальную и политическую историю становления современного либерального искусства управления: «Вот что, как мне кажется, характеризует либеральную рациональность: как регулировать правление, искусство управлять, как [обосновать] принцип рационализации искусства управлять рациональным поведением тех, кем правят» [4. С. 388]. В нашей статье данное понятие употребляется исключительно в качестве теоретической модели, описывающей современную социально-политическую рациональность, а также способ мыслить различные общественные практики, в том числе практики телесности. Американский политический теоретик В. Браун представляет неолиберализм в качестве рациональности, при которой «люди и государства интерпретируются по образцу современной фирмы, и ожидается, что люди и государства будут вести себя так, чтобы максимизировать стоимость своего капитала в настоящий момент и увеличивать свою ценность в будущем» [5. С. 22]. На теоретическом уровне мы можем описывать неолиберализм в двух основных модусах: идеологической рациональности и конкретной политической практики. Идеологическая рациональность неолиберализма представляется в виде некоторого набора идей и ценностей, ставящих в центр всей общественной системы рыночный обмен, конкуренцию, циклическое потребление и т.д. [6].

В данном контексте яркой иллюстрацией внедрения экономической неолиберальной рациональности служит движение Quantified Self, сторонники которого продвигают императив «познай себя». Специфичность этого движения и императива «познай себя» заключается в том, что процесс познания должен произвести знание особого рода; фактически знание, к которому стремятся идеологи и сторонники Quantified Self, можно назвать знанием «количественного измерения» своего тела: «Способы исчисления себя в самом общем виде состоят в формировании этоса носимых устройств, специализирующихся на собирании разнородной информации о состояниях организма, а также в наполнении окружающей среды датчиками» [7]. Фактически движение Quantified Self подменяет субъективность и психическую структуру человека телесностью, которая может быть рассчитана на основе различных метрик и достоверно проанализирована [8]. Не касаясь этических и тех-

нологических особенностей применения данных технологий, необходимо обратить внимание на высокую «привязанность» идеологии движения за «человеческое исчисление» к получаемому математизированному знанию. Подмена субъективности, по сути, подмена знания о самом себе, формирующем феномен «Я» субъекта, происходит знанием о количественных замерах телесности, опосредованных техникой [9]. Под «Я» понимается внешнее, часто не интерпретированное должным образом знание, относящееся, по мысли Ж. Лакана, к университетскому дискурсу научной рациональности. Знание, аккумулируемое внутри университетского дискурса, призвано создать полностью субъекта через приложение к его телу знаний, поскольку знание, с одной стороны, приносит субъекту наслаждение в лакановском смысле этого слова. С другой стороны, приложение к телу «достоверного» и измеренного знания является способом утвердить «Я» в условиях, когда Другой знания дать не способен. Речь идет о знании телесности, которое ранее принадлежало целиком и полностью медицинскому дискурсу, но в условиях постепенной коммерциализации сферы здравоохранения, а также перенесения функций контроля над здоровьем с уровня социального института медицины на *homoeconomicus*, Другой лишается знания. Процесс постепенной замены «Я» количественно исчисляемым знанием о собственном весе, артериальном давлении, количестве прошедших шагов и т.д. создает еще более фрагментированную картинку субъекта, который теперь избавлен от внутренней, психической регуляции, а понимается исключительно в качестве тела, к которому можно применить ту или иную метрику, чтобы лучше понять себя.

Техника, а также знания, которыми располагает субъект о самом себе, являются, как ранее было отмечено, некоторыми протезами, продолжением телесности. Знания, предоставляемые субъекту опосредованно с помощью технического инструментария, позволяют субъекту высказать о себе что-либо, в частности высказать определенную «истину» о своем теле, поскольку данное знание будет опираться на количественные данные, предположительно имеющие научную обоснованность под собой. Учитывая социальный контекст, приведенный выше, тело-протез субъекта существует в условиях неолиберальной рациональности и практики, вследствие чего телесность становится объектом регулирования механизмов биополитики и неолиберальной экономики. Возможно проследить двоякую природу тело-протеза субъекта, поскольку, с одной стороны, техника и знания о телесности являются внешними по отношению к субъекту в силу отчужденности со стороны рыночных отношений (в социальном пространстве техника и знания о теле используются в качестве составляющих «человеческого капитала», следовательно, они призваны оценить «рыночную стоимость» субъекта). С другой стороны, количественно измеренное тело, превращенное в знание, и технические протезы в воображаемом регистре субъекта скрепляются, создают целостный образ тела. Если структура современной субъективности представляет собой особый сплав человеческой телесности и знаний, то необходимо поставить вопрос о современных формах отчуждения, о специфике современного отчуждения. Иными словами, какие изменения претерпевает субъективность сегодня в связи с резким изменением технического пространства, например, из-за появления и широкого применения технологий искусственного интеллекта?

Отчуждение телесности и искусственный интеллект

Ранее мы отметили, что отчуждение в качестве онтологического элемента субъективности сигнализирует о «выпадении» из бытия субъекта какого-либо элемента. С появлением новейших технологий искусственного интеллекта в логику капиталистической регуляции, как в самых тревожных антиутопиях, попадает тело человека, причем в виде расщепленного элемента. Если в более ранние этапы развития капиталистической системы, в период так называемого первичного накопления капитала тело субъекта, тело рабочего интересовало капитал в качестве фактора производства прибавочной стоимости, поскольку использовало способность к труду в его физическом и умственном разрезе, то на нынешнем этапе общественного развития тело не выступает в качестве единого, воображаемого феномена. Постепенное делегирование технике ряда обязанностей приводит к автономизации технического, а также к постепенной потере различных элементов субъективности. Весьма экзотическим примером может служить «unmanned aerial vehicle»: «Именно по этой причине офицеры ВВС так сопротивлялись массовому использованию дронов, что, разумеется, грозило им потерей рабочих мест, их профессиональной квалификации, но также – на куда более глубинном уровне – их мужской чести, в значительной степени связанной с риском» [10. С. 113]. В этом примере можно увидеть, как глубоко внутренний аспект личности – мужская честь, готовность пойти на риск, самопожертвование и т.д. – буквально отчуждается (в тексте Грегуара Шамаю используется более жесткое понятие – «кастрация») и передается технике, в данном примере дрону.

Капитализм эпохи К. Маркса отчуждал результат труда субъекта, устранил самотождественность субъекта через символическое отделение рабочего от продукта его труда, что конституировало социальный фетишизм и способствовало генезису современной идеологической системы потребления [11. С. 31]. Тело в ситуации экономического отчуждения, однако, все же было закреплено, принадлежало субъекту, ведь вопрос классового интереса рабочего все еще стоял в плоскости поиска средств к существованию, что вызывало необходимость находить применение своему телу в системе производства.

Тем не менее современная общественная и техническая реальность такова, что способность к труду, как скрепляющее воображаемое измерение тела, интересует капитал и государственные структуры все меньше. Недавние события, поразившие рынок кинопроизводства в Голливуде, а также достигшие России, говорят о том, что тело в процессе капиталистического воспроизводства не может более быть единым «скрепленным» феноменом. В период лета–осени 2023 г. в США началась крупнейшая забастовка актеров второго плана, связанная непосредственно с экономическими аспектами труда актеров [12]. Однако среди ключевых лозунгов и требований бастующие заявили, что система искусственного интеллекта, а также прямой обман голливудских корпораций отнимают у них внешность. Крупные корпорации в сфере кинопроизводства оцифровывают тело и внешность актеров для того, чтобы экономить ресурсы на найме актеров и съемках. Ситуация выглядит следующим образом: актера приглашают на пробы в процессе просмотра актерской игры и навыков человека, дают разрешение на оцифровку внешности актера,

платят ему 20 долларов за потраченное время, вручают стаканчик кофе, а затем с помощью искусственного интеллекта могут использовать внешность в рамках монтажа фильма. В России коммерческий банк «Гинькофф» совершает схожую процедуру с единственной разницей в том, что используется не внешность актера, а его голос [13]. Оцифровка голоса позволяет использовать его для голосовых помощников и систем искусственного интеллекта для озвучивания информации. Актриса озвучивания, чей голос попытался «украсть» коммерческий банк, создала петицию [14] и направила в суд гражданский иск.

Возможно утверждать, что тело-протез на современном этапе развития социальной системы претерпевает своеобразный кризис. Будучи ранее структурой субъекта, поддерживаемой неолиберальной «идеологией наслаждения» и тем самым представляющей собой единый феномен, хотя и отчужденный по своей первоначальной сути, сегодня данная структура находится в процессе расщепления. «Протезы», принадлежавшие целостной телесности субъекта, теперь отчуждаются от субъективности, превращаясь в отдельные объекты манипуляции неолиберальной экономики. Данный аспект прослеживается в приведенном кейсе с голливудскими актерами и актерами озвучивания. Было бы теоретически неверно обнаруживать вину за расщепление телесности в особенностях и «сущности» новейших технологий искусственного интеллекта, скорее необходимо отметить, что техника выступает некоторым опосредующим отчуждением элементом. Как и в случае со знаниями об особенностях функционирования собственного организма, техника способствует превращению знаний во внешний человеку элемент, вынесенный в пространство рынка. Отдельные элементы телесности, например, внешний облик или голос, перестают в полной мере принадлежать человеку, становясь объектом рыночного обмена или некоторым первертированным аналогом «средств производства». Конечно, техника, как мы и подчеркивали выше, как феномен, порождаемый в символическом пространстве коллективными представлениями, зависит от связи коллективных представлений и существующей социальной системы. Для технического ансамбля вполне нормально, что человек делегирует ему ряд своих обязанностей и функций. Но неолиберализм выносит на сцену рыночного обмена телесность и субъективность человека. Поэтому ситуация такова, что стремление представить субъект в категориях рынка, спроса и предложения, стоимости и т.д. способствует, во-первых, наделению технических протезов тела большей автономией, а во-вторых, приводит к тому, что в ситуации конкретного взаимодействия с техникой субъективность человека теряет собственную значимость (например, в ситуации с дронами и мужеством). Таким образом, телесность включается в процесс отчуждения, характеризующегося расщеплением тела и наделением отдельных его частей, протезов и т.д. автономным и самостоятельным статусом.

Тем не менее если современная структура субъекта находится в кризисе и расщепляется в воображаемом пространстве, то социально-критическим исследователям необходимо поставить вопрос об актуальности текущей модели субъекта. Речь идет о моделях субъективации и структуры субъекта, разрабатываемых в рамках, например, современного марксизма и психоанализа, ориентированного на Ж. Лакана.

Заключение

В работе показано, что современная общественная и техническая реальность приводит к тому, что телесность перестает быть целостным воображаемым феноменом. Тело также «распадается» в символической сфере: голос, внешность и знания о теле «выключаются» из воображаемой иллюзии единства, становясь самостоятельными элементами рыночной регуляции. Оцифровка тела субъекта в рамках современного неолиберального технокapитализма ставит под вопрос процесс субъективации. Наблюдается отчуждение не только продуктов труда субъекта, но и отдельных органов и частей тела. Тело-протез на современном этапе развития социальной системы претерпевает своеобразный кризис. «Протезы», принадлежавшие целостной телесности субъекта, теперь отчуждаются от субъективности, превращаясь в отдельные объекты манипуляции неолиберальной экономики. Техника выступает как опосредующий отчуждение элемент. В итоге отдельные элементы телесности (внешний облик, голос) перестают в полной мере принадлежать человеку, становясь объектами рыночного обмена. Поэтому можно утверждать, что современная структура субъекта находится в кризисе и расщепляется в воображаемом пространстве.

В связи с этим возникает необходимость переосмысления актуальности текущей модели субъекта. Требуется разработка новых моделей субъективации и структуры субъекта, учитывающих изменения, происходящие в современном обществе в связи с тенденциями неолиберализма и технических нововведений. Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению влияния новейших технологий на субъективность и телесность человека, что является особенно важной теоретической задачей. Ограничение настоящего исследования заключается в малом количестве конкретных социальных примеров, поскольку большое внимание в работе уделялось теоретическому анализу кризиса субъективности.

Список источников

1. Вахитайн В.С. Техника, или обаяние прогресса. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2021. 156 с.
2. Александр Дж., Смит Ф., Джакупова С. Сильная программа в культурсоциологии // Социологическое обозрение. 2010. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/silnaya-programma-v-kultursotsiologii> (дата обращения: 19.03.2024).
3. Мазин В.А. Машина Влияния. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2018. 256 с.
4. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 уч. году / пер. с фр. А.В. Дьяков. СПб. : Наука, 2010. 448 с.
5. Brown W. Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. New York : ZONE BOOKS, 2015. 296 p.
6. Cornelissen L. On the subject of neoliberalism: Rethinking resistance in the critique of neoliberal rationality // Constellations. 2018. Vol. 25. P. 133–146. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12349>
7. Антипов А.В. Познание себя через цифры: биоэтика и биополитика // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2023. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poznanie-sebya-cherez-tsifry-bioetika-i-biopolitika> (дата обращения: 15.03.2024).
8. Ajana B. Digital health and the biopolitics of the Quantified Self // DIGITAL HEALTH. 2017. Vol. 3. doi: 10.1177/2055207616689509
9. Sharon T. Self-Tracking for Health and the Quantified Self: Re-Articulating Autonomy, Solidarity, and Authenticity in an Age of Personalized Healthcare // Philos. Technol. 2017. Vol. 30. P. 93–121. <https://doi.org/10.1007/s13347-016-0215-5>
10. Шамаю Г. Теория дронов. М. : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2020. 280 с.

11. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М. : Худож. журн., 1999. 236 с.
12. Голливудская забастовка актеров закончилась. Вот итоги! // Кинопоиск URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4008683/> (дата обращения: 15.03.2024).
13. Тинкофф украл голос нейросетью? Актриса дубляжа требует с компании 6 млн рублей и вместе с другими актерами и дикторами добивается защиты от синтеза // IХBT. URL: <https://www.ixbt.com/news/2023/08/31/tinkoff-ukral-golos-nejrosetju-aktrisa-dubljazha-trebuets-s-kompanii-6-mln-rublej-i-vmeste-s-drugimi-akterami-i.html> (дата обращения: 15.03.2024).
14. Просим защитить наши голоса от воровства и мошенничества! // Change.org. URL: <https://www.change.org/p/просим-защитить-наши-голоса-от-воровства-и-мошенничества> (дата обращения: 15.03.2024).

References

1. Vakhshayn, V.S. (2021) *Tekhnika, ili obayanie progressa* [Technology, or the Charm of Progress]. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.
2. Alexander, J., Smith, F. & Dzhakupova, S. (2010) Sil'naya programma v kul'tursotsiologii [Strong Program in Cultural Sociology]. *Sotsiologicheskoe obozrenie*. 2. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/silnaya-programma-v-kultursotsiologii> (Accessed: 19th March 2024).
3. Mazin, V.A. (2018) *Mashina Vliyaniya* [Machine of Influence]. Moscow: The Gaidar Institute.
4. Foucault, M. (2010) *Rozhdenie biopolitiki. Kurs lektsiy, pročitannykh v Kollezhe de Frans v 1978–1979 uch. godu* [The Birth of Biopolitics. Course of lectures given at the Collège de France in the 1978–1979 academic year]. Translated from French by A.V. Dyakov. St. Petersburg: Nauka.
5. Brown, W. (2015) *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. New York: ZONE BOOKS.
6. Cornelissen, L. (2018) On the subject of neoliberalism: Rethinking resistance in the critique of neoliberal rationality. *Constellations*. 25. pp. 133–146. DOI: 10.1111/1467-8675.12349
7. Antipov, A.V. (2023) Poznanie sebya cherez tsifry: bioetika i biopolitika [Knowing oneself through numbers: bioethics and biopolitics]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya*. 4. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/poznanie-sebya-cherez-tsifry-bioetika-i-biopolitika> (Accessed: 15th March 2024).
8. Ajana, B. (2017) Digital health and the biopolitics of the Quantified Self. *Digital Health*. 3. DOI: 10.1177/2055207616689509
9. Sharon, T. (2017) Self-Tracking for Health and the Quantified Self: Re-Articulating Autonomy, Solidarity, and Authenticity in an Age of Personalized Healthcare. *Philosophy and Technology*. 30. pp. 93–121. DOI: 10.1007/s13347-016-0215-5
10. Shamayu, G. (2020) *Teoriya dronov* [Theory of Drones]. Moscow: Ad Marginem; Garage Museum of Contemporary Art.
11. Zizek, S. (1999) *Vozvyshennyy ob'ekt ideologii* [The Sublime Object of Ideology]. Moscow: Khudozhestvennyy zhurnal.
12. Ionov, A. (2023) *Gollivudskaya zabastovka akterov zakonchilas'. Vot itogi!* [The Hollywood Actors' Strike Is Over. Here Are the Results!]. [Online] Available from: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4008683/> (Accessed: 15th March 2024).
13. [ixbt.com](https://www.ixbt.com/news/2023/08/31/tinkoff-ukral-golos-nejrosetju-aktrisa-dubljazha-trebuets-s-kompanii-6-mln-rublej-i-vmeste-s-drugimi-akterami-i.html). (2023) *Tin'koff ukral golos neyroset'yu? Aktrisa dublyazha trebuets s kompanii 6 mln rubley i vmeste s drugimi akterami i diktormi dobivaetsya zashchity ot sinteza* [Did Tinkoff Steal Your Voice with a Neural Network? The dubbing actress demands 6 million rubles from the company and, together with other actors and announcers, seeks protection from synthesis]. [Online] Available from: <https://www.ixbt.com/news/2023/08/31/tinkoff-ukral-golos-nejrosetju-aktrisa-dubljazha-trebuets-s-kompanii-6-mln-rublej-i-vmeste-s-drugimi-akterami-i.html> (Accessed: 15th March 2024).
14. Change.org. (n.d.) *Prosim zashchitit' nashi golosa ot vorovstva i moshennichestva!* [Please protect our voices from theft and fraud!]. [Online] Available from: <https://www.change.org/p/prosim-zashchitit'-nashi-golosa-ot-vorovstva-i-moshennichestva> (Accessed: 15th March 2024).

Сведения об авторах:

Сединин Я.А. – бакалавр философии, студент-магистрант, кафедра общей и педагогической психологии, факультет психологии Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: comsedinin@gmail.com

Сыров В.Н. – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии Философского факультета Национального ис-

следовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: narrat@inbox.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Sedinin Ya.A. – Bachelor of Philosophy, master's student, Department of General and Pedagogical Psychology, Faculty of Psychology, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: comsedinin@gmail.com

Syrov V.N. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, head of the Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: narrat@inbox.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 25.03.2024;
одобрена после рецензирования 19.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*

*The article was submitted 25.03.2024;
approved after reviewing 19.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 168.1, 37.01

doi: 10.17223/1998863X/80/13

ПОСТГУМАНИЗМ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОСМЫСЛЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Александр Юрьевич Чмыхало¹, Марина Алексеевна Жаркова²

^{1, 2} *Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия*

¹ *sanichtom@tpu.ru*

² *mma1252@tpu.ru*

Аннотация. Рассматривается постгуманистическая теория как основание по выработке наиболее адекватных представлений о грамотности в условиях развития ИТ. Осуществляется экспликация потенциала постгуманизма в формировании теории грамотности в условиях распространения субъективности за пределы человеческого вида под воздействием смарт-технологий как одного из наиболее совершенных воплощений ИТ. Выявлен теоретико-познавательный потенциал постгуманизма в исследовании грамотности, проявляющий себя в радикальной открытости данного подхода в отношении изучения влияния ИТ на организацию новых социальных и образовательных практик, а также новых практик грамотности.

Ключевые слова: постгуманизм, грамотность, смарт-технология

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00316, <https://rscf.ru/project/24-28-00316/>

Для цитирования: Чмыхало А.Ю., Жаркова М.А. Постгуманизм как теоретическая основа осмысления грамотности в условиях развития смарт-технологий // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 146–156. doi: 10.17223/1998863X/80/13

Original article

POSTHUMANISM AS A THEORETICAL FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING LITERACY IN THE CONDITIONS OF SMART TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Alexander Yu. Chmykhalo¹, Marina A. Zharkova²

^{1, 2} *National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *sanichtom@inbox.ru*

² *mma1252@gmail.com*

Abstract. The presented study is dedicated to clarifying the issue of the possibility of forming the most adequate concept of literacy, which will take into account the role of IT in the life of modern society, as well as new discourses and social practices that have arisen as a result of its influence. Smart technologies are among the most advanced embodiments of IT. A specific feature of these technologies is a significant degree of autonomy from humans, i.e., the ability to respond to the environment in a way that promotes their

endurance and prevents or resolves any type of failure, even in the face of uncertainty. Because of this, IT and smart technologies are increasingly becoming the focus of posthumanism theorists, for whom a key feature of the current cultural and historical context is the emphasis on the role of non-human agents, as well as the independence of some objects (especially those related to IT) from human activity and conceptualization. The aim of this work is to explicate the potential of posthumanism in the formation of a theory of literacy in the context of the spread of subjectivity beyond the boundaries of the human species under the influence of smart technologies. It is shown that, although posthumanistic theory arose quite a long time ago, and its history goes back many decades, nevertheless, the creation of theories and the construction of literacy models from the position of posthumanism have become part of the research interest of scientists only in recent years. At the same time, considerable attention was paid to justifying the very possibility of applying this theory to the study of problems related to literacy. The study shows that posthumanist theories view literacy as an active agent emerging from interactions between people, technology and other non-human agents, which opens up new possibilities for its theoretical understanding. Posthumanism has a theoretical-cognitive potential in the study of literacy, which manifests itself in a radical openness towards IT and smart technologies, and clarification of their role in the formation of new social and educational practices, as well as new literacy practices.

Keywords: posthumanism, literacy, smart technology

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00316, <https://rscf.ru/project/24-28-00316/>

For citation: Chmykhalo, A.Yu. & Zharkova, M.A. (2024) Posthumanism as a theoretical framework for understanding literacy in the conditions of smart technology development. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 146–156. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/13

Интенсивное развитие ИТ в конце XX – начале XXI в. оказало существенное влияние на многие стороны жизни человека и общества. Глобальная экономическая конкуренция, охватившая все страны и уголки мира, все больше основывается на эффективном использовании информации. Коммуникационная сеть Интернет и ее ресурсы оказывают влияние как на профессиональную, так и на личную жизнь значительной части населения планеты. Одним из наиболее существенных достижений в развитии ИТ за эти годы стало создание смарт-технологий, которые уж проникли во многие сферы жизни и используются как в виде различных «умных» устройств, таких как смартфон, смарт-часы, смарт-датчики, так и в виде множества «умных» технологий, к которым относят беспроводные технологии (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RFID и т.д.), Блокчейн (Blockchain), технологии распознавания образов (Image Recognition), а также в качестве комплекса технологий, используемых для **улучшения и автоматизации жизнедеятельности в различных областях, таких как транспорт, здравоохранение, безопасность и т.д.** Примерами последних являются такие системы, как умный дом (Smart Home), умная медицина (Smart Medicine), умный город (Smart City), умное образование (Smart Education) и проч. [1].

В этих условиях государственная политика многих стран мира все больше ориентирована на разработку и проведение мероприятий по интеграции ресурсов Интернета и возможностей смарт-технологий для внедрения их в систему образования. Несмотря на это до сих пор имеется значительный разрыв между возможностями и проблемами, которые создают смарт-

технологии, и образовательными программами, практиками и теориями грамотности [2]. Данное обстоятельство актуализирует проведение исследований, направленных на поиск или формирование такой концепции грамотности, которая будет учитывать не только значительную роль ИТ в жизни современного человека и общества, но и новые дискурсы и социальные практики, которые возникли или возникнут вследствие их влияния в ближайшем и отдаленном будущем. В силу этого важно поддерживать процесс теоретизирования в отношении грамотности, которая будет обуславливать наше будущее, результаты которого во многом будут определять не только то, кем мы являемся в настоящее время, но и то, кем мы станем в будущем.

К настоящему времени сформировано множество теоретических подходов и моделей рассмотрения грамотности, в той или иной степени учитывающих в своих концептуальных построениях влияние развития ИТ. Среди них выделяют психолингвистическую теорию, социальный конструктивизм, теории транзакций и когнитивной обработки, модели обработки информации, социокультурные теории, социокогнитивную и критическую теории, структурализм и постструктурализм, постгуманизм [3]. В этих условиях может быть важно не столько сформулировать новую теорию грамотности, сколько выделить наиболее адекватную теорию, которая бы учитывала не только динамизм происходящих изменений в отношении изучаемого объекта, но и все преимущества и сложности ИТ, оказывающие существенное воздействие на данные изменения.

Смарт-технологии являются одним из наиболее продвинутых воплощений ИТ. Технологические инновации, обозначаемые как смарт-технологии, уже значительно изменили тот мир, в котором мы живем. Они сделали его безопаснее, медицину лучше, создали комфорт, о котором предыдущие поколения людей могли только мечтать [4]. Вместе с тем значимым последствием дальнейшего развития смарт-технологий, на которое стоит обратить особое внимание и являющееся выражением их сущности, стало увеличение автономии этих технологий от человека, т.е. способности реагировать на окружающую среду таким образом, чтобы это способствовало их выносливости, предотвращало или устраняло любые виды сбоев, даже в условиях неопределенности. У каждого следующего поколения смарт-технологий указанное качество продолжает неуклонно расти [1].

Автономия смарт-технологий, как их важнейшая существенная сторона была отмечена и в философских исследованиях. Отечественные исследователи И.Б. Ардашкин и В.А. Суровцев, определяя важнейшее отличие смарт-технологий от технологий, предшествовавших им, указывали, что оно заключается в обретении этими технологиями функции субъекта и в какой-то мере замещении этой функций у человека [5 С. 65]. В силу этого ИТ и смарт-технологии все больше оказываются и в центре внимания теоретиков постгуманизма, для которых ключевой особенностью текущего культурного и исторического контекста является выделение роли нечеловеческих агентов, будь то животные и растения, компьютеры и другие вещи, а также увеличение независимости некоторых объектов (особенно связанных с ИТ) от человеческой деятельности и концептуализации.

Поскольку работа по выявлению или разработке адекватной теории грамотности в условиях развития смарт-технологий должна опираться на такие

концептуальные построения, которые будут учитывать как специфику объекта изучения, так и особенности контекста, в которых этот объект формируется, то решение этой важной теоретической задачи невозможно без рассмотрения постгуманистической теории. Она определила цель настоящей работы, состоящей в том, чтобы эксплицировать потенциал постгуманизма в формировании теории грамотности в условиях распространения субъективности за пределы человеческого вида под воздействием смарт-технологий.

Хотя постгуманистическая теория возникла достаточно давно и история ее развития насчитывает не одно десятилетие, тем не менее широкое знакомство с ней российского философского сообщества по известным причинам произошло далеко не сразу. Несмотря на это к настоящему времени вышел в свет значительный перечень работ, в которых раскрываются различные аспекты постгуманистического взгляда на мир. В этих трудах отечественные исследователи уделили внимание истокам возникновения постгуманизма начиная с обнаружения элементов нечеловеческой антропологии уже в философии Аристотеля [6], в трудах представителей механицизма Нового времени, заложивших предпосылки современной дегуманизации: Г. Галилея, Т. Гоббса, Р. Декарта, И. Ньютона, Ламетри, Гольбаха и др. [7], и заканчивая рассмотрением идей непосредственных предшественников философии постгуманизма: Ж.-Ф. Лиотара, Л. Альтюссера, К. Леви-Стросса [8, 9]. Также они проявили интерес и к иным вопросам, порожденным развитием постгуманистической теории, в том числе к ее влиянию на осмысление проблем образования [10, 11]. Однако до сих пор в работах отечественных ученых практически не затрагивался вопрос взаимосвязи данной теории и грамотности, получивший достаточно широкое рассмотрение в исследованиях, вышедших за рубежом. Именно поэтому достижение поставленной в рамках настоящей работы цели практически исключительно возможно на основе анализа трудов зарубежных авторов, среди которых можно обратить внимание на Donna E. Alvermann, Norman J. Unrau, Misty Sailors, T. Philip Nichols, Gerald Campano, S. Jeong, B. Sherman, D.J. Tippins, C. R Kuby, J. Rowsell и др.

Какова позиция представителей постгуманизма в отношении интерпретации грамотности?

В работе «Теоретические модели и процессы грамотности» («Theoretical models and processes of literacy»), изданной впервые еще в 1970 г., а затем переиздаваемой и редактируемой на протяжении более четырех десятков лет, Норман Дж. Унрау, Донна Э. Алверманн и Мисти Сэйлорс среди теорий, позволяющих сконструировать ту или иную модель грамотности одной из последних, представили теорию постгуманизма. Отличительной особенностью этой презентации являлось то, что даже в седьмом издании указанного сборника, вышедшего в свет в 2019 г., постгуманистическая модель грамотности была наименее разработана и четко сформулирована. По всей видимости, это объясняется тем, что хотя теория постгуманизма и получила свое развитие еще в 1970-е гг., но обращение исследователей к теориям материальности, одной из которых представлялась и теория постгуманизма, происходит несколько позже, а именно тогда, когда рождается и формируется теория сетевого общества, укрепившая многих исследователей в их желании изучать те или иные феномены с использованием сетевых моделей. Поскольку для постгуманизма характерна материальная, постчеловеческая позиция,

основанная на убеждении в том, что люди действуют в сетях других людей, объектов и институтов, и эти действия влекут за собой биологические, физические, экологические, культурные и институциональные последствия [3], это породило желание рассмотреть с данной позиции и образовательные процессы в школах и классах, где мероприятия по повышению грамотности основаны на взаимодействующих сетях.

На протяжении многих лет исследования грамотности с позиции постгуманизма во многом сводились к рассмотрению весьма ограниченного круга проблем, по преимуществу связанных с исследованием процессов формирования грамотности у маленьких детей [13] или изучением взаимосвязи между игрой, грамотностью и обучением школьников в начальных классах [14, 15]. Создание теорий и построение моделей грамотности с позиции постгуманизма стали частью исследовательского интереса ученых только лишь в последние годы. При этом значительное внимание было уделено обоснованию самой возможности применения данной теории к исследованию проблем, связанных с грамотностью. Была сформирована определенная совокупность доводов, призванная убедить в возможности и необходимости формирования постгуманистического взгляда на грамотность, которая сводится к убежденности в том, что:

1) человеческий разум (мышление обучающегося) функционирует под воздействием ряда факторов – биологических, экологических, культурных, институциональных, которые взаимодействуют случайным образом. Но именно они создают события, формирующие грамотность, – написание текстов, прочтение книги и проч.;

2) активность по формированию грамотности у обучающихся распределена между многими акторами, например, такими, как семья, бизнес, политические объединения, создатели технологических нововведений. Их действие приводит к децентрализации роли человека в событиях, связанных с формированием и распространением грамотности, они требуют своего теоретического осмысления и обоснования, но для этого необходимо создать менее антропоцентрический подход [16].

Однако утверждение о необходимости и возможности формирования нового взгляда на грамотность не означало того, что этот взгляд сформировался. Складывание постгуманистической позиции в отношении грамотности происходило постепенно и неравномерно, в ходе многочисленных дискуссий, направленных на формирование нового этико-онтологического мировоззрения, в рамках которых выяснилось, что пространство и контексты, локации и способы существования внутри них всегда переплетаются и меняются, динамично создавая новизну [17. Р. 292–293]. Возникающие в таких онтологических условиях представления о грамотности обречены на постоянные изменения.

Как указывают Karen Spector и Briana G. Kidd, «постчеловеческая грамотность возникает между телами как агентные отношения чтения и сочинения и, следовательно, не является окончательным свойством или навыками индивидов» [18. Р. 66]. Онтологическая неопределенность, радикальная открытость, бесконечность возможностей, из которых исходят теоретики постгуманизма, приводят их к вполне ожидаемому выводу относительно грамотности, который состоит в том, что все грамотны, все чита-

ют и сочиняют так, чтобы придать смысл миру, ибо никто не знает всех правил грамотности.

Однако здесь возникает проблема этического выбора в построении образовательного процесса и оценки его результатов. Развивая новый взгляд на образование и грамотность, теоретики постгуманизма полагают, что требуется пересмотреть некоторые установки, характерные для этики гуманизма, которыми перегружено социальное общество. Необходимо развернуть полемику вокруг этической проблематики, результаты которой могут позволить выработать принципы постгуманистической этики образования, исходя из которых будет осуществляться поиск ответов на вопросы о том, кто и что имеет значение в образовательном процессе, а также переосмыслить ключевые термины, которые всегда были важны для понимания этической позиции человека, такие как власть, справедливость, субъективность, этика и проч.

Постгуманисты утверждают, что многие ценности и стремления гуманизма по-прежнему мотивируют постчеловека, но при этом необходимо переделать философские и этические рамки, используемые для их концептуализации. Одной из отправных точек является проявление должного уважения к другим критическим традициям. Постгуманистическая этика исходит из идеи уничтожения независимого, автономного человека. Это позитивная этика, которая опирается на расширенную инклюзивность сообщества, на все «экологические взаимосвязи» и сосредотачивается на положительных основаниях совместных проектов и деятельности, а не на нестабильности. В конце концов, «мы все в этом вместе», утверждает Р. Брайдотти. Поэтому необходимо сосредоточиться на совместных позитивных проектах с другими людьми на Земле, когда мы еще не умираем, угнетаемые капитализмом, расизмом, сексизмом и их нормативными родственниками [19. Р. 119].

Формирование новой этики определило и позицию в отношении методов исследования грамотности. Ключевой методологической установкой постгуманистического исследования является реализация знания в бытии, возникающая в ходе самого исследования. То есть осуществлять исследование необходимо не в соответствии с заранее установленным планом, а соотнося, согласовывая применяемые теории с материей мира, состоящей из учеников и учителей, книг, художественных принадлежностей, цифровых инструментов [17. Р. 287]. Материалы, время, пространство и люди, действующие внутри мира, и создают новизну – новую грамотность, новые истины, новые отношения, новые реальности [20, 21]. Таким образом создаются новые теории, в том числе и теории грамотности.

Концентрируя свое внимание на изучении грамотности, постгуманисты видят необходимым провести этико-эпистемологическое различие своей теоретической позиции от социокультурных теорий, которое выражается в том, что сторонники последних сосредоточены на человеке, на концептуализации субъективности, тогда как постгуманисты видят перспективу в дифракционном представлении философии. «Дифракция – это то, что происходит, когда волны (например, вода, звук и свет) сталкиваются с препятствием, заставляя волны изгибаться, распространяться по новому образцу и перекрываться при встрече друг с другом» [12. Р. 4]. Применительно к исследованию грамотности речь идет о стремлении изучать философские противоречия, рассматри-

вать их как способ создания новизны идей и исследовательских практик, а также новой педагогики.

Таким образом, постгуманисты, констатируя фундаментальную неразделимость эпистемологических, онтологических и этических соображений, проводят различие не только по сравнению с социокультурными теориями, но и в отношении иных подходов, сформировавшихся ранее в ходе очередного поворота в исследовании грамотности (когнитивного, лингвистического, социокультурного, аффективного, критического, мультимодального и цифрового) [12. Р. 6] и для которых был характерен выбор строго определенных аспектов материального мира и их воплощений. Позиция постгуманизма представляется не в качестве простого переплетения человеческих и нечеловеческих факторов в формировании знания, в описании реальности, в понимании истины, а в утверждении того, что это есть парадигматический сдвиг, отличительная особенность которого заключается в том, чтобы в этом переплетении обнаружить более устойчивые и этические отношения для всех агентов, как человеческих, так и других.

Критическая установка постгуманистов в отношении предшественников создает предпосылки для пересмотра сложившихся представлений о грамотности как о чем-то составном, представленном множеством различных видов грамотности, как об этом, например, говорили представители «новых исследований грамотности», выделяя юридическую, игровую, музыкальную, академическую и иные виды грамотности в зависимости от того, в рамках каких социальных или культурных практик они формируются. В противоположность такой позиции постгуманисты, подчеркивает Р. Брайдотти, представляют постчеловеческую субъективность, оказывающую определяющее воздействие на формирование представлений о грамотности как одновременно материалистическую и виталистическую, воплощенную и внедренную, наполненную творчеством и воображением, желаниями, надеждами и стремлениями» [19. Р. 51–52].

Что же такое грамотность с точки зрения постгуманизма? На этот вопрос нет однозначного ответа, ибо, с одной стороны, постгуманисты ставят под сомнение гуманистические определения и точки зрения на грамотность, для которых характерно принятие совершенно определенных учебных программ и оценок, содержащих четко установленные представления о том, что такое письмо, как его писать и как его оценивать. С другой стороны, делая акцент на изучении процесса формирования грамотности, а не на результате, их интересует то, какие новые способы отношения к миру теперь возможны. При этом они не разделяют знание, становление и действие, стремятся найти смысл в практиках и артефактах грамотности, уделяя основное внимание исследованию процессов, в ходе которых производится грамотность, а не поиску ответа на вопрос о том, что означает грамотность.

Одни представители постгуманизма демонстрируют определенный оптимизм и призывают к проявлению активной позиции в отношении включения IT, смарт-технологий, искусственного интеллекта в содержание образовательного процесса, они также полагают, что в условиях бурного развития IT-грамотность носит дейктический характер. Все большее вторжение машин в жизнь человека приводит к размыванию, распаду прежних представлений о грамотности, поскольку машины начинают выполнять ту работу, которая ра-

нее требовала от человека определенного вида грамотности. Однако мы не можем игнорировать возникновение новых практик грамотности, создаваемых в результате действия данных агентов, поскольку ИТ оказываются причастными к возникновению множества новых проблем технического, правового, политического характера, в том числе в области образования. Взаимосвязь грамотности и ИТ, смарт-технологий очевидна, в том числе потому, что уже сейчас их появление ставит под вопрос будущее многих профессий, в том числе творческих. Например, Google Smart Compose дает возможность пользователям использовать интеллектуальный набор текста. И хотя этот текст еще не вполне соответствует требованиям ведущих печатных изданий мира [2. Р. 3], реализация такой перспективы уже не за горами.

Создается впечатление, что смарт-технологии формируют новые формы эксплуатации человека. Используя алгоритмическую категоризацию данных, они идентифицируют нас в сообщениях, распространяемых посредством сетевых компьютерных технологий. Но соответствует ли данная идентификация тому, как о себе хочет заявить сам человек? По этому поводу имеются серьезные сомнения, поскольку тексты, в которых мы себя выражаем, становятся все более социальными благодаря использованию поисковых систем и социальных компьютерных сетей. Процесс их создания все более опосредуется влиянием корпоративных интересов, которые учитываются в значительно большем масштабе, чем ранее. Создание новых ИТ и возникновение новых видов грамотности (цифровой и информационной, медиаграмотности и т.д.) усложняют процессы текстовой интерпретации, что приводит к тому, что компьютеры исключают из нее человека. Формируя новую идентичность, машины подталкивают нас к осуществлению определенных действий, приводящих к переплетению человеческого ощущения себя и человеческой активности с машинным «я» и активностью иных агентов [2. Р. 5–11].

Таким образом, искусственный интеллект и смарт-технологии все более вторгаются в деятельность человека и выполняют работу, ранее доступную исключительно ему: чтение и перевод текстов, создание изображений, сбор данных и проч. Это приводит к тому, что представления и оценка грамотности попадают исключительно под контроль машин. Отсюда необходимость придерживаться активной позиции в отношении ИТ и формировать критическую грамотность, особенно в отношении роли машин в интерпретации текстов и изображений.

Позиция других авторов, испытывающих некоторый, а иногда даже весьма значительный скепсис по поводу роли и места ИТ в образовательном процессе, состоит в утверждении того, что применение машинных технологий, в том числе смарт-технологий в ходе обучения грамотности необходимо минимизировать, а то и вовсе исключить. Один из сторонников данной позиции Лэнгдон Виннер (Langdon Winner) аргументирует ее тем, что попытки внедрить в образование новые технические средства и программное обеспечение не являются специфической особенностью современного ее состояния. Эти попытки предпринимались и раньше. Но, несмотря на то, что каждая из них претендовала на некоторую революционность, все они приводили скорее к разочарованию, чем к успеху. Отсюда скепсис Л. Виннера и в отношении современных кандидатов на производство революции в образовании – компьютеров и Интернета, а также других информационных технологий, вклю-

чающих программируемые обучающие машины, кабельное телевидение, портативные видеокамеры, ноутбуки и SMART-платы с большим экраном [22. Р. 587]. Его вывод состоит в том, что не пакеты аппаратного и программного обеспечения должны определять содержание современного образования. Ключ к любому хорошему образованию он видит в наличии преданных, знающих и вдохновляющих учителей, способных распознать, кем является конкретный ученик и что ему нужно. Необходимо различать пропаганду технологий в образовании и деятельность по обучению, которой занимаются преподаватели, пробуждающие у студентов любовь к учебе [22. Р. 590]. Казалось бы, позиция Л. Винера идет вразрез с онто-этико-эпистемологическими установками постгуманистов, но это не так. Она лишний раз подчеркивает, что постгуманизм – это не антигуманизм, а политический, этический, ориентированный на справедливый подход, нацеленный на прояснение того, как этика и справедливость провоцируют формирование новых способов существования, действия и понимания грамотности [17. Р. 289].

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо подчеркнуть теоретико-познавательный потенциал постгуманизма в исследовании грамотности, проявляющий себя в радикальной открытости данного подхода в отношении изучения того влияния, которое оказывают ИТ и смарт-технологии на формирование новых социальных и образовательных практик, а также новых практик грамотности.

Вместе с тем теоретики постгуманизма придерживаются критической позиции в отношении возможности и необходимости формулирования нового определения грамотности, отличного от ранее созданных. Их позиция, состоящая в утверждении, что постгуманистические теории призваны подталкивать людей рассматривать грамотность не как статичную, культурно или социально сконструированную, а как активного агента, возникающего в результате взаимодействия между людьми, технологиями и другими нечеловеческими агентами, открывает новые возможности для теоретического осмысления грамотности.

Список источников

1. *Ardashkin I.B., Chmykhala A.Y., Makienko M.A., Khaldeeva M.A.* Smart-Technologies in Higher Engineering Education: Modern Application Trends // *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*. 2018. P. 57–64.
2. *Leander K.M., Burriss S.K.* Critical literacy for a posthuman world: When people read, and become, with machines // *Br J Educ Technol*. 2020. № 51. P. 1262–1276.
3. *Alvermann D.* Literacies and Their Investigation Through Theories and Models // *Theoretical Models and Processes of Literacy*, 3-34 – January 1970 / eds. D.E. Alvermann, N.J. Unrau, M. Sailors, R.B. Ruddell. 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315110592-2>
4. *Greengard S.* The Internet of Things. Cambridge, MA : MIT Press, 2015. 232 p.
5. *Ардашкин И.Б., Суровцев В.А.* Смарт-технологии как понятие и феномен: к вопросу о критериях // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2021. № 60. С. 32–44.
6. *Гуренок Ф.И.* Философские истоки нечеловеческой антропологии // *Вопросы философии и психологии*. 2019. № 6 (1). С. 8–13.
7. *Крайнов А.Л.* От гуманизма к постгуманизму: трансформация представлений о человеке в философской мысли // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика*. 2023. Т. 23, № 1. С. 15–19.
8. *Ростова Н.Н.* Философские истоки постгуманизма: к проблеме нечеловеческого // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2023. № 72. С. 151–162. doi: 10.17223/1998863X/72/14

9. Криман А.И. Философия постмодернизма как условие возникновения постгуманизма // Сибирский философский журнал. 2021. Т. 19, № 3. С. 161–174.
10. Иванова С.В. Постгуманизм vs гуманизация образования // Ценности и смыслы. 2021. № 5 (75). С. 6–23.
11. Грязнов С.А. Постгуманизм: образовательный контекст // Инновации в образовании. 2023. № 4. С. 4–11.
12. *Posthumanism and Literacy Education: Knowing/Becoming/Doing Literacies* (1st ed.) / eds. C. Kuby, K. Spector, J. Thiel Johnson. Routledge, 2018.
13. Olssen L.M. Movement and experimentation in young children's learning: Deleuze and Guattari in early childhood education. New York, NY : Routledge. 2009.
14. Vecchi V. Art and creativity in Reggio Emilia: Exploring the role and potential of ateliers in early childhood education. New York, NY : Routledge. 2010.
15. Thiel J.J. "Bumblebee's in trouble!" Embodied literacies during imaginative superhero play. // *Language Arts*. 2015. № 93. P. 38–43.
16. Nichols T.P., Campano G. Post-Humanism and Literacy Studies // *Language Arts*. 2017. Vol. 94, № 4. P. 245–251.
17. Kuby C.R., Rowsell J. Early literacy and the posthuman: Pedagogies and methodologies // *Journal of Early Childhood Literacy*. 2017. № 17 (3). P. 285–296.
18. Spector K., Kidd Briana G. Diffracting: The Ungraspable In-Between of Posthuman Literacies // eds. C. Kuby, K. Spector, J. Johnson Thiel. *Posthumanism and Literacy Education: Knowing/Becoming/Doing Literacies* (1st ed.). Routledge, 2018. P. 61–68.
19. I. Braidotti R. The posthuman. Cambridge: Polity. 2013. 180 p.
20. Lather P., St. Pierre E.A. Post-qualitative research // *International Journal of Qualitative Studies in Education*. 2013. № 26 (6). P. 629–633.
21. Kuntz A. The responsible methodologist: Inquiry, truth-telling, and social justice. Walnut Creek, CA : Left Coast Press, 2015.
22. Winner L. Information Technology and Educational Amnesia // *Policy Futures in Education*. 2009. № 7 (6). P. 587–591. <https://www.learntechlib.org/p/108921/>

References

1. Ardashkin, I.B., Chmykhalo, A.Y., Makienko, M.A. & Khaldeeva, M.A. (2018) Smart-Technologies in Higher Engineering Education: Modern Application Trends. In: Ardashkin, I.B. & Martyushev, N.V. (eds) *Research Paradigms Transformation in Social Sciences*. Vol. 50. pp. 57–64. DOI: 10.15405/epsbs.2018.12.8
2. Leander, K.M. & Burris, S.K. (2020) Critical literacy for a posthuman world: When people read, and become, with machines. *British Journal of Educational Technology*. 51. pp. 1262–1276.
3. Alvermann, D. (2013) Literacies and Their Investigation Through Theories and Models. In: Alvermann, D.E., Unrau, N.J., Sailors, M. & Ruddell, R.B. (eds) *Theoretical Models and Processes of Literacy*. 7th ed. DOI: 10.4324/9781315110592-2
4. Greengard, S. (2015) *The Internet of Things*. Cambridge, MA: MIT Press.
5. Ardashkin, I.B. & Surovtsev, V.A. (2021) Smart Technologies as a Concept and Phenomenon: On Criteria. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 60. pp. 32–44. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/60/4
6. Girenok, F.I. (2019) Filosofskie istoki nechelovecheskoy antropologii [Philosophical origins of non-human anthropology]. *Voprosy filosofii i psikhologii*. 6(1). pp. 8–13.
7. Kraynov, A.L. (2023) Ot gumanizma k postgumanizmu: transformatsiya predstavleniy o cheloveke v filosofskoy mysli [From humanism to posthumanism: Transformation of ideas about man in philosophical thought]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika*. 23(1). pp. 15–19.
8. Rostova, N.N. (2023) Philosophical origins of posthumanism: On the problem of the non-human. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 72. pp. 151–162. (In Russian).
9. Kriman, A.I. (2021) Filosofiya postmodernizma kak uslovie vozniknoveniya postgumanizma [Philosophy of Postmodernism as a Condition for the Emergence of Posthumanism]. *Sibirskiy filosofskiy zhurnal*. 19(3). pp. 161–174.
10. Ivanova, S.V. (2021) Postgumanizm vs gumanizatsiya obrazovaniya [Posthumanism vs. Humanization of Education]. *Tsennosti i smysly*. 5(75). pp. 6–23.

11. Gryaznov, S.A. (2023) Postgumanizm: obrazovatel'nyy kontekst [Posthumanism: Educational Context]. *Innovatsii v obrazovanii*. 4. pp. 4–11.
12. Kuby, C., Spector, K. & Thiel Johnson, J. (eds) (2018) *Posthumanism and Literacy Education: Knowing/Becoming/Doing Literacies*. 1st ed. Routledge.
13. Olssen, L.M. (2009) *Movement and experimentation in young children's learning: Deleuze and Guattari in early childhood education*. New York, NY: Routledge.
14. Vecchi, V. (2010) *Art and creativity in Reggio Emilia: Exploring the role and potential of ateliers in early childhood education*. New York, NY: Routledge.
15. Thiel, J.J. (2015) “Bumblebee’s in trouble!” Embodied literacies during imaginative superhero play. *Language Arts*. 93. pp. 38–43.
16. Nichols, T.P. & Campano, G. (2017) Post-Humanism and Literacy Studies. *Language Arts*. 94(4). pp. 245–251.
17. Kuby, C.R. & Rowsell, J. (2017) Early literacy and the posthuman: Pedagogies and methodologies. *Journal of Early Childhood Literacy*. 17(3). pp. 285–296.
18. Spector, K. & Kidd, B.G. (2018) Diffracting: The Ungraspable In-Between of Posthuman Literacies. In: Kuby, C., Spector, K. & Johnson Thiel, J. (eds) *Posthumanism and Literacy Education: Knowing/Becoming/Doing Literacies*. 1st ed. Routledge. pp. 61–68.
19. Braidotti, R. (2013) *The Posthuman*. Cambridge: Polity.
20. Lather, P. & St. Pierre, E.A. (2013) Post-qualitative research. *International Journal of Qualitative Studies in Education*. 26(6). pp. 629–633.
21. Kuntz, A. (2015) *The responsible methodologist: Inquiry, truth-telling, and social justice*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
22. Winner, L. (2009) Information Technology and Educational Amnesia. *Policy Futures in Education*. 7(6). pp. 587–591.

Сведения об авторах:

Чмыхало А.Ю. – кандидат философских наук, доцент отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: sanichtom@tpu.ru

Жаркова М.А. – кандидат философских наук, доцент Отделения социально-гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). E-mail: mma1252@tpu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Chmykhalo A.Yu. – Cand. Sci. (Philosophy), docent; associate professor of the Department of Social Sciences and Humanities, School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: sanichtom@tpu.ru

Zharkova M.A. – Cand. Sci. (Philosophy), docent; associate professor of the Department of Social Sciences and Humanities, School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: mma1252@tpu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.05.2024;
одобрена после рецензирования 19.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 20.05.2024;
approved after reviewing 19.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 316.42
doi: 10.17223/1998863X/80/14

«ЧУВСТВО МЕСТА» КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Марина Викторовна Ненашева

*Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск, Россия, m.nenasheva@narfu.ru*

Аннотация. На примере Приморского района Архангельской области рассматривается влияние чувства места на социальную жизнестойкость в условиях глобальных вызовов. Выявлены факторы, обуславливающие привязанность жителей к месту проживания. Сделан вывод о том, что чувство места способствует адаптации жителей к внешним воздействиям и содержит потенциал для саморазвития деревень.

Ключевые слова: глобальные вызовы, общество, изменения, жизнестойкость, чувство места

Благодарности: исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания № FSRU-2023-004.

Для цитирования: Ненашева М.В. «Чувство места» как фактор социальной жизнестойкости: опыт социологического анализа // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 157–165. doi: 10.17223/1998863X/80/14

SOCIOLOGY

Original article

“SENSE OF PLACE” AS A FACTOR OF SOCIAL RESILIENCE: AN EXPERIENCE OF A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Marina V. Nenasheva

Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russian Federation, m.nenasheva@narfu.ru

Abstract. In the modern world, there is an increase in global problems that manifest themselves in different ways at the local level. In this regard, the question of how local communities cope with the consequences of global changes becomes relevant. In search of an answer, scientists turned to the study of factors affecting the ability of communities to withstand external influences and recover from them. The results of the research led to the emergence of the concept of social resistance, according to which both internal and external resources affect the resilience of communities. The resources include the natural, social, and cultural features of the territory where people live, which create an emotional connection

between people and places. Scientists believe that in the face of global challenges, a sense of place is one of the factors that contribute to the adaptation of communities to external changes. However, to test this hypothesis, research is needed to establish the impact of a sense of place on society's ability to withstand various challenges. In this regard, the aim of the study is to substantiate the role of a sense of place in the formation of social resilience, taking into account local contexts. To reach the aim, sociological studies were conducted in rural settlements of Primorsky District of Arkhangelsk Oblast. During in-depth interviews with villagers, two tasks were solved: (1) identifying the factors that contribute to the formation of a sense of place among local residents and (2) finding out whether a sense of place and attachment to a place affects the ability of the local population to adapt to external changes. The results of the study confirmed that local residents have a sense of place, indicators of which are Pomeranian identity, natural and socio-cultural capital, and close ties between residents. It turned out that the sense of place of rural residents, formed by the community of the territory of residence and the similarity of everyday life practices, contributes to better adaptation to external changes and carries the potential for transformation. The initiators of these transformations are activists from among local residents who develop the cultural potential of the territories, creating new opportunities for self-development of villages.

Keywords: global challenges, society, changes, resilience, sense of place

Acknowledgments: The study is supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of state assignment No. FSRU-2023-004.

For citation: Nenasheva, M.V. (2024) "Sense of place" as a factor of social resilience: an experience of a sociological analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 157–165. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/14

Введение

Концепция социальной жизнестойкости начала развиваться в начале 2000-х гг. в связи с ростом глобальных вызовов, которые испытывает современное общество [1]. В попытках найти ответы на эти вызовы ученые обратились к исследованию внутреннего потенциала общества и тому, как оно реагирует и адаптируется к различным изменениям. За основу была взята теория резилиентности, которая сегодня является альтернативой концепции устойчивого развития (англ. sustainable development) и новой методологией исследования способов реагирования общества на внешние угрозы как на локальном, так и на глобальном уровне.

Английское слово «резилиентность» (англ. resilience) заимствовано из естественных наук, где оно характеризует свойство физических объектов возвращаться в исходное состояние после некоторого воздействия. С середины XX в. концепция резилиентности стала использоваться в теории экологической устойчивости, а затем апробирована на социально-экономических системах, закрепившись в терминах social resilience и community resilience («социальная жизнестойкость» и «жизнестойкость сообществ») [2].

В настоящее время понятие «социальная жизнестойкость» является дискуссионным, оно рассматривается в различных областях знания и до конца не определено. Как правило, под социальной жизнестойкостью понимается способность общества реагировать на негативные внешние воздействия различных событий и процессов, например экономических, политических, экологических, и восстанавливаться после них [3]. При этом акцент делается на адаптационном потенциале общества, его способности реагировать на внешние воздействия и восстанавливаться.

Предпринимаются попытки определить внутренние и внешние факторы социальной жизнестойкости. К первым исследователи относят индивидуальные особенности людей, такие как психологическая устойчивость, а также убеждения и уверенность в преодолении кризисных ситуаций. Данный подход соотносится с концепцией салютогенеза А. Антоновского [4], а также с понятием жизнестойкости (англ. *hardiness*), введенным С. Мадди. По мнению А. Антоновского, психологическая устойчивость позволяет людям адаптироваться и преодолевать негативные последствия кризисных ситуаций. При этом стремление к психологическому благополучию, или «салютогенетическую ориентацию», можно наблюдать не только на примере отдельного человека, но и социальной группы и общества в целом. Согласно С. Мадди, важным условием жизнестойкости являются социальные связи и активное участие человека в общественной жизни, которые способствуют преодолению экзистенциальных вызовов [5].

В определении внешних факторов социальной жизнестойкости ученые используют территориальный подход, с позиции которого исследуют географические, природные, экономические, социальные условия проживания людей. Считается, что глобальные вызовы по-разному проявляются и воспринимаются на локальном уровне. В этой связи концепция социальной жизнестойкости часто рассматривается на примере «местных» сообществ – людей, которые проживают на одной территории, имеют общие интересы, ценности и социальные связи [6].

Ученые полагают, что внутренние факторы оказывают большее воздействие на социальную жизнестойкость, чем внешние. Это действительно так, если рассматривать общество как множество индивидов, однако это не дает оснований утверждать, что индивидуальная жизнестойкость определяет жизнестойкость общества. Правильнее говорить, что внутренние факторы влияют на жизнестойкость отдельных людей, в то время как внешние факторы определяют жизнестойкость сообщества в целом [2]. При таком подходе взаимосвязь между жизнестойкостью и местом проживания людей играет не менее важную роль в преодолении различных кризисов, чем взаимоотношения человека с самим собой и другими. Результаты анализа зарубежных исследований этой темы показывают, что связь с местом может способствовать адаптации сообществ к различным вызовам и тем самым повышать социальную жизнестойкость [7–9].

В науке традиция осмысления понятия «место» восходит к Аристотелю, который рассматривал его в контексте древнегреческих представлений о пространстве. В трактате «Физика» Аристотель говорит о месте как о способе фиксации и разграничения физических тел [10]. Такое понимание места господствовало в философии вплоть до XVIII в. В «Критике чистого разума» И. Кант также пишет, что чувственные вещи должны занимать в пространстве определенные места. Вместе с тем он указывает на первичность чувственного созерцания пространства по отношению к внешнему опыту, акцентируя внимание на субъективной природе восприятия пространства человеком, а также на перцептивных и когнитивных аспектах этого опыта [11. С. 50–51].

Идея чувственного созерцания пространства и места была продолжена в феноменологии Э. Гуссерля. Философ считал, что то, как мы ощущаем свое

тело, глубоко влияет на то, как мы воспринимаем место, вплоть до того, что само тело через внутренние и внешние восприятия можно рассматривать как составляющую самого места [12]. Идея Э. Гуссерля о теле субъекта как условии и источнике порождения места получила свое дальнейшее развитие в работах М. Мерло-Понти. В «Феноменологии восприятия» автор пишет, что «место – это не участок пространства, не набор созданных вещей, место – это пространство возможностей для моего тела» [13]. Таким образом, человеческое тело никогда не бывает без места и место никогда не бывает без тела, живое тело само по себе является местом.

Идея места как перцептивного единства человека и физической среды обитания легла в основу концепции «чувства места» (англ. *sense of place*), которая начала разрабатываться с середины 70-х гг. XX в. И-Фу Туаном. Основоположник гуманитарной географии считал, что место имеет сакральное значение. Человек конституирует место и наделяет его определенным значением, благодаря чему оно приобретает индивидуальность (дух) и уникальность [14]. Индивидуальность места – это совокупность природных (физических) особенностей местности и тех изменений, которые вносили в нее люди на протяжении некоторого времени. В результате такого взаимодействия место приобретает характерное «лицо» и вызывает эмоциональную привязанность (англ. *place attachment*), осознать которую можно только тогда, когда человек его покидает или находится на расстоянии от него [14].

Дальнейшее развитие концепция «чувства места» получила в междисциплинарных исследованиях, которые можно разделить на три группы: 1) теоретико-методологические исследования содержания понятия «чувство места» и разработка методологии измерения уровня восприятия места людьми на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях [15, 16]; 2) оценка влияния биофизических и социокультурных факторов на привязанность к месту [17, 18] и 3) исследования, в которых чувственное восприятие места рассматривается как фактор формирования социальной идентичности [19, 20]. В связи с ростом глобальных проблем в последнее десятилетие появляется все больше работ, в которых чувство места рассматривается в качестве фактора адаптации сообществ к внешним изменениям и устойчивого развития территорий [21, 22]. Утверждается, например, что привязанность к месту часто становится причиной, по которой люди отказываются покидать определенные места, что приводит к сдерживанию отрицательной миграции.

Несмотря на имеющийся научный интерес к исследованию взаимосвязи между людьми и местом в контексте глобальных изменений, эти исследования чаще фокусируются на индивидуальном отношении человека к среде и в меньшей степени на том, как чувство места и привязанность к месту влияют на способность социальных групп и общества противостоять различным кризисам. Этим обуславливается актуальность исследования, цель которого заключается в обосновании роли чувства места в формировании социальной жизнестойкости в определенных социально-экономических и культурных контекстах. В качестве полигона для исследования выбран Приморский район Архангельской области. На наш взгляд, исследование локальных факторов социальной жизнестойкости на уровне сообществ, а не индивидуумов согласуется с растущим пониманием того, что решения многих глобальных проблем могут быть найдены на местном уровне.

Материалы и методы

Полевые работы проводились в 2021–2022 гг. в поморских деревнях и селах, расположенных на островных и прибрежных территориях Приморского района Архангельской области. Исторически эти территории населяли поморы, жизнедеятельность которых была тесно связана с судоходством, морским промыслом и рыболовством. Всего полевыми исследованиями было охвачено 14 сельских поселений, расположенные в дельте р. Северная Двина и на побережье Белого моря.

Во время исследований использовался социально-антропологический подход, благодаря которому получена описательная и качественная информация о демографическом и социально-экономическом развитии рассматриваемых территорий, а также повседневных практиках жизнедеятельности местного населения. Основу исследовательской методики составили неформализованные глубинные интервью с сельскими жителями, а также включенное наблюдение за жизнедеятельностью местного населения.

Интервью проводились в форме непринужденной беседы и включали блоки вопросов о биографии респондентов, их образе жизни, участии в социально-экономической и культурной жизни села. Для выяснения связи населения с местом использовалась модель, предложенная П. Гюстафсоном, в которой выделяется три ключевых взаимодействия: а) влияние жизненного пути, деятельности и самоидентификации людей на связь с местом; б) влияние социальных связей и социальных норм на привязанность к месту; в) влияние физических параметров среды (местоположение, природа) на связь с местом [23].

Результаты

В настоящее время большинство обследованных деревень и сел испытывают социально-экономический кризис. Сельское хозяйство, которое долгие годы было основой социально-экономического развития территорий, находится в упадке. В условиях отсутствия рабочих мест наблюдается постоянное сокращение численности и снижение уровня жизни местного населения. Несмотря на отрицательную демографическую динамику и сложную социально-экономическую ситуацию, в обследованных деревнях до сих пор постоянно проживают люди.

Из интервью мы выяснили, что большая часть местных жителей относят себя к поморам, объясняя это наличием в семье предков, которые занимались традиционными для поморов видами хозяйственной деятельности (рыболовством, охотой на морского зверя, добычей водорослей), а также многолетней связью с поморской землей, которая отразилась на их собственном мироощущении и восприятии себя в качестве поморов («мы – поморы»). Практически все опрошенные обладают чувством границ того места, где они проживают: они хорошо знают, где заканчивается «территория» их деревни, села и начинается чужая. Маркерами такого разграничения зачастую являются не административные границы поселений, а водные преграды: море, река, озеро.

Эмоции, испытываемые людьми по отношению к местам проживания, находят выражение в местной риторике, отражающей укорененность жителей («я коренной, местный»), особое отношение к деревне, где они родились и выросли, («у нас здесь родовые гнезда», «страшно потерять родительский дом») и окружающей среде («скромная красота», «тишина и спокойствие»).

Эти эмоции характеризуют жизненный мир селян и определяют их отношение к внешним условиям. Подобно лодкам, пришвартованным к причалу, люди оказываются привязанными к своим деревням опытом прошлого и настоящего («ведь есть такие, кто не выезжал никуда и никогда»).

Особое место в картине мира селян занимает море – сакральное пространство, где происходит ежедневная встреча человека со стихией и проверка не столько его физических, сколько духовно-нравственных оснований человека («мы – поморы, потому что у моря живем»). Море – это место личной мистической встречи человека с Богом («кто в море не хаживал, тот Бога не маливался»).

Функциональный уклад жизни поморов также создает ощущение места через сформированное годами «поле привычек», которое включает повседневные, рутинные практики жизнедеятельности: морские или речные рыбные промыслы, добычу водорослей, судоходство по северным рекам и Белому морю, перемещения внутри и между населенными пунктами. Традиционные виды деятельности поддерживаются ежегодными праздниками – день рыбака, день деревни, которые укрепляют эмоциональную связь между людьми и местами и придают им свой характер.

Несмотря на то что жители деревень обладают эмоциональной привязанностью к месту проживания, это чувство становится осознанным только тогда, когда сельские жители вынуждены на время уезжать в соседние деревни или город. В такие моменты они острее осознают свою идентичность и связь с местом («в город ездим на полдня и все, голова болит, а здесь спокойно, хорошо, природа, чистый воздух. Привыкли уже»).

Чувство места проявляется через прочные межличностные отношения, которые основаны на родственных, добрососедских связях, а также длительности совместного проживания в одной деревне («мы здесь все друг друга знаем»). Важным элементом сплочения населения являются места, где люди могут собираться, встречаться и взаимодействовать. В качестве таких мест сельские жители упоминают дома культуры, музеи, церкви. Эти места способствуют развитию межличностных связей и социальной инклюзивности селян. Инициаторами досуговых мероприятий выступают активисты из числа местных жителей, как правило, работников сельских клубов либо школьных учителей. Эти люди, вдохновленные историей деревень, поморской культурой, опираясь на свои знания и организаторские способности, развивают музейное творчество, художественную самодеятельность, занимаются восстановлением и сохранением религиозных памятников. Они же участвуют в проектах по развитию общественных организаций, создают ТОСы, заручаются поддержкой муниципальных органов власти, активно участвуют в подаче заявок на гранты для финансирования своих проектов, открывая возможности для развития местного туризма. По словам опрошенных, культурные мероприятия оказывают большое влияние на благосостояние местных жителей и их активное участие в жизни деревень.

Обсуждение результатов

Результаты исследования позволяют выделить три ключевых фактора, которые влияют на формирование связи с местом и создание ощущения места у сельских жителей рассматриваемых территорий: а) поморская идентич-

ность, б) природная и культурная среда, в) социальная коммуникация и взаимодействие. Эти факторы влияют на отождествление местными жителями себя с поморской землей, привязанность к ней и зависимость от нее. Отождествление себя через среду дает местным жителям понимание того, кто они и где их место, привязанность отражает эмоциональное отношение селян к своим деревням, а зависимость выражается в привычках к определенному образу жизни, который сформирован длительностью проживания на поморской земле.

В контексте исследований социальной резилиентности указанные факторы считаются основными элементами жизнестойкости сообществ в условиях различных кризисов. Идентичность, природный и социокультурный капитал, тесные связи между жителями, основанные на общности территории проживания, схожести повседневных практик жизнедеятельности, способствуют лучшей адаптации к внешним изменениям и несут в себе потенциал для преобразований. Результаты нашего исследования показывают, что природная и культурная среда вдохновляют активистов из числа местных жителей на реализацию различных социокультурных проектов, которые способствуют диверсификации средств к существованию и постепенному саморазвитию деревень в условиях социально-экономической нестабильности.

Результаты исследования подтверждают влияние чувства места и привязанности к месту на способность местного населения адаптироваться к внешним изменениям. Вместе с тем следует учесть, что данное исследование проводилось на примере конкретной географической территории, поэтому, прежде чем делать более масштабные умозаключения о причинно-следственных связях между чувством места и социальной жизнестойкостью, необходимо проведение дополнительных лонгитюдных исследований, которые позволят более полно отразить широту и сложность этой взаимосвязи.

Выводы

В условиях глобальных вызовов исследование социальной жизнестойкости является новым и перспективным направлением науки. Несмотря на содержательную незрелость понятия, общий методологический подход к ее оценке основан на выявлении факторов, способствующих адаптации людей к внешним воздействиям и восстановлению после них. Результаты социологического исследования позволяют сделать вывод о том, что одним из таких факторов является чувство места, которое влияет на способность местного населения адаптироваться к внешним изменениям и несет в себе потенциал для преобразований.

Список источников

1. Белкин Г.Л. Человек в глобальном мире: риски и перспективы. М. : Канон+, 2021. 368 с.
2. Ненашева М.В. Жизнестойкость арктических сообществ: концепция, методология, направление исследований // Арктика и Север. 2023. № 51. С. 262–273.
3. Davidson D.J. The applicability of the concept of resilience to social systems: Some sources of optimism and nagging doubts // Society and Natural Resources. 2010. № 23. P. 1135–1149.
4. Осин Е.Н. Чувство связности как показатель психологического здоровья и его диагностика // Психологическая диагностика. 2007. № 3. С. 22–40.
5. Мадди С. Смыслообразование в процессе принятия решений // Психологический журнал. 2005. Т. 26, № 6. С. 87–101.
6. Демчук Н.В. Местное сообщество: интерпретация понятия // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019. Вып. 2 (41). С. 111–121.

7. Berkes F., Ross H. Community resilience: toward an integrated approach // *Society and Natural Resources*. 2013. Vol. 26, № 1. P. 5–20.
8. Amundsen H. Place attachment as a driver of adaptation in coastal communities in northern Norway // *Local Environment*. 2013. Vol. 20, № 3. P. 257–276. doi: 10.1080/13549839.2013.838751
9. Lyon C. Place systems and social resilience: a framework for understanding place in social adaptation, resilience, and transformation // *Society and Natural Resources*. 2014. Vol. 27, № 10. P. 1009–1023. doi: 0.1080/08941920.2014.918228
10. Аристотель. Физика. М. : Азбука-Аттикус, 2023. 322 с.
11. Кант И. Критика чистого разума. М. : Мысль, 1994. 591 с.
12. Гуссерль Э. Кризис европейских науки и трансцендентальная феноменология. СПб. : Владимир Даль, 2004. 399 с.
13. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М. : Ювента : Наука, 1999. 608 с.
14. Tuan T.-F. Space and place: humanistic perspective. URL: https://is.muni.cz/el/sci/podzim2013/Z0131/um/Tuan_1979_space-place.pdf (дата обращения: 22.01.2024).
15. Резниченко С.И. Привязанность к месту и чувство места: модели и феномены // *Социальная психология и общество*. 2014. № 3. С. 15–27.
16. Shamai S., Ilatov Z. Measuring Sense of Place: Methodological Impacts // *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*. 2005. Vol. 96, № 5. P. 467–476.
17. Adger W.N., Barnett J., Chapin F.S. III, Ellemor H. This must be the place: underrepresentation of identity and meaning in climate change decision // *Global Environmental Politics*. 2011. № 11. P. 1–25.
18. Brown G., Raymond C. The relationship between place attachment and landscape values: toward mapping place attachment // *Applied Geography*. 2007. Vol. 27, № 2. P. 89–111.
19. Жердева Ю.А. Чувство места как категория социальной памяти // *Международный журнал исследований культуры*. 2015. № 2. С. 5–11.
20. Головнева Е.В. «Чувство места» в Сибири: эмоциональный компонент сибирской идентичности // *Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение*. 2017. № 28. С. 17–26. doi: 10.17223/22220836/28/2
21. Chapin F.S., Knapp C.N. Sense of place: a process for identifying and negotiating potentially contested visions of sustainability // *Environmental Science&Policy*. 2015. № 53. P. 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.04.012>
22. Masterson V., Stedman R.C., Enqvist J. et al. The contribution of sense of place to social-ecological systems research: a review and research agenda // *Ecology and Society*. 2017. Vol. 22, № 1. doi: 10.5751/ES-08872-220149
23. Gustafson P.E.R. Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations // *Journal of Environmental Psychology*. 2001. Vol. 21, № 1. P. 5–16.

References

1. Belkin, G.L. (2021) *Chelovek v global'nom mire: riski i perspektivy* [Man in the global world: risks and prospects]. Moscow: Canon+.
2. Nenasheva, M.V. (2023) *Zhiznестойkost' arkticheskikh soobshchestv: kontseptsiya, metodologiya, napravlenie issledovaniy* [Resilience of Arctic communities: The concept, methodology, direction of research]. *Artika i Sever*. 51. pp. 262–273.
3. Davidson, D.J. (2010) The applicability of the concept of resilience to social systems: Some sources of optimism and nagging doubts. *Society and Natural Resources*. 23. pp. 1135–1149.
4. Osin, E.N. (2007) *Chuvstvo svyaznosti kak pokazatel' psikhologicheskogo zdorov'ya i ego diagnostika* [A sense of connectedness as an indicator of psychological health and its diagnosis]. *Psikhologicheskaya diagnostika*. 3. pp. 22–40.
5. Maddi, S. (2005) Semantic formation in the decision-making process. *Psychological Journal*. 26(6). pp. 87–101.
6. Demchuk, N.V. (2019) *Mestnoe soobshchestvo: interpretatsiya ponyatiya* [Local community: An interpretation of the concept]. *Vestnik Maykopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta*. 2 (41). pp. 111–121.
7. Berkes, F. & Ross, H. (2013) Community resilience: towards an integrated approach. *Society and Natural Resources*. 26(1). pp. 5–20.
8. Amundsen, H. (2013) Place attachment as a driver of adaptation in coastal communities in northern Norway. *Local Environment*. 20(3). pp. 257–276. DOI: 10.1080/13549839.2013.838751
9. Lyon, C. (2014) Place systems and social resilience: a framework for understanding place in social adaptation, resilience, and transformation. *Society and Natural Resources*. 27(10). pp. 1009–1023. DOI: 10.1080/08941920.2014.918228

10. Aristotle. (2023) *Fizika* [Physics]. Moscow: Azbuka-Attikus.
11. Kant, I. (1994) *Kritika chistogo razuma* [Criticism of Pure Reason]. Translated from German. Moscow: Mysl'.
12. Husserl, E. (2004) *Krizis evropeyskikh nauki i transtsendental'naya fenomenologiya* [The crisis of European science and transcendental phenomenology]. Translated from German. St. Petersburg: Vladimir Dahl.
13. Merleau-Ponty, M. (1999) *Fenomenologiya vospriyatiya* [Phenomenology of Perception]. Translated from French. Moscow: Yuventa: Nauka.
14. Tuan, T.-F. (2013) *Space and place: humanistic perspective*. [Online] Available from: https://is.muni.cz/el/sci/podzim2013/Z0131/um/Tuan_1979_space-place.pdf (Accessed: 22nd January 2024).
15. Reznichenko, S.I. (2014) Privyazannost' k mestu i chuvstvo mesta: modeli i fenomeny [Attachment to a place and a sense of place: Models and phenomena]. *Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo*. 3. pp. 15–27.
16. Shamai, S. & Ilatov, Z. (2005) Measuring Sense of Place: Methodological Impacts. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*. 96(5). pp. 467–476.
17. Adger, W.N., Barnett, J., Chapin, F.S. III & Ellemor, H. (2011) This must be the place: underrepresentation of identity and meaning in climate change decision. *Global Environmental Politics*. 11. pp. 1–25.
18. Brown, G. & Raymond, C. (2007) The relationship between place attachment and landscape values: toward mapping place attachment. *Applied Geography*. 27(2). pp. 89–111.
19. Zherdeva, Yu.A. (2015) Chuvstvo mesta kak kategoriya sotsial'noy pamyati [The sense of place as a category of social memory]. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury*. 2. pp. 5–11.
20. Golovneva, E.V. (2017) "Place attachment in Siberia": the emotional component in the structure of Siberian identity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*. 28. pp. 17–26. (In Russian). DOI: 10.17223/22220836/28/2
21. Chapin, F.S. & Knapp, C.N. (2015) Sense of place: a process for identifying and negotiating potentially contested visions of sustainability. *Environmental Science & Policy*. 53. pp. 1–9. DOI: 10.1016/j.envsc.2015.04.012
22. Masterson, V., Stedman, R.C., Enqvist, J. et al. (2017) The contribution of sense of place to social-ecological systems research: a review and research agenda. *Ecology and Society*. 22(1). DOI: 10.5751/ES-08872-220149
23. Gustafson, P.E.R. (2001) Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations. *Journal of Environmental Psychology*. 21(1). pp. 5–16.

Сведения об авторе:

Ненашева М.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (Архангельск, Россия). E-mail: m.nenasheva@narfu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nenasheva M.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department of Philosophy and Sociology, Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk, Russian Federation). E-mail: m.nenasheva@narfu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 03.04.2024;
одобрена после рецензирования 19.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 03.04.2024;
approved after reviewing 19.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья

УДК 316.33

doi: 10.17223/1998863X/80/15

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Татьяна Геннадьевна Светличная¹, Елена Алексеевна Смирнова²

¹ Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия,
statiana@yandex.ru

² Череповецкий государственный университет, Череповец, Россия, smirnova56@yandex.ru

Аннотация. Изучена удовлетворенность населения качеством решения проблем в сфере здравоохранения и оказанной медицинской помощью как предиктора приверженности лечению и индикатора чувствительности (отзывчивости) здравоохранения к нуждам, потребностям и запросам населения. Базой исследования послужил г. Череповец ($n = 318$). Использовалась анкета, разработанная Э.А. Мордовским, А.Л. Санниковым, К.Б. Корниенко.

Ключевые слова: отношение населения, система здравоохранения, медицинские работники, пациенты, горожане

Для цитирования: Светличная Т.Г., Смирнова Е.А. Удовлетворенность населения реализацией прав на охрану здоровья и медицинскую помощь // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 166–172. doi: 10.17223/1998863X/80/15

Original article

SATISFACTION OF THE POPULATION WITH THE REALIZATION OF THE RIGHTS TO HEALTH PROTECTION AND MEDICAL CARE

Tatiana G. Svetlichnaya¹, Elena A. Smirnova²

¹ Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russian Federation, statiana64@yandex.ru

² Cherepovets State University, Cherepovets, Russian Federation, smirnova56@yandex.ru

Abstract. The strategy of socio-economic development of the region until 2030 calls the reduction of the population due to natural factors and migration outflow one of the main factors limiting the development of the region. To prevent the development of a negative situation, it is necessary to improve population's health, which is impossible without early detection of diseases and following all the doctor's recommendations, which is impossible without the population's positive attitude to the work of the healthcare system and medical workers. This work aims to study the population's satisfaction with the quality of solving problems in the field of healthcare and medical care provided as a predictor of citizens' commitment to treatment and an indicator of the sensitivity (responsiveness) of healthcare to the needs, wishes and requests of the population. Residents of the city of Cherepovets ($n = 318$) were interviewed. The questionnaire developed by E.A. Mordovsky, A.L. Sannikov, and K.B. Kornienko was used. The satisfaction of Cherepovets residents with the work of the healthcare system is higher (50.4%) than the all-Russian indicators (47.3%).

Keywords: attitude of population, healthcare system, medical workers, patients, citizens

For citation: Svetlichnaya, T.G. & Smirnova, E.A. (2024) Satisfaction of the population with the realization of the rights to health protection and medical care. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 166–172. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/15

Введение

Постановлением правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920 утверждена Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 г. Основным фактором, ограничивающим развитие региона, названо сокращение численности населения вследствие естественных факторов и миграционного оттока. Для предупреждения дальнейшего развития негативной ситуации в регионе необходимо «проведение активной демографической политики, развитие потенциала семьи, улучшение здоровья населения и продление долголетия, развитие физической культуры и спорта, обеспечение безопасности проживания и самосохранения населения, качественное социальное обслуживание»¹.

Для улучшения здоровья населения проводится профилактика социально значимых заболеваний, а для наиболее раннего их выявления – дополнительная диспансеризация. Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании, для уточнения диагноза направляются на консультации к специалистам и в дальнейшем получают лечение по месту жительства. Насколько пациент будет следовать всем рекомендациям врача, будет зависеть, в том числе, и от отношения населения к работе системы здравоохранения и медицинским работникам [1], актуальность изучения которого не вызывает сомнения.

Цель исследования: изучение удовлетворенности населения качеством решения проблем в сфере здравоохранения и оказанной медицинской помощи как предиктора приверженности лечению и индикатора чувствительности (отзывчивости) здравоохранения к нуждам, потребностям и запросам населения.

Объект исследования – жители г. Череповца. Предмет исследования – удовлетворенность населения качеством решения проблем в сфере здравоохранения и оказанной медицинской помощью.

Материал и методы

Для проведения социологического исследования использовался метод анкетирования. Выборочная совокупность сформирована простым случайным образом среди жителей г. Череповца ($n = 318$), опрос проводился с 01.09 по 15.10.2023 (табл. 1).

Опрошенные граждане представлены как мужчинами, так и женщинами трудоспособного возраста. Средний возраст (Mean) составил 37,5377, $SD = 1,16143$. Чуть менее половины (39,6%) имеют высшее образование, каждый третий (27,4%) – среднее.

В отношении к религиозной вере ответы разделились практически поровну. Одна половина причисляет себя к верующим людям (53,1%), а другая (46,9%) – к неверующим. При этом оценивающие себя как верующие причисляют себя к православной конфессии.

¹ Постановление правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920. «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года».

Таблица 1. Характеристика горожан, принявших участие в социологическом исследовании, %

Показатель		Количество
Пол	М	30,2
	Ж	69,8
Возраст	Трудоспособные	94,0
	Нетрудоспособные	6,0
Образование	Незаконченное среднее	6,6
	Среднее	27,4
	Среднее профессиональное	19,5
	Неоконченное высшее	6,9
	Высшее	39,6
Вера	Верующий	53,1
	Неверующий	46,9
Доход	1. Денег не хватает даже на еду.	3,8
	2. Денег хватает на еду, но на одежду приходится копить.	16,7
	3. Денег хватает на одежду, но на предметы длительного пользования (телевизор, холодильник) приходится копить.	43,1
	4. Денег хватает на одежду, технику, отдых, но на крупные затраты (квартира, дача, машина) приходится копить.	31,4
	5. Имею полный достаток и не ограничен в средствах	5,0

В качестве инструмента для определения уровня удовлетворенности населения качеством решения проблем в сфере здравоохранения и оказанной медицинской помощью применялась анкета, разработанная Э.А. Мордовским, А.Л. Санниковым, К.Б. Корниенко [2]. Предлагалось выбрать один из предложенных вариантов ответов на вопрос: от «совершенно верно», «в целом верно» до «в целом неверно», «совершенно неверно» и «затрудняюсь с ответом». В дальнейшем нами была проведена дихотомизация социальных представлений опрошенных об удовлетворенности населения качеством решения проблем в сфере здравоохранения. Мы объединили критерии «совершенно верно» и «в целом верно», а также «в целом неверно» и «совершенно неверно» из-за идентичности смысловой нагрузки обеих названных позиций, что позволило выделить когорты людей, социальные представления которых характеризовались в целом положительным или отрицательным отношением к системе здравоохранения как к социальному институту.

При интерпретации полученных данных учитывали качественные характеристики и рассчитывали количественные показатели. Определение 95% доверительных интервалов (ДИ) для частот и долей проводили методом Fisher. Статистическую обработку результатов анкетного опроса – с помощью программного обеспечения SPSS-17.

Результаты и обсуждение

Половина (49,4%) горожан интересуются ситуацией в отечественном здравоохранении (табл. 2), но лишь каждый третий (39,3%) отслеживает изменения в нормативно-правовом регулировании отрасли и понимает содержание происходящих в ней реформ (43,7%).

Каждый третий (34,3%) горожанин знает свои права в сфере охраны здоровья. Однако противоположную ситуацию мы выявили при ответе на вопрос о знании Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (60,4%).

Таблица 2. Оценка удовлетворенности горожан качеством решения проблем в сфере здравоохранения и медицинской помощью, оказанной в организациях здравоохранения, % (95%-й ДИ)

Оценка удовлетворенности горожан	Да	Нет
Интересуются ситуацией в отечественном здравоохранении	49,4 (43,9–54,8)	50,6 (45,2–56,1)
Отслеживают изменения в законодательстве, нормативном правовом регулировании отечественного здравоохранения	39,3 (34,1–44,8)	60,7 (55,2–65,9)
Понимают суть изменений, происходящих в отечественном здравоохранении	43,7 (38,4–49,2)	56,3 (50,8–61,6)
Знают свои права как гражданина в сфере охраны здоровья	34,3 (29,3–39,7)	65,7 (60,4–70,7)
Знают о Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	60,4 (54,9–65,6)	39,6 (34,4–45,1)
Регулярно обращаются к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	39,3 (34,1–44,8)	60,7 (55,2–65,9)
Отечественная система здравоохранения в последние годы меняется к лучшему	48,7 (43,3–54,2)	51,3 (45,8–56,7)
Получить медицинскую помощь в государственных медицинских организациях (больницах, поликлиниках) в последнее время в целом стало проще	44,3 (39,0–49,8)	55,7 (50,2–61,0)
В регионе в последние годы в целом улучшилась работа государственных поликлиник	39,6 (34,4–45,1)	60,4 (54,9–65,6)
В поликлинике стало легче записаться на прием к врачу	34,9 (29,9–40,3)	65,1 (59,7–70,1)
В поликлинике стало легче записаться на диагностические исследования	44,3 (39,0–49,8)	55,7 (50,2–61,0)
В регионе в последние годы в целом улучшилась работа государственных больниц	34,6 (29,6–40,0)	65,4 (60,0–70,4)
В регионе в последние годы в целом стала лучше работать скорая помощь	44,3 (39,0–49,8)	55,7 (50,2–61,0)
В последние годы отношение врачей и иных медицинских работников к больным улучшилось	39,6 (34,4–45,1)	60,4 (54,9–65,6)
Доверяют отечественной системе здравоохранения (в целом)	49,1 (43,6–54,5)	50,9 (45,5–56,4)
Удовлетворенность отечественной системой здравоохранения (в целом)	44,7 (39,3–50,2)	55,3 (49,9–60,7)

Половина горожан (48,7%) полагают, что отечественная система здравоохранения в последние годы меняется к лучшему. Распределение ответов на указанный вопрос совпадает с мнением респондентов о доступности первичной медико-санитарной помощи. Половина считает, что получить медицинскую помощь в государственных медицинских организациях (больницах, поликлиниках) в последнее время стало проще (44,3%), в регионе в последние годы в целом улучшилась работа государственных поликлиник (39,6%) и в поликлинике стало легче записаться на прием к врачу (34,9%) или на диагностические исследования (44,3%).

Каждый третий (34,6%) горожанин считает, что в регионе в последние годы в целом улучшилась работа государственных больниц и стала лучше работать скорая помощь (44,3%). Аналогичные показатели мы получили при оценке отношения врачей и иных медицинских работников к больным (39,6%). Только половина горожан доверяют социальному институту здравоохранения (49,1%) и удовлетворены его работой (44,7%).

Горожанам была предоставлена возможность дать общую оценку удовлетворенности результатами работы системы здравоохранения (рис. 1). Половина (49,4%) из них признала работу удовлетворительной и чуть меньше (38,6%) – хорошей. Только каждый десятый (12%) сказал, что российская система здравоохранения работает отлично.

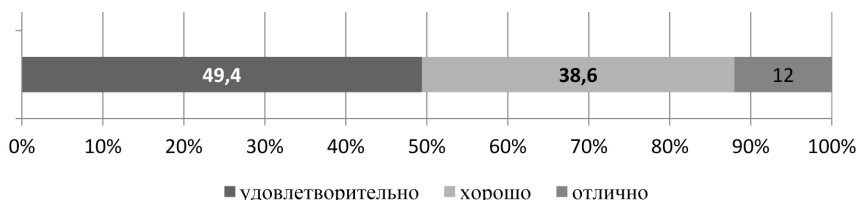


Рис. 1. Оценка горожанами работы российской системы здравоохранения

Также нами были рассчитаны медианные оценки работы российской системы здравоохранения (табл. 3).

Таблица 3. Медианная оценка работы российской системы здравоохранения

Оценка удовлетворенности	Медианная оценка	25-й перцентиль	75-й перцентиль
Здоровые граждане	3,0000	3,0000	4,0000

Оценка работы российской системы здравоохранения горожанами в зависимости от социально-демографических характеристик представлена в табл. 4. Половина (55,7%) удовлетворительно оценивает работу этого социального института. Каждый третий (29,3%) и только каждый десятый (15%) – отлично.

Таблица 4. Оценка работы российской системы здравоохранения горожанами в зависимости от социально-демографических характеристик (%; 95% ДИ)

Признак	Оценка системы здравоохранения		
	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Пол			
М	50,0 (40,2–59,8)	32,3 (23,8–42,2)	17,7 (11,4–26,5)
Ж	58,1 (51,5–64,4)	27,9 (22,4–34,2)	14,0 (10,0–19,1)
	$\chi^2 = 1,85; p = 0,396$		
Возраст			
трудоспособный	54,9 (49,2–60,4)	29,1 (24,2–34,5)	16,0 (12,3–20,6)
нетрудоспособный	68,4 (46,0–84,6)	31,6 (15,4–54,0)	0,0
	$\chi^2 = 3,68; p = 0,158$		
Образование			
незаконченное среднее	42,8 (24,5–63,5)	28,6 (13,8–50,0)	28,6 (13,8–50,0)
среднее общее	67,8 (57,4–76,7)	21,8 (14,5–31,6)	10,4 (5,5–18,5)
среднее профессиональное	54,8 (42,5–66,6)	29,0 (19,2–41,3)	16,2 (9,0–27,2)
высшее	50,7 (42,7–58,6)	33,8 (26,7–41,7)	15,5 (10,6–22,2)
	$\chi^2 = 10,17; p = 0,117$		
Религиозная вера			
верующие	59,8 (52,2–66,9)	21,3 (15,8–28,1)	18,9 (13,7–25,5)
неверующие	51,0 (43,1–58,9)	38,3 (30,8–46,3)	10,7 (6,7–16,7)
	$\chi^2 = 12,40; p = 0,002$		
Доход			
1. Денег не хватает даже на еду.	25,0 (8,9–53,2)	50,0 (25,4–74,6)	25,0 (8,9–53,2)
2. Денег хватает на еду, но на одежду приходится копить.	71,7 (58,4–82,0)	17,0 (9,2–29,2)	11,3 (5,3–22,6)
3. Денег хватает на одежду, но на предметы длительного пользования (телевизор, холодильник) приходится копить.	56,9 (48,6–64,9)	30,7 (23,6–38,8)	12,4 (7,9–19,0)
4. Денег хватает на одежду, технику, отдых, но на крупные затраты (квартира, дача, машина) приходится копить.	48,0 (38,5–57,7)	30,0 (21,9–39,6)	22,0 (15,0–31,1)
5. Имею полный достаток и не ограничен в средствах	62,5 (38,6–81,5)	37,5 (18,5–61,4)	0,0
	$\chi^2 = 18,19; p = 0,019$		
ВСЕГО	55,7 (50,2–61,0)	29,3 (24,5–34,5)	15,0 (11,6–19,4)

По нашим данным, верующие в 1,8 раза чаще неверующих людей оценивают на «хорошо» российскую систему здравоохранения (38,3 против 21,3% соответственно) и столько же (в 1,8 раза) чаще верующие, чем неверующие, на «отлично» оценивают деятельность органов здравоохранения (18,9 и 10,7% соответственно).

По данным социологических исследований, удовлетворенность работой российской системы здравоохранения населением Российской Федерации не является стабильной. Так, в 2006–2008 гг. только каждый третий-четвертый (26–29%) был удовлетворен состоянием дел в системе здравоохранения [3, 4], тогда как к 2014 г. показатель увеличился почти в два раза и составил 40–45% [4], достигая к 2020 г. 50,8%. Однако к 2022 г. наблюдается небольшое снижение (47,3%) [5] показателя. Одновременно сокращается и число неудовлетворенных граждан работой этого социального института. Если в 2006 г. негативные оценки давал каждый второй (58%) опрошенный, то к 2011 г. показатель сокращается до 32% [4] и остается стабильным до 2020 г. (31,4%) и незначительно увеличивается к 2021 г. (33,5%).

Все факторы, влияющие на удовлетворенность работой системой здравоохранения и предоставляемой медицинской помощью можно объединить в три группы. Это квалификационные, организационные и информационные факторы [6]. Так, основными причинами негативных оценок исследователи [3, 5, 7] называют: высокую стоимость фармакотерапии (55–67%), плохую организацию работы (40,8%), увеличение объема платной медицинской помощи (34,5%), дефицит медицинских кадров (32,2%) и низкую квалификацию имеющихся (13,2–22,9%). Медицинские работники основными причинами называют [7, 8]: низкую оплату труда (63,4%) и высокую нагрузку на медицинских специалистов.

Таким образом, показатель удовлетворенности населения г. Череповца работой системы здравоохранения соответствует общероссийским показателям (50,4 и 47,3% соответственно). При этом не удалось выявить статистически значимой разницы в уровне удовлетворенности системой здравоохранения в зависимости от социально-демографических признаков: пола, возраста, образования и материального дохода. Однако мы выявили, что верующие люди более лояльно оценивают систему здравоохранения, чем неверующие.

Список источников

1. Кравченко С.А. Новации в социологическом знании: по итогам XIII конференции ЕСА // Социологические исследования. 2018. № 2. С. 18–24. doi: 10.7868/S0132162518020034
2. Мордовский Э.А., Санников А.Л., Корниенко К.Б. Совершенствование оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях Архангельской области. Архангельск : Изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2022.
3. Изучение мнения населения Российской Федерации о доступности и качестве медицинской помощи. Всероссийское социологическое исследование. М. : Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 2009.
4. Обобщенные результаты социологических исследований отношения населения к системе здравоохранения. М. : Минздрав России, 2015.
5. Бузин В.Н. Доступность и качество медицинской помощи в российском здравоохранении в период пандемии. Второй год с COVID-19: мнение населения // Профилактическая медицина. 2022. Т. 25, № 5. С. 37–45. doi: 10.17116/profmed20222505137
6. Светличная Т.Г., Воронов В.А., Смирнова Е.А. Удовлетворенность качеством медицинской помощи психически больных и факторы, ее определяющие // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022. Т. 122, № 5. С. 111–117. doi: 0.17116/jnevro2022122051111
7. Булатникова А.Г., Часовская Л.А. Характеристика российской сферы здравоохранения // Молодой ученый. 2022. № 49 (444). С. 304–307.

8. Светличная Т.Г., Смирнова Е.А. Социально-медицинское сопровождение лиц с нарушениями психического здоровья: монография. Архангельск : Изд-во Северного гос. мед. ун-та, 2017.

References

1. Kravchenko, S.A. (2018) Novatsii v sotsiologicheskoy znani: po itogam XIII konferentsii ECA [Innovations in sociological knowledge: based on the results of the 13th ECA Conference]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 2. pp. 18–24. DOI: 10.7868/S0132162518020034
2. Mordovsky, E.A., Sannikov, A.L. & Kornienko, K.B. (2022) *Sovershenstvovanie okazaniya grazhdanam meditsinskoj pomoshchi v meditsinskikh organizatsiyakh Arkhangel'skoy oblasti* [Improving the provision of medical care to citizens in medical organizations of the Arkhangelsk Region]. Arkhangelsk: Northern State Medical University.
3. Federal Service for Supervision of Healthcare. (2005) *Izucheniye mneniya naseleniya Rossiyskoy Federatsii o dostupnosti i kachestve meditsinskoj pomoshchi. Vserossiyskoye sotsiologicheskoye issledovaniye* [Studying the opinion of the population of the Russian Federation on the availability and quality of medical care. The All-Russian sociological study]. Moscow: Federal Service for Supervision in the Field of Healthcare.
4. Ministry of Health of the Russian Federation. (2015) *Obobshchennyye rezul'taty sotsiologicheskikh issledovaniy otnosheniya naseleniya k sisteme zdravookhraneniya* [Generalized results of sociological studies of the population's attitude to the healthcare system]. Moscow: Ministry of Health of Russia.
5. Buzin, V.N. (2022) Dostupnost' i kachestvo meditsinskoj pomoshchi v rossiyskom zdravookhraneni v period pandemii. Vtoroy god s COVID-19: mneniye naseleniya [Accessibility and quality of medical care in Russian healthcare during the pandemic. The second year with COVID-19: The opinion of the population.]. *Profilakticheskaya meditsina*. 25(5). pp. 37–45. DOI: 10.17116/profmed20222505137
6. Svetlichnaya, T.G., Voronov, V.A. & Smirnova, E.A. (2022) Satisfaction with the quality of medical care for mentally ill patients and its determining factors. *Zhurnal nevrologii i psikiatrii im. S.S. Korsakova – The Korsakov's Journal of Neurology and Psychiatry*. 122(5). pp. 111–117. (In Russian). DOI: 10.17116/jnevro2022122051111
7. Bulatnikova, A.G. & Chasovskaya, L.A. (2022) Kharakteristika rossiyskoy sfery zdravookhraneniya [Characteristics of the Russian healthcare sector]. *Molodoy uchenyy*. 49(444). pp. 304–307.
8. Svetlichnaya, T.G. & Smirnova, E.A. (2017) *Sotsial'no-meditsinskoye soprovozhdeniye lits s narusheniyami psikhicheskogo zdorov'ya* [Social and medical support of persons with mental health disorders]. Arkhangelsk: Northern State Medical University.

Сведения об авторах:

Светличная Т.Г. – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы Северного государственного медицинского университета (Архангельск, Россия). E-mail: statiana@yandex.ru

Смирнова Е.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий Череповецкого государственного университета (Череповец, Россия). E-mail: smirnova56@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Svetlichnaya T.G. – Dr. Sci. (Medicine), professor; professor of the Department of Public Health, Healthcare and Social Work, Northern State Medical University (Arkhangelsk, Russian Federation). E-mail: statiana@yandex.ru

Smirnova E.A. – Cand. Sci. (Sociology), associate professor of the Department of Sociology and Social Technologies, Cherepovets State University (Cherepovets, Russian Federation). E-mail: smirnova56@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 26.04.2024;
одобрена после рецензирования 19.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 26.04.2024;
approved after reviewing 19.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья
УДК 316
doi: 10.17223/1998863X/80/16

КТО ВЕРИТ ФЕЙКАМ И ДЕЛИТСЯ ИМИ СО СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ?

Сергей Геннадьевич Ушкин

*Научный центр социально-экономического мониторинга (Саранск, Россия)
Всероссийский центр изучения общественного мнения, Москва, Россия
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия, ushkinsergey@gmail.com*

Аннотация. Представлены результаты количественного социологического исследования, проведенного в апреле–мае 2023 г. в Республике Мордовия среди 1 000 респондентов по репрезентативной выборке. Выявлено, что каждый третий опрошенный житель региона (33%) в течение последнего года хотя бы раз попадал в ситуацию, когда он верил непроверенной, фейковой информации, а каждый четвертый (23%) делился ей со своими друзьями, родственниками, знакомыми. Наибольшую склонность к подобным практикам проявляют те, кто замечает ухудшение положения дел в нашей стране, а в своем окружении видят больше несогласия, разобщенности.

Ключевые слова: фейки, доверие, недоверие, медиасоциология, критическое мышление

Благодарности: исследование подготовлено в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 22-78-00082, <https://rscf.ru/project/22-78-00082/>
Автор выражает благодарность Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Национальному исследовательскому Мордовскому государственному университету и Научному центру социально-экономического мониторинга за помощь в организации полевого этапа исследования.

Для цитирования: Ушкин С.Г. Кто верит фейкам и делится ими со своим окружением? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 173–184. doi: 10.17223/1998863X/80/16

Original article

WHO BELIEVES FAKES AND SHARES THEM WITH THEIR CIRCLE?

Sergey G. Ushkin

*Scientific Centre for Socio-Economic Monitoring, Saransk, Russian Federation
Russian Public Opinion Research Center (VCIOM), Moscow, Russian Federation
National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation
ushkinsergey@gmail.com*

Abstract. The landscape of media consumption has changed dramatically over the past few years. Social networks have begun to play a significant role in the dissemination of information, where huge volumes of false and unreliable data are generated. In turn, the latter can have a negative impact on the public sphere, since they have a high manipulative potential. In this regard, it seems important to understand how susceptible our fellow citizens are to the destructive influence of fakes and are ready, albeit unintentionally, to spread them in their immediate circle among friends and relatives. Also of particular interest are

demographic and situational predictors that may contribute to these types of practices. In this article, based on materials from a quantitative study conducted in April–May 2023 among 1,000 residents of the Republic of Mordovia, surveyed using a representative quota sample, I focus on people's trust and dissemination of information, which later turned out to be unreliable and fake. As the results of the study show, three out of ten respondents are inclined to trust unverified information, another two are inclined to share it with their immediate circle. The data obtained, in my opinion, significantly actualizes the problem of fakes, since, apparently, we can talk about the minimum thresholds that have been found. In reality, the scale of their penetration may be noticeably higher. The key predictors of trust in unverified information and its subsequent dissemination in one's immediate environment are, apparently, situational factors – I identified a relationship with the noticeable level of disagreement with the dynamics of the state of affairs in our country and an increased level of disagreement and disunity in the environment of respondents. Dependencies with demographic factors are lower, although age and education can be distinguished among them: younger people are more likely to believe in fakes and share them, and more educated people are less likely to do so. The results obtained are partially verified by studies of Western colleagues, although they are not without a number of controversial issues. Nevertheless, it seems clear that fakes pose a significant threat to deliberative politics, which centers public discourse. It is important to note that, apparently, I was able to find an interesting national feature: “angry” citizens who are not in opposition to the government, but, apparently, are ready to join it, and who do not receive significant support from their environment.

Keywords: fakes, trust, distrust, media sociology, critical thinking

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-78-00082, <https://rscf.ru/project/22-78-00082/>

The author thanks the Administration of the Head of the Republic of Mordovia and the Government of the Republic of Mordovia, the National Research Mordovia State University and the Scientific Center for Socio-Economic Monitoring for their assistance in organizing the field stage of the study.

For citation: Ushkin, S.G. (2024) Who believes fakes and shares them with their circle? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 173–184. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/16

Введение

За последние несколько лет ландшафт медиапотребления существенно изменился, и хотя в нашей стране телевидение продолжает оставаться главным источником новостей, его серьезно поджимают различные интернет-издания и социальные сети, а бумажная пресса практически перестает пользоваться спросом [1]. Растущая популярность цифровых информационных и коммуникационных платформ повлекла за собой множество научных дискуссий, где исследователи спорили о том, смогут ли они в конечном счете полностью заменить собой традиционные медиа [2, 3].

Кажется, что заметную роль в этих прениях может сыграть одна из последних работ Юргена Хабермаса, посвященная новой структурной трансформации публичной сферы и делиберативной политике [4]. Нет, он не говорит о том, что цифровые платформы в ближайшей перспективе присвоят себе весь новостной дискурс, однако расставляет акценты на их способности к (само)воспроизводству контента, который может использоваться и как значимая альтернатива подконтрольным государству средствам массовой информации и коммуникации, и как угроза либеральной публичной сферы, поскольку именно здесь генерируются огромные объемы ложных, недостоверных данных.

Проблема, поднимаемая Хабермасом, заключается в том, что цифровые платформы все более привлекают к себе обычных пользователей, далеких от журналистики. Каждый, кто зарегистрировался в социальных сетях, становится писателем и редактором, а модель привратника, следящего за качеством информации, более практически не работает [5, 6]. По мнению исследователей, это открыло своеобразный «ларец Пандоры», поскольку у заинтересованных в этом акторов появилась возможность манипулировать общественным мнением посредством фейковой информации [7–9]. Впрочем, нельзя не отметить того факта, что рост интереса к цифровым платформам явился следствием утраты доверия к традиционным медиа, и особенно – когда речь идет о политическом контенте [10, 11].

В наиболее общем смысле в англоязычном дискурсе под фейком понимается заведомо ложная информация, которая может ввести читателя в заблуждение [12]. Несмотря на то, что исследователи достаточно часто упоминают поверхностность терминологии, отсутствие объяснительных моделей [13, 14], некоторые авторы, и мы в этом смысле с ними солидарны, предлагают рассматривать фейки как зонтичный конструкт [15]. Более того, не так давно был сформулирован интересный парадокс: для разных людей термин означает для разных людей разные вещи, а для некоторых политиков – «новости, которые им не нравятся» [16].

Значительное число исследований в этом направлении акцентирует свое внимание на центральной роли производителей фейкового контента, а также постулирует тезис о том, что людям становится все труднее и труднее различать профессиональный и непрофессиональный новостной контент, делая их более уязвимыми для манипуляций [17]. Наибольший интерес авторов приходится на периоды выборов, поскольку именно в это время происходит увеличение информационного давления на избирателей [18, 19].

Что влияет на веру людей в фейковую информацию и заставляет делиться ей со своим окружением? Это два ключевых вопроса, на которых мы сосредоточимся в дальнейшем.

Методология исследования

Настоящее исследование выполнено в русле количественной методологии. Его эмпирическую базу составляют результаты авторского социологического исследования, проведенного в апреле–мае 2023 г. на территории 22 муниципальных районов Республики Мордовия и г.о. Саранск, охвачено более 80 населенных пунктов. Всего в исследовании приняли участие 1 000 респондентов.

Выборка – квотная, репрезентует структуру населения Республики Мордовия по полу, возрасту и месту проживания. На первом этапе ее конструирования выделены доли населения в каждом из муниципальных образований, на втором – рассчитаны доли опрашиваемых по каждой из квот. Структура респондентов, попавших в выборку, таким образом, представлена по полу: мужчины – 46%, женщины – 54%; по возрасту: 18–24 года – 10%, 25–34 года – 17%, 35–44 года – 18%, 45–59 лет – 25%, 60 лет и старше – 30%; по типу населенного пункта: Саранск – 45%, города и пгт – 18%, села – 37%. Поскольку квотная выборка не относится к случайным, оценка ее погрешности носит преимущественно аналитический характер и проводится нами спра-

вочно. Если при том же количестве опрошенных был бы реализован случайный подход к отбору единиц выборочной совокупности, то погрешность исследования была бы на уровне 3,5% при доверительной вероятности 95%.

Большинство результативных анкет получено посредством компьютерного анкетирования, реализованного на платформе Google Forms по интерактивной анкете. В отдельных случаях, связанных преимущественно с возрастом опрошенных и (или) проблемами с доступом у них к интернету, использовано традиционное интервью лицом к лицу. Все опрошенные проинформированы о цели работы и выразили готовность к сотрудничеству.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы выявить влияющие на доверие к фейковой информации и готовность делиться ей со своим окружением социально-демографические и ситуационные факторы.

Нами были сформулированы следующие задачи:

1) выявить долю респондентов, которые за последние полгода верили в фейковую информацию;

2) выявить долю респондентов, которые за последние полгода делились фейковой информацией со своими друзьями, родственниками, родными;

3) выявить взаимосвязь доверия и готовности делиться фейковой информацией с демографическими факторами, такими как пол, возраст, место проживания, уровень образования, семейное положение и уровень дохода;

4) выявить взаимосвязь и готовность делиться фейковой информацией с ситуационными факторами, такими как восприятие положения дел в стране, ретроспективные оценки положения дел в стране, одобрение деятельности руководителя государства, а также показатели межличностного доверия и социальной сплоченности.

Нами выдвинуто три гипотезы, которые в дальнейшем были скорректированы:

H1. Значительная часть респондентов на декларативном уровне будет придерживаться мнения, что они не верили в информацию, в последующем оказавшуюся фейковой, и не делились ей со своим ближайшим окружением – друзьями, знакомыми, родственниками.

H2. Социально-демографическими переменными, влияющими на доверие к фейковой информации, а также готовность делиться ими с другими, являются возраст, тип населенного пункта и уровень образования.

H3. Ситуационными переменными, влияющими на доверие к фейковой информации, а также готовность делиться ими с другими, являются показатели социального самочувствия и межличностного доверия.

Для обработки и анализа данных использованы возможности статистического пакета IBM SPSS Statistics 26. Применялись методы описательной статистики и многомерного распределения признаков.

Результаты

Выполненное исследование показывает, что доверие к информации, которая впоследствии оказалась выдуманной, фейковой, достаточно высоко: каждый третий (32%) попадал в ситуацию, когда поверил в подобного рода данные; противоположной позиции придерживается почти половина опрошенных (44%); еще четверть (24%) затрудняется ответить на поставленный вопрос (рис. 1).

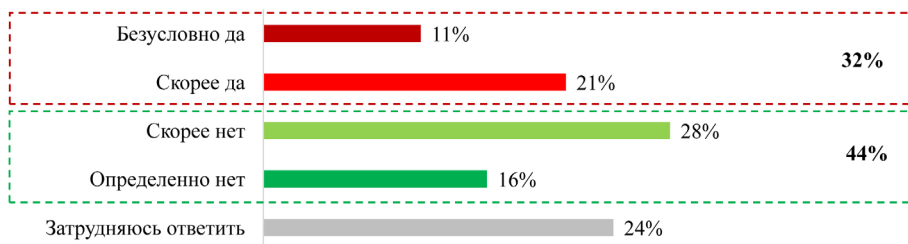


Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Вспомните, попадали ли Вы за последний год в такую ситуацию, когда Вы поверили какой-либо информации, а впоследствии она оказалась выдуманной, фейковой?»

Последнее обстоятельство, по всей видимости, может быть детерминировано двумя моментами: первый заключается в нежелании респондента предстать в худшем для него свете, тогда поставленный вопрос стоит считать в определенной степени сенситивным; второй может говорить о том, что люди в большинстве случаев не проверяют полученную ими информацию, не всегда следят за ее судьбой.

Заметно чаще, чем в среднем по выборке, вера в фейковую информацию выше среди молодежи до 34 лет (41%), респондентов без высшего образования (36%) и людей с относительно высоким уровнем дохода – тем, кому денег хватает на покупку автомобиля и выше (44%). Кроме того, анализ ситуационных переменных показывает, что их доля относительно выше среди тех, кто недоволен положением дел в нашей стране (37%), видят ухудшение ситуации (41%), замечают больше несогласия, разобщенности в своем окружении (47%), уверены, что в отношениях с людьми, которые их окружают, нужно быть осторожными (42%), не доверяют действующему президенту нашей страны (49%) и не одобряют его работу (49%).

При этом о том, что делились информацией, которая в дальнейшем оказалась выдуманной, фейковой, заявил каждый четвертый опрошенный (23%). Более половины (54%), во всяком случае декларативно, не являлись распространителями недостоверных данных. Еще четверть (24%) затруднилась с ответом (рис. 2).

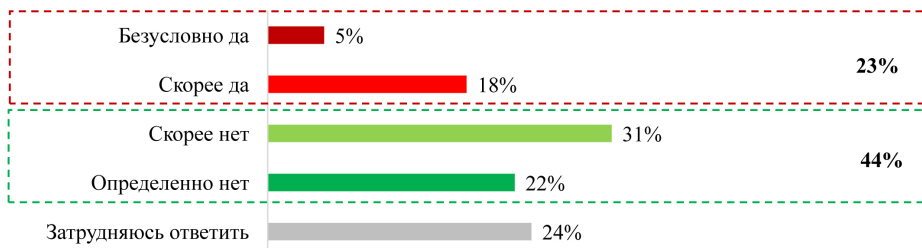


Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, а случилось ли такое, что Вы поделились какой-либо информацией с друзьями, родственниками, знакомыми, а впоследствии она оказалась выдуманной, фейковой?»

Чаще остальных говорили о том, что делились выдуманной, фейковой информацией со своими друзьями, родственниками, знакомыми, молодежь (31% – среди 18–24-летних, 29% – среди 25–34-летних), респонденты без высшего образования (31%) и люди с относительно высоким уровнем дохода

(37%). Что касается ситуационных детерминант, то они также практически полностью воспроизводят полученные выше данные о влиянии на доверие к фейкам: их доля возрастает среди недовольных ситуаций в стране (29%), отмечающих ее ухудшение в ретроспективе (31%) и беспокойство, тревогу в отношении будущего (26%), диагностирующих несогласие, разобщенность в своем окружении (34%) и стране в целом (30%), уверенных, что в отношениях с большинством людей (27%) и теми, кто их окружает (31%), нужно быть осторожными, не доверяют действующему президенту нашей страны (34%) и не одобряют его работу (35%).

Корреляционный анализ указал на наличие статистически значимой положительной связи между доверием к фейкам и готовностью делиться ими. Кроме того, выявлена отрицательная связь обеих переменных с возрастом, удовлетворенностью положением дел в стране и, напротив, положительная – с наблюдаемым ухудшением ситуации, а также замечаемым в своем окружении несогласием. Важно отметить и то, что статистическая положительная связь наблюдается между готовностью делиться фейками и замечаемым беспокойством, тревогой среди окружающих в отношении своего будущего (табл. 1).

Таблица 1. Корреляционный анализ зависимых переменных, выражающих доверие к фейкам и готовность делиться ими с окружающими, с социально-демографическими и ситуационными переменными

Переменная	Верили фейкам	Делились фейками
Верили фейкам	1	0,513**
Делились фейками	0,513**	1
Пол	–0,035	–0,027
Возраст	–0,111**	–0,063*
Населенный пункт	–0,31	0,17
Семейное положение	–0,28	–0,23
Образование	–0,055	–0,100
Доход	–0,014	0,056
Довольны положением дел в стране	–0,038	–0,063*
Видят ухудшение ситуации	0,139**	0,108**
Замечают беспокойство, тревогу в отношении будущего	0,027	0,078*
Замечают несогласие, разобщенность в окружении	0,149**	0,106**
Доверяют президенту	–0,024	–0,015
Одобряют президента	–0,020	0,001

Примечание. Результат корреляционного анализа: показана значимость: * – на уровне 0,05, ** – на уровне 0,01.

Результаты логистического регрессионного анализа выявили взаимосвязь между доверием к фейкам и готовностью делиться ими со своим окружением и некоторыми из рассматриваемых демографических и ситуационных факторов. Нами были построены четыре регрессионные модели, где к сугубо демографическим факторам (модель 1) мы последовательно добавляли сначала восприятие текущей ситуации (модель 2), затем восприятие разобщенности и беспокойства в отношении будущего (модель 3) и, наконец, поддержку главы нашего государства (модель 4). Тем не менее необходимо отметить, что построенные логистические модели скорее носят справочный характер, служат для выделения общих тенденций, характерных для массива данных, поскольку полученные R-квадраты Нэйджелкерка и R-квадраты Кокса и Снелла принимают крайне низкие значения.

Что касается доверия к фейкам, то фиксируется статистически значимая связь ($p < 0,05$) с возрастом, образованием, заметностью ухудшения ситуации в стране и несогласием, разобщенностью в окружении респондентов. Возраст и образование идентифицируются как статистически значимые отрицательные предикторы, т.е. вероятность доверия к фейкам повышается среди наиболее молодых (в среднем в 1,02 раза) и наименее образованных респондентов (в среднем в 1,3 раза). Напротив, заметность ухудшения ситуации и несогласие, разобщенность в ближайшем окружении относятся к статистически значимым положительным предикторам: в частности, негативно настроенные к ретроспективному развитию ситуации в стране и говорящие о низком межличностном доверии, как ни парадоксально, имеют большую вероятность поверить в фейк (в среднем в 1,7 и 2,1 раза соответственно).

Таблица 2. Логистический регрессионный анализ доверия переменной, выражающей доверие к фейкам

Переменная	Модель 1		Модель 2		Модель 3		Модель 4	
	B	Exp(B)	B	Exp(B)	B	Exp(B)	B	Exp(B)
Пол	-0,28	0,973	-0,009	0,991	0,053	1,055	0,048	1,049
Возраст	-0,018***	0,982	-0,017**	0,983	-0,018***	0,982	-0,020***	0,980
Населенный пункт	-0,088	0,916	0,072	0,930	-0,056	0,945	-0,058	0,944
Семейное положение	0,021	1,021	0,039	1,040	0,085	1,089	0,082	1,085
Образование	-0,370*	0,691	-0,360*	0,698	-0,400*	0,670	-0,437*	0,646
Доход	-0,46	0,955	-0,032	0,968	-0,15	0,985	-0,012	0,988
Довольны положением дел в стране			0,152	1,164	0,217	1,243	0,082	1,086
Видят ухудшение ситуации			0,502**	1,652	0,526**	1,692	0,613**	1,846
Замечают беспокойство, тревогу в отношении будущего					-0,187	0,830	-0,208	0,812
Замечают несогласие, разобщенность в окружении					0,756***	2,130	0,769***	2,157
Доверяют президенту							0,211	1,234
Высоко оценивают работу президента							0,169	1,184
Nagelkerke R ²	0,028		0,042		0,065		0,070	
Cox & Snell R ²	0,020		0,030		0,047		0,050	
Chi ²	18,361		27,925		43,961		47,501	
Log likelihood	1 150,351		1 140,787		1 124,752		1 121,211	

Примечание. Результат регрессионного анализа: показана значимость: * – на уровне 0,05, ** – на уровне 0,01 и *** – на уровне 0,001.

Непосредственно распространение информации, впоследствии оказавшейся выдуманной, фейковой, также оказывается статистически связано ($p < 0,05$) с образованием, заметностью ухудшения ситуации в стране и несогласием, разобщенностью в окружении респондентов. Возраст играет существенно меньшую роль и релевантен лишь для одной из моделей. В то же время по мере увеличения количества ситуационных факторов все более значимым становится уровень дохода (в среднем чаще в 1,3 раза). Образование здесь, как и в предыдущем случае, рассматривается в качестве статистически значимого отрицательного предиктора, т.е. люди с более низким образовани-

ем вероятнее всего будут распространять, пусть и непреднамеренно, фейки в социальных сетях (в среднем чаще в 1,5 раза). Но наиболее значимые факторы влияния – недовольство развитием ситуации в стране и несогласие, разобщенность в своем окружении (вероятность веры в фейки возрастает в среднем в 1,6 раза в первом случае и в 1,9 раза – во втором).

Таблица 3. Логистический регрессионный анализ доверия переменной, выражающей готовность делиться фейками

Переменная	Модель 1		Модель 2		Модель 3		Модель 4	
	B	Exp(B)	B	Exp(B)	B	Exp(B)	B	Exp(B)
Пол	0,016	1,016	0,054	1,056	0,103	1,108	0,091	1,095
Возраст	-0,010	0,990	-0,009	0,991	-0,011	0,989	-0,014*	0,986
Населенный пункт	0,043	1,044	0,078	1,081	0,117	1,124	0,120	1,127
Семейное положение	-0,071	0,932	-0,045	0,956	-0,028	0,973	-0,024	0,976
Образование	-0,599**	0,568	-0,541**	0,582	-0,567**	0,567	-0,619**	0,538
Доход	0,180	1,197	0,235**	1,265	0,273**	1,314	0,272**	1,313
Довольны положением дел в стране			-0,149	0,861	-0,029	0,971	-0,204	0,816
Видят ухудшение ситуации			0,493**	1,636	0,370*	1,567	0,507**	1,660
Замечают беспокойство, тревогу в отношении будущего					0,282	1,326	0,259	1,296
Замечают несогласие, разобщенность в окружении					0,632**	1,882	0,660***	1,935
Доверяют президенту							-0,060	0,941
Высоко оценивают работу президента							0,579	1,784
Nagelkerke R ²	0,030		0,049		0,069		0,079	
Cox & Snell R ²	0,020		0,033		0,046		0,053	
Chi ²	23,996		30,596		43,577		50,246	
Log likelihood	999,647		987,900		974,919		968,250	

Примечание. Результат регрессионного анализа: показана значимость: * – на уровне 0,05, ** – на уровне 0,01 и *** – на уровне 0,001.

Дискуссия и выводы

Приведенные нами данные убедительно показывают, что фейки занимают значимое место в общественном сознании: трое из десяти опрошенных нами респондентов заявили о том, что верили в информацию, которая впоследствии оказалось ложной, а двое из десяти – делились ей со своими друзьями, родственниками, знакомыми. Но необходимо отметить: вероятно, что в обоих случаях мы обнаружили нижние пороги, в действительности ситуация может быть еще хуже, поскольку значимая часть респондентов может давать социально одобряемые ответы или выбирать вариант «затрудняюсь ответить», другая часть – не рефлексировать в отношении полученной ранее информации и ее происхождения, т.е. не относить ее постфактум к фейковой. Последнее обстоятельство становится общим местом для многих социальных исследователей, поскольку сегодня людям становится труднее отличить правду от лжи [20].

Необходимо отметить, что более половины из тех, кто верит в информацию, которая впоследствии оказывается ложной, делится ей со своими друзьями, знакомыми, родственниками (18 от 32%). Результаты корреляционного и регрессионного анализа сходятся в том, что важную роль в вере в фейки и их

распространении играют ситуационные факторы, в первую очередь, замечаемое ухудшение положения дел в нашей стране и повышенный уровень несогласия, разобщенности в окружении респондентов. Прямой корреляции с политическими факторами – мы рассматривали поддержку действующего президента – не наблюдается, хотя сами по себе они пусть незначительно, но влияют на оценку ситуации вокруг. Схожих по дизайну западных исследований, акцентирующих внимание на субъективной динамике восприятия ситуации, и показателей социальной разобщенности мы не обнаружили, заметное число работ коллег посвящено влиянию политических предпочтений на восприятия лживой информации: например, было установлено, что в США республиканцы и консерваторы чаще демократов и либералов верили в фейки [21, 22].

Значимость демографических факторов, по всей видимости, ниже. Так, возраст респондентов отрицательно коррелирует с верой в ложную информацию и ее распространением, однако в регрессионных моделях проявляет себя лишь в первом случае. Вполне вероятно, что это связано с тем, что, как показывают двумерные распределения, в возрастной структуре по обоим параметрам мы наблюдаем график, похожий на чашу: показатели выше среднего характерны для молодежи до 34 лет, существенно ниже среднего – для людей от 35 до 59 лет и вновь выше среднего – для респондентов старше 60 лет. Показательно, что среди исследователей нет единого мнения по поводу влияния этого предиктора: есть ряд работ, где указывается на то, что более возрастные респонденты доверяют фейкам и распространяют их среди своего окружения [23, 24]; другие, напротив, постулируют обратное [25, 26]. Вполне возможно, что это связано с большей устойчивостью к фейкам и их распространению среди людей среднего возраста, а опросные данные не лонгитюдного характера дают достаточно смазанную картину.

Образование, по всей видимости, оказывается значимым фактором при прогнозировании: менее образованные люди, как правило, более подвержены деструктивному влиянию фейков, чаще готовы распространять их среди своего окружения. При этом двумерные распределения показывают, что именно более высокий уровень образования дифференцирует тех, кто верит в информацию, впоследствии оказавшуюся ложной, и делится ею, и тех, кто верит в нее, но не обсуждает ее, даже при повышенных значениях показателей, свидетельствующих о недовольстве респондентов динамикой положения дел в стране и повышенном уровне несогласия, разобщенности в их окружении. Собственно, наличие более высокого уровня образования представляет собой наиболее очевидный предиктор, который находит подтверждение в работах западных коллег [26, 27].

Другие предикторы, по всей видимости, вносят достаточно слабый вклад в веру в информацию, впоследствии оказывающуюся ложной, и ее распространение среди ближайшего окружения. Впрочем, важно отметить, что мы измеряли исключительно два субъективных параметра, не тестировали респондентов вопросами, касающимися их реальных, а не декларативных возможностей к распознаванию фейков. Вполне возможно, что некоторые предикторы в таком случае могут поменяться, некоторые – уйти в тень. Безусловно, требуются дополнительные исследования восприятия фейков, поскольку сегодня последние не просто формируют информационный ланд-

шафт, но и определяют векторы развития делиберативной политики, к которой располагают возможности выражения своего мнения на цифровых платформах и в социальных сетях.

Список источников

1. Ушкин С.Г. Кофейни, джентльменские клубы и социальные сети, или где сегодня формируется общественное мнение // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 52–62. doi: 10.14515/monitoring.2017.6.03
2. Ahlers D. News consumption and the new electronic media // Harvard International Journal of Press/Politics. 2006. Vol. 11, № 1. P. 29–52. doi: 10.1177/1081180X05284317
3. Meyer P. Saving journalism: How to nurse the good stuff until it pays // Columbia Journalism Review. 2004. Vol. 43, № 4. P. 55–58.
4. Хабермас Ю. Новая структурная трансформация публичной сферы и делиберативная политика. М. : Новое литературное обозрение, 2023. 104 с.
5. Coddington M., Holton A.E. When the Gates Swing Open: Examining Network Gatekeeping in a Social Media Setting // Mass Communication and Society. 2014. Vol. 17, № 2. P. 236–257. doi: 10.1080/15205436.2013.779717
6. Blokhin I.N., Ilchenko S.N. Fake as a format of modern journalism: the information reliability problem // Indian Journal of Science and Technology. 2015. Vol. 8, № 10. P. 1–8. doi: 10.17485/ijst/2015/v8iS10/84840
7. Cook J., Ecker U., Lewandowsky S. and Schwarz N. Misinformation and its correction continued influence and successful debiasing // Psychological Science in the Public Interest. 2012. Vol. 13, № 3. P. 106–131. doi: 10.1177/1529100612451018
8. Lazer D.M.J., Baum M.A., Benkler Y., Berinsky A.J., Greenhill K.M., Menczer F., Metzger M.J., Nyhan B., Pennycook G., Rothschild D., Schudson M., Sloman S.A., Sunstein C.R., Thorson E.A., Watts D.J., Zittrain J.L. The science of fake news: Addressing fake news requires a multidisciplinary effort // Science. 2018. Vol. 359, № 6380. P. 1094–1096. doi: 10.1126/science.aao299
9. Levy N. The bad news about fake news // Social Epistemology Review and Reply Collective. 2017. Vol. 6, № 8. P. 20–36. doi: 10.4236/jcc.2022.109001
10. Ушкин С.Г. Партия «телевизора» против партии «Интернета»: как медиапотребление влияет на одобрение деятельности властей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021. Т. 21, № 4. С. 855–867. doi: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-855-867
11. Wasserman H., Madrid-Morales D. An Exploratory Study of “Fake News” and Media Trust in Kenya, Nigeria and South Africa // African Journalism Studies. 2019. Vol. 40, № 1. P. 107–123. doi: 10.1080/23743670.2019.1627230
12. Allcott H., Gentzkow M. Social media and fake news in the 2016 election // The Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 31, № 2. P. 211–235. doi: 10.1257/jep.31.2.211
13. Брунс А. Реальна ли стена фильтров? М. : НИУ ВШЭ, 2023. 120 с.
14. Caled D., Silva M.J. Digital media and misinformation: An outlook on multidisciplinary strategies against manipulation // Journal of Computational Social Science. 2022. Vol. 5. P. 123–159. doi: 10.1007/s42001-021-00118-8
15. Adeeb R.A., Mirhoseini M. The Impact of Affect on the Perception of Fake News on Social Media: A Systematic Review // Social Sciences. 2023. Vol. 12, № 12. P. 1–24. doi: 10.3390/socsci12120674
16. Nakov P. Can we spot the «fake news» before it was even written? // arXiv preprint arXiv:2008.04374. 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2008.04374> (дата обращения: 25.02.2024).
17. Tandoc E.C., Ling R., Westlund O., Duffy A., Goh D., Zheng Wei L. Audiences’ acts of authentication in the age of fake news: A conceptual framework // New Media & Society. 2018. Vol. 20, № 8. P. 2745–2763. doi: 10.1177/1461444817731756
18. Balmas M. When fake news becomes real: Combined exposure to multiple news sources and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism // Communication Research. 2014. Vol. 41, № 3. P. 430–454. doi: 10.1177/0093650212453600
19. Lukito J. Coordinating a Multi-Platform Disinformation Campaign: Internet Research Agency Activity on Three U.S. Social Media Platforms, 2015 to 2017 // Political Communication. 2020. Vol. 37, № 2. P. 238–255. doi: 10.1080/10584609.2019.1661889
20. Hohlfeld R. Die Post-Truth-Ära: Kommunikation im Zeitalter von gefühlten Wahrheiten und Alternativen Fakten // Fake News und Desinformation: Herausforderungen für die vernetzte Gesellschaft und die empirische Forschung. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG., 2020. P. 43–60. doi: 10.5771/9783748901334

21. Dobbs M., DeGutis J., Morales J., Joseph K., Swire-Thompson B. Democrats are better than Republicans at discerning true and false news but do not have better metacognitive awareness // *Communications Psychology*. 2023. Vol. 1, № 46. doi: 10.1038/s44271-023-00040-x
22. Garrett K.R., Bond R.M. Conservatives' susceptibility to political misperceptions // *Science*. 2021. Vol. 7, № 23. eabf1234. doi: 10.1126/sciadv.abf1234
23. Grinberg N., Joseph K., Friedland L., Swire-Thompson B., Lazer D. Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election // *Science*. 2019. Vol. 363, № 6425. P. 374–378. doi:10.1126/science.aau2706
24. Guess A., Nagler J., Tucker J. Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook // *Science Advances*. Vol. 5, № 1. doi:10.1126/sciadv.aau4586.
25. Arin K.P., Mazrekaj D., Thum M. Ability of detecting and willingness to share fake news // *Scientific Reports*. 2023. Vol. 13. doi: 10.1038/s41598-023-34402-6
26. Buchanan T. Why do people spread false information online? The effects of message and viewer characteristics on self-reported likelihood of sharing social media disinformation // *PLOS ONE*. 2020. Vol. 15, № 10. doi: 10.1371/journal.pone.0239666
27. Preston S., Anderson A., Robertson D.J., Shephard M.P., Huhe N. Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence // *PLOS ONE*. 2021. Vol. 16, № 3. doi: 10.1371/journal.pone.0246757

References

1. Ushkin, S.G. (2017) Kofeyni, dzhentl'menskie kluby i sotsial'nye seti, ili gde segodnya for-miruetsya obshchestvennoe mnenie [Coffee houses, gentlemen's clubs and social networks, or where public opinion is formed today]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsi-al'nye peremeny*. 6. pp. 52–62. DOI: 10.14515/monitoring.2017.6.03
2. Ahlers, D. (2006) News consumption and the new electronic media. *Harvard International Journal of Press/Politics*. 11(1). pp. 29–52. DOI: 10.1177/1081180X05284317
3. Meyer, P. (2004) Saving journalism: How to nurse the good stuff until it pays. *Columbia Journalism Review*. 43(4). pp. 55–58.
4. Habermas, J. (2023) *Novaya strukturnaya transformatsiya publichnoy sfery i deliberativnaya politika* [New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics]. Translated from German. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
5. Coddington, M. & Holton, A.E. (2014) When the Gates Swing Open: Examining Network Gatekeeping in a Social Media Setting. *Mass Communication and Society*. 17(2). pp. 236–257. DOI: 10.1080/15205436.2013.779717
6. Blokhin, I.N. & Ilchenko, S.N. (2015) Fake as a format of modern journalism: the information reliability problem. *Indian Journal of Science and Technology*. 8(10). pp. 1–8. DOI: 10.17485/ijst/2015/v8iS10/84840
7. Cook, J., Ecker, U., Lewandowsky, S. & Schwarz, N. (2012) Misinformation and its correction continued influence and successful debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*. 13(3). pp. 106–131. DOI: 10.1177/1529100612451018
8. Lazer, D.M.J., Baum, M.A., Benkler, Y., Berinsky, A.J., Greenhill, K.M., Menczer, F., Metzger, M.J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S.A., Sunstein, C.R., Thorson, E.A., Watts, D.J. & Zittrain, J.L. (2018) The science of fake news: Addressing fake news requires a multidisciplinary effort. *Science*. 359(6380). pp. 1094–1096. DOI: 10.1126/science.aao299
9. Levy, N. (2017) The bad news about fake news. *Social Epistemology Review and Reply Collective*. 6(8). pp. 20–36. DOI: 10.4236/jcc.2022.109001
10. Ushkin, S.G. (2021) Partiya “televizora” protiv partii “Interneta”: kak mediapotreblenie vliyaet na odobrenie deyatelnosti vlastey [The “TV” party versus the “Internet” party: How media consumption influences approval of the authorities' activities]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Sotsiologiya*. 21(4). pp. 855–867. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-855-867
11. Wasserman, H. & Madrid-Morales, D. (2019) An Exploratory Study of “Fake News” and Media Trust in Kenya, Nigeria and South Africa. *African Journalism Studies*. 40(1). pp. 107–123. DOI: 10.1080/23743670.2019.1627230
12. Allcott, H. & Gentzkow, M. (2017) Social media and fake news in the 2016 election. *The Journal of Economic Perspectives*. 31(2). pp. 211–235. DOI: 10.1257/jep.31.2.211
13. Bruns, A. (2023) *Real'na li stena fil'trov?* [Is the Filter Wall Real?]. Translated from English. Moscow: HSE.
14. Caled, D. & Silva, M.J. (2022) Digital media and misinformation: An outlook on multidisciplinary strategies against manipulation. *Journal of Computational Social Science*. 5. pp. 123–159. DOI: 10.1007/s42001-021-00118-8

15. Adeeb, R.A. & Mirhoseini, M. (2023) The Impact of Affect on the Perception of Fake News on Social Media: A Systematic Review. *Social Sciences*. 12(12). pp. 1–24. DOI: 10.3390/socsci12120674
16. Nakov, P. (2020) *Can we spot the “fake news” before it was even written?* arXiv preprint arXiv:2008.04374. 2020. [Online] Available from: <https://arxiv.org/abs/2008.04374> (Accessed: 25th February 2024).
17. Tandoc, E.C., Ling, R., Westlund, O., Duffy, A., Goh, D. & Zheng Wei, L. (2018) Audiences' acts of authentication in the age of fake news: A conceptual framework. *New Media & Society*. 20(8). pp. 2745–2763. DOI: 10.1177/1461444817731756
18. Balmas, M. (2014) When fake news becomes real: Combined exposure to multiple news sources and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism. *Communication Research*. 41(3). pp. 430–454. DOI: 10.1177/0093650212453600
19. Lukito, J. (2020) Coordinating a Multi-Platform Disinformation Campaign: Internet Research Agency Activity on Three U.S. Social Media Platforms, 2015 to 2017. *Political Communication*. 37(2). pp. 238–255. DOI: 10.1080/10584609.2019.1661889
20. Hohlfeld, R. (2020) Die Post-Truth-Ära: Kommunikation im Zeitalter von gefühlten Wahrheiten und Alternativen Fakten. In: Hohfeld, R. et al. (eds) *Fake News und Desinformation: Herausforderungen für die vernetzte Gesellschaft und die empirische Forschung*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. pp. 43–60. DOI: 10.5771/9783748901334
21. Dobbs, M., DeGutis, J., Morales, J., Joseph, K. & Swire-Thompson, B. (2023) Democrats are better than Republicans at discerning true and false news but do not have better metacognitive awareness. *Communications Psychology*. 1(46). DOI: 10.1038/s44271-023-00040-x
22. Garrett, K.R. & Bond, R.M. (2021) Conservatives' susceptibility to political misperceptions. *Science*. 7(23). eabf1234. DOI: 10.1126/sciadv.abf1234
23. Grinberg, N., Joseph, K., Friedland, L., Swire-Thompson, B. & Lazer, D. (2019) Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election. *Science*. 363(6425). pp. 374–378. DOI: 10.1126/science.aau2706
24. Guess, A., Nagler, J. & Tucker, J. (2019) Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances*. 5(1). DOI: 10.1126/sciadv.aau4586
25. Arin, K.P., Mazrekaj, D. & Thum, M. (2023) Ability of detecting and willingness to share fake news. *Scientific Reports*. 13. DOI: 10.1038/s41598-023-34402-6
26. Buchanan, T. (2020) Why do people spread false information online? The effects of message and viewer characteristics on self-reported likelihood of sharing social media disinformation. *PLOS ONE*. 15(10). DOI: 10.1371/journal.pone.0239666
27. Preston, S., Anderson, A., Robertson, D.J., Shephard, M.P. & Huhe, N. (2021) Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence. *PLOS ONE*. 16(3). DOI: 10.1371/journal.pone.0246757

Сведения об авторе:

Ушкин С.Г. – кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга социальных процессов Научного центра социально-экономического мониторинга» (Саранск, Россия); исследовательский менеджер Всероссийского центра изучения общественного мнения (Москва, Россия); младший научный сотрудник департамента науки и технологий Национального исследовательского Мордовского государственного университета (Саранск, Россия). E-mail: ushkinsergey@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Ushkin S.G. – Cand. Sci. (Sociology), leading researcher at the Social Processes Monitoring Department, Scientific Centre for Socio-Economic Monitoring (Saransk, Russian Federation); research manager, Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) (Moscow, Russian Federation); junior researcher at the Department of Science and Technology, National Research Mordovia State University (Saransk, Russian Federation). E-mail: ushkinsergey@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.02.2024;

одобрена после рецензирования 22.07.2024; принята к публикации 12.08.2024

The article was submitted 25.02.2024;

approved after reviewing 22.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья
УДК 316.33
doi: 10.17223/1998863X/80/17

ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К СИТИ-МЕНЕДЖЕРУ: НОВЫЕ МОДУСЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Елена Викторовна Фролова¹, Ольга Владимировна Рогач²,
Валентина Юрьевна Шалашникова³

^{1, 2} *Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия*

³ *Министерство науки и высшего образования РФ, Москва, Россия,*

¹ *efrolova06@mail.ru*

² *rogach16@mail.ru*

³ *dublerprefekta@gmail.com*

Аннотация. Реализация модели «сити-менеджер», предполагающая привлечение профессиональных управляющих к руководству муниципалитетами, сопровождается существенными рисками снижения доверия к местной власти. Корреляционный анализ позволил установить наличие статистической зависимости между дефицитом доверия и исключением практик предвыборных коммуникаций власти и населения. Проведенное исследование показало, что дефицит доверия существенным образом лимитирует социально-экономическое развитие российских территорий.

Ключевые слова: сити-менеджер, доверие, местное самоуправление, инициативное бюджетирование, дефицит доверия

Благодарности: статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Для цитирования: Фролова Е.В., Рогач О.В., Шалашникова В.Ю. Доверие населения к сити-менеджеру: новые модусы развития местного самоуправления // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 185–193. doi: 10.17223/1998863X/80/17

Original article

PUBLIC TRUST IN THE CITY MANAGER: NEW WAYS TO DEVELOP LOCAL SELF-GOVERNMENT

Elena V. Frolova¹, Olga V. Rogach², Valentina Yu. Shalashnikova³

^{1, 2} *Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation*

³ *Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation*

¹ *efrolova06@mail.ru*

² *rogach16@mail.ru*

³ *dublerprefekta@gmail.com*

Abstract. The introduction of innovations into the system of local self-government and the replacement of electoral procedures with the “city manager” model actualize research into the processes of interaction between the population and new municipal leaders. The aim of

the study is to analyze the factors influencing the formation of public trust in the activities of the city manager. The main research method was a survey of local government leaders ($N = 188$). As the results of the study show, Russian territories are characterized by a problematic background in the formation of trust in local authorities. Thus, 29.3% of respondents believe that the low level of public trust greatly limits the possibility of a territory's socio-economic development. More than half of the respondents (52.6%) chose the answer "somewhat limits". The survey found that replacing the electoral practice of selecting the head of a municipality with the procedure for appointing a city manager reduced the level of trust (58.0%). Correlation analysis established the existence of a statistical relationship between the lack of trust and the exclusion of pre-election communication practices between the authorities and the population. In addition, the following problems were identified: narrowing of the channels for articulating the interests of the local population (47.3%); fragmentation and speed of solving local problems without focusing on achieving strategic prospects and long-term objectives of territorial development (55.9%). Despite recognizing the problems of a lack of trust, city managers in their activities are more focused on the mechanisms of socio-economic development of territories, which presuppose the existence of trust and partnership between citizens and authorities (for example, attracting financial resources from residents for the implementation of infrastructure projects). To a lesser extent, new heads of municipalities (city managers) use in their practice mechanisms that rely on business trust in government (for example, municipal-private partnerships).

Keywords: city manager, trust, local government, proactive budgeting, trust deficit

Acknowledgements: The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment of the Financial University.

For citation: Frolova, E.V., Rogach, O.V. & Shalashnikova, V.Yu. (2024) Public trust in the city manager: new ways to develop local self-government. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 185–193. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/17

Введение

Уровень доверия в обществе рассматривается сегодня как значимый фактор социально-экономического развития территорий [1], обеспечивая экономический рост, снижение неопределенности и сокращение транзакционных издержек [2]. Особо важное значение феномен доверия приобретает на уровне местного самоуправления, где частота и сила контактов власти и населения наиболее высоки. Как показывают результаты исследований, присутствует устойчивая зависимость между эффективностью деятельности органов власти и уровнем доверия. С одной стороны, успешность реализации инициатив органов управления, высокие экономические показатели обеспечивают рост доверия к институтам власти [3]. С другой стороны, анализ российского эмпирического материала показывает существование обратной взаимосвязи, где наличие высокого уровня доверия позволяет органам власти с высокой долей успешности реализовывать амбициозные проекты развития территорий, использовать практики партнерства с представителями местного сообщества [4]. Аналогичный вывод сделан в работе В.В. Потапова, который обосновал вывод о взаимосвязи доверия к властным институтам и признанием их легитимности с лояльностью населения. При наличии дефицита доверия снижается эффективность проводимых реформ и минимизируется институциональное влияние властных структур.

В современных исследованиях делается заключение о возникновении кризиса доверия. По мнению М.С. Алексева, тенденции информатизации,

свойственные современному обществу, повысили уровень критичности восприятия населением действий органов власти [6]. В дополнение к сделанному заключению, интерес представляет вывод о сужении радиуса доверия в российском обществе до двух полюсов: к президенту и ближнему окружению [7]. В данном контексте вполне закономерным представляется вывод о формировании дефицита доверия в системе местного самоуправления. Ситуация усугубляется сужением электоральных практик ввиду реформирования муниципалитетов, привлечения профессиональных управляющих (сити-менеджеров) к развитию локальных социумов. Особую актуальность приобретает анализ тенденций развития доверия к деятельности сити-менеджеров как ключевому субъекту управления муниципалитетом.

Таким образом, установлено противоречие между необходимостью повышения эффективности действий муниципальных властей и низким уровнем доверия жителей к инициативам органов местного самоуправления. Научная проблема заключается в поиске детерминант формирования доверия населения к сити-менеджеру. Для ответа на поставленные вопросы используются данные исследования, проведенного в 2023 г. на базе муниципальных образований РФ с целью идентификации преимуществ и ограничений применения в российской практике модели «сити-менеджер». В данной статье приводятся результаты одного блока исследования, посвященного проблемам развития доверия населения к сити-менеджеру как новому модусу местного самоуправления.

Авторами поверялась гипотеза, что нарушение первичных коммуникаций кандидата на пост главы муниципального образования и местного населения в ходе предвыборных процедур, сужение каналов воздействия на решения местной власти со стороны жителей приводят к дефициту доверия. Ключевым методом исследования стал анкетный опрос руководителей муниципалитетов ($N = 188$). Распространение анкеты осуществлялось по принципу личного обращения к главам муниципальных образований.

Низкий уровень доверия населения к местной власти как предикат гражданской пассивности

Согласно полученным данным, почти каждый третий опрошенный руководитель местных органов власти (29,3%) полагает, что низкий уровень доверия населения сильно ограничивает возможность социально-экономического развития территории. Более половины опрошенных (52,6%) выбрали вариант ответа «отчасти ограничивает». Подобное распределение ответов иллюстрирует дефицит доверия населения к местной власти. Ориентация глав муниципальных образований на обращения к ресурсу местного сообщества наталкивается на социальную отчужденность, низкий уровень готовности большей части населения к совместным практикам решения муниципальных проблем.

Можно предположить, что низкий уровень доверия формирует пассивность населения в решении вопросов местного значения. Результаты опроса показали, что среди респондентов, отметивших недостаточность поддержки со стороны местного населения, значительно выше доля тех, кто рассматривает пассивность населения как существенный барьер для социально-экономического развития муниципалитета (60,3%, что выше средних значений по выборке на 19,3 п.п.).

Кроме того, среди глав муниципальных образований, испытывающих дефицит поддержки со стороны представителей местного сообщества, выше доля тех, кто рассматривает низкий уровень доверия в качестве ограничения социально-экономического благополучия территории (выше средних значений на 14,5 п.п.). Можно предположить, что руководители российских муниципалитетов, иницируя социальные практики включения населения в решение вопросов местного значения, сталкиваются с отсутствием доверия как предиката формирования партнерских отношений. Развивая данный вывод, делается заключение, что в представлении властных структур гражданская активность выступает естественным атрибутом городской среды; и, видя проявления ее отсутствия, главы муниципалитетов склонны связывать данный факт с недоверием в адрес властных структур. Таким образом, дефицит доверия рассматривается как сложно преодолимый барьер на пути развития современных муниципальных образований.

Дисфункции модели сити-менеджера и их влияние на рост дефицита доверия в местном сообществе

Делается заключение, что замена электоральных процедур выбора главы муниципального образования на назначение через конкурс профессионального управляющего снизила доверие населения к модели «сити-менеджер». В частности, результаты исследования показали наличие недостатков конкурсных практик назначения на должность сити-менеджера, которые в общем виде могут быть представлены следующим образом:

- нарушение коммуникации кандидата и местного населения в ходе предвыборных процедур (58,0%);
- сужение каналов артикуляции интересов местного населения (47,3%);
- фрагментарность и быстрота решения локальных проблем без ориентации на достижение стратегических перспектив и долгосрочных задач территориального развития (55,9%).

Установлена зависимость между дефицитом доверия и изменением прав местного населения в части выбора главы муниципального образования (таблица). Отсутствие предвыборных взаимодействий, в ходе которых кандидат на должность главы муниципального образования находится в статусе соискателя общественной поддержки, признается респондентами как существенный недостаток модели сити-менеджера. Среди респондентов, отметивших данный фактор, существенно выше доля тех, кто оценивает низкий уровень доверия к власти в качестве существенного ограничения развития территории (36,7%, что выше средних значений на 7,4 п.п.). Следствием устранения выборного принципа в современных муниципалитетах становится рост убежденности местного сообщества в невозможности оказывать влияние на вектор политических решений, а также артикулировать свои потребности в решении конкретных задач. Среди респондентов, рассматривающих данный фактор как недостаток модели сити-менеджера, выше доля тех, кто отмечает низкий уровень доверия населения к власти (38,2%, что выше средних значений по выборке на 8,9 п.п.).

Проведенное исследование задает тон дискуссии об институциональном фундаменте формирования доверия местных жителей к власти. Как отмечает Т.А. Гужавина, базисом доверия становятся подтвержденные ожидания пред-

ставителей местных сообществ, а также устойчивость и ответственность власти [8]. Развивая данную идею на примере модели сити-менеджера, можно сделать заключение об отсутствии институциональных условий для формирования и закрепления ожиданий граждан. Такие проблемы, как отсутствие «предвыборных обещаний» исключают возможность их артикуляции.

Зависимость между низким уровнем доверия населения к местной власти и недостатками модели «сити-менеджер»

Согласны ли Вы с тем, что данные факторы являются недостатками назначения главы местной администрации (сити-менеджера)?	Низкий уровень доверия населения к местной власти как ограничение социально-экономического развития муниципального образования			Число степеней свободы равно 2. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости $p < 0,05$
	Сильно ограничивает	Отчасти ограничивает	Нет проблемы / не имеет значения	
Исключение практики «предвыборных обещаний», в ходе которых решаются проблемы жителей				Значение критерия χ^2 составляет 9,089. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p = 0,05$ составляет 5,991. Уровень значимости $p = 0,011$
Да	36,7	50,5	12,8	
Нет	19,0	55,7	25,3	
Сужение границ воздействия жителей на деятельность главы города				Значение критерия χ^2 составляет 14,437. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p = 0,01$ составляет 9,21. Уровень значимости $p < 0,001$
Да	38,2	53,9	7,9	
Нет	21,2	51,5	27,3	

Влияние низкого уровня доверия местного населения на социальные практики участия в решении задач развития муниципальных образований

Вызывает интерес тот факт, что практически половина опрошенных руководителей муниципалитетов (48,9%) часто обращаются к практикам инициативного бюджетирования. Можно предположить, что проекты партисипативного партнерства власти и населения рассматриваются сегодня как приоритетный инструмент территориального развития. При этом среди тех респондентов, кто отмечает низкий уровень доверия, доля использующих механизм инициативного бюджетирования несколько ниже (45,5%, что ниже средних значений на 3,4 п.п.). Корреляционный анализ показал отсутствие статистической зависимости, однако полученное распределение ответов задает тон дальнейшей дискуссии о влиянии доверия на готовность населения вкладывать личный ресурс в решение проблем местного значения.

Как справедливо отметила Е.Ю. Цумарова, сегодня практики инициативного бюджетирования отличаются активной коммуникацией власти с населением на начальном этапе выдвижения и выбора проектных инициатив, тогда как в дальнейшем отмечается исключение общественности из контрольно-ревизионных мероприятий. Такой подход, по мнению ученого, характеризуется нарушением договоренностей и инициирует формирование дефицита доверия, низкий уровень удовлетворенности граждан опытом участия [10].

Согласно полученным данным, отсутствует статистически значимая зависимость между уровнем доверия населения к местной власти и использо-

ванием технологий самоорганизации граждан. Можно предположить, что практики объединения ресурсов представителей местного сообщества реализуются стихийно как ответ на проблемы, которые волнуют местное сообщество. Зачастую добровольное объединение ресурсов граждан противопоставляется действиям властей, которые ассоциируются с риском снижения качества жизни. Аналогичные выводы сделаны в исследованиях, подготовленных на эмпирическом материале локальных территорий Испании. Ухудшение качества жизни в местном сообществе, финансовый кризис и падение доходов домохозяйств детерминируют, с одной стороны, снижение уровня доверия к действиям органов власти, а с другой – становятся предикатом интеграции усилий представителей местных сообществ, их солидаризации [11].

В ходе исследования установлено, что сити-менеджеры в своей деятельности в большей степени ориентированы на механизмы социально-экономического развития территории, в основе которых заложен принцип доверия граждан к власти. Так, 49,0% опрошенных руководителей муниципалитетов часто используют в своей практике механизм инициативного бюджетирования. При этом менее востребованными механизмами оказались те из них, которые предполагают наличие высокого уровня доверия бизнеса к действиям властей. В частности, только 15,9% опрошенных часто используют в своей практике инструменты муниципально-частного партнерства. Недостаточно ориентированы муниципальные руководители на создание условий развития кооперации (14,4%).

Данные деструкции, снижая эффективность деятельности органов местного самоуправления, инициируют формирование дефицита доверия. Российские ученые связывают доверие к власти с успехами государственного управления, социальным благополучием и социальной справедливостью. Г.И. Герасимова в дополнение к сделанному выводу отмечает наличие таких детерминант доверия, как компетентность и профессионализм представителей власти, результативность их деятельности, выраженную в улучшении качества жизни [12].

Заключение

Привлечение сити-менеджера к управлению муниципалитетами как относительно новая политическая практика характеризуется наличием дефицита доверия со стороны местного населения. Отсутствие выборных процедур, снижение каналов артикуляции мнения местного населения – все это приводит к отсутствию возможности выстраивания коммуникации власти и представителей местного населения на принципах сотрудничества. Сегодня руководители муниципальных образований РФ обеспокоены пассивностью населения, недостаточностью поддержки со стороны местных сообществ. Данные деструкции, по мнению респондентов, существенным образом ограничивают социально-экономическое развитие территории.

Исключение предвыборных дебатов, взаимодействий кандидатов на пост главы с представителями общественности не позволяет сформировать первичные договоренности между властью и населением, исполнение которых и стало бы надежным фундаментом доверия. Можно предположить, что профессионализация муниципального управления, обеспечиваемая конкурсным

отбором кандидатов на должность сити-менеджера, призвана стать компенсатором отсутствия первичных договоренностей, которые формируются в ходе предвыборных обещаний. Ожидания и запросы граждан к власти традиционно центрируются в плоскости повышения качества жизни, решения социально острых проблем территории, что зачастую не требует дополнительной артикуляции.

Однако способны ли сегодня сити-менеджеры удовлетворить данные ожидания и запросы? Являются ли они достаточными профессионалами, чтобы сформировать новый базис доверия населения к власти? Ответ на данный вопрос не может опираться только на оценке базовых компетенций сити-менеджера. Наиболее релевантным подходом может служить оценка результативности их деятельности в целях повышения качества жизни населения, а также эффективность использования инновационных механизмов социально-экономического развития территорий. Несмотря на усилия федеральных органов власти, которые неоднократно подчеркивали необходимость активизации внутренних источников территориального развития, местные элиты не в состоянии адаптировать свои практики в соответствии со стратегическими целями государства. Как показали результаты исследования, руководители местных органов власти не в полной мере используют такие механизмы социально-экономического развития территории, как муниципально-частное партнерство, межмуниципальное сотрудничество, реализация инвестиционных проектов, кооперация.

Результаты исследования показали наличие противоречия между низким уровнем доверия населения к деятельности муниципальных органов власти и отсутствием учета данного факта в выборе властными структурами механизмов социально-экономического развития территории. В частности, установлено, что практически каждый второй руководитель муниципалитета использует в своей практике механизм инициативного бюджетирования, который предполагает привлечение финансовых средств граждан.

Список источников

1. Miniesy R.S., AbdelKarim M. Generalized trust and economic growth: The nexus in MENA countries // *Economies*. 2021. Vol. 9 (1), № 39. doi: 10.3390/economies9010039
2. De Mendonça H.F., Almeida A.F.G. Importance of credibility for business confidence: evidence from an emerging economy // *Empirical Economics*. 2019. № 57. P. 1979–1996. <https://doi.org/10.1007/s00181-018-1533-5>
3. Yang J., Dong C., Chen Y. Government's Economic Performance Fosters Trust in Government in China: Assessing the Moderating Effect of Respect for Authority // *Social Indicators Research*. 2021. № 154 (2). P. 545–558. doi: 10.1007/s11205-020-02553-y
4. Рогач О.В., Фролова Е.В. Использование механизмов инициативного бюджетирования: готовность населения и доверие к власти // *Вестник Пермского университета. Политология*. 2023. Т. 17, № 2. С. 48–59.
5. Потапов В.В. Общественно-политическое доверие к полиции как ресурс укрепления правопорядка // *Социально-политические науки*. 2017. № 6. С. 37–40.
6. Алексеев М.С. Доверие населения к органам власти в информационном обществе: теоретико-методологические основы изучения // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2023. № 71. С. 177–191. doi: 10.17223/1998863X/71/17
7. Александрова О.А. Обеспечение атмосферы доверия как условие экономического развития // *Экономическое возрождение России*. 2019. № 3 (61). С. 71–81.
8. Гужавина Т. А. Доверие в пандемию: сохранить нельзя изменить. А что чувствует регион? // *Социологическая наука и социальная практика*. 2021. Т. 9, № 3. С. 25–39. doi: 10.19181/Асп.2021.9.3.8431_

9. Цумарова Е.Ю. Парадокс общественного участия в программах благоустройства: вовлеченность растет, доверие снижается // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. № 24 (4). С. 221–248. <https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.4.9>

10. Caïs J., Torrente D., Bolancé C. The Effects of Economic Crisis on Trust: Paradoxes for Social Capital Theory // *Social Indicators Research*. 2021. № 153 (1). P. 173–192. doi: 10.1007/s11205-020-02385-w

11. Малкина М.Ю., Овчинников В.Н., Холодilin К.А. Институциональные факторы политического доверия в современной России // *Journal of Institutional Studies*. 2020. № 12 (4). С. 7793. doi: 10.17835/2076-6297.2020.12.4.077-093

12. Герасимова Г.И. Феномен доверия в социальном управлении: теоретический аспект // Теория и практика общественного развития. 2023. № 6. С. 26–32. <https://doi.org/10.24158/tipor.2023.6.2>

References

1. Miniesy, R.S. & AbdelKarim, M. (2021) Generalized trust and economic growth: The nexus in MENA countries. *Economies*. 9(1). No. 39. DOI: 10.3390/economies9010039

2. De Mendonça, H.F. & Almeida, A.F.G. (2019) Importance of credibility for business confidence: evidence from an emerging economy. *Empirical Economics*. 57. pp. 1979–1996. DOI: 10.1007/s00181-018-1533-5

3. Yang, J., Dong, C. & Chen, Y. (2021) Government's Economic Performance Fosters Trust in Government in China: Assessing the Moderating Effect of Respect for Authority. *Social Indicators Research*. 154(2). pp. 545–558. DOI: 10.1007/s11205-020-02553-y

4. Rogach, O.V. & Frolova, E.V. (2023) Ispol'zovanie mekhanizmov initsiativnogo byudzhetirovaniya: gotovnost' naseleniya i doverie k vlasti [Using proactive budgeting mechanisms: Public readiness and trust in authorities]. *Vestnik Permskogo universiteta. Politologiya*. 17(2). pp. 48–59.

5. Potapov, V.V. (2017) Obshchestvenno-politicheskoe doverie k politicii kak resurs ukrepleniya pravoporyadka [Socio-political trust in the police as a resource for strengthening law and order]. *Sotsial'no-politicheskie nauki*. 6. pp. 37–40.

6. Alekseev, M.S. (2023) Public trust in the authorities in the information society: Theoretical and methodological bases of studying. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universite-ta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 71. pp. 177–191. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/71/17

7. Aleksandrova, O.A. (2019) Obespechenie atmosfery doveriya kak uslovie ekonomicheskogo razvitiya [Ensuring an atmosphere of trust as a condition for economic development]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 3(61). pp. 71–81.

8. Guzhavina, T.A. (2021) Doverie v pandemiyu: sokhranit' nel'zya izmenit'. A chto chuvstvuet region? [Trust in a pandemic: Preservation cannot be changed. How does the region feel?]. *Sotsiologicheskaya nauka i sotsial'naya praktika*. 9(3). pp. 25–39. DOI: 10.19181/Arp.2021.9.3.8431

9. Tsumarova, E.Yu. (2021) Paradoks obshchestvennogo uchastiya v programmakh blagoustroystva: вовлеченность растет, доверие снижается [The paradox of public participation in improvement programs: involvement increases, trust decreases]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 24(4). pp. 221–248. DOI: 10.31119/jssa.24.4.9

10. Caïs, J., Torrente, D. & Bolancé, C. (2021) The Effects of Economic Crisis on Trust: Paradoxes for Social Capital Theory. *Social Indicators Research*. 153(1). pp. 173–192. DOI: 10.1007/s11205-020-02385-w

11. Malkina, M.Yu., Ovchinnikov, V.N. & Kholodilin, K.A. (2020) Institutsional'nye faktory politicheskogo doveriya v sovremennoy Rossii [Institutional factors of political trust in modern Russia]. *Journal of Institutional Studies*. 12(4). pp. 77–93. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.4.077-093

12. Gerasimova, G.I. (2023) Fenomen doveriya v sotsial'nom upravlenii: teoreticheskiy aspekt [The phenomenon of trust in social management: a theoretical aspect]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*. 6. pp. 26–32. DOI: 10.24158/tipor.2023.6.2

Сведения об авторах:

Фролова Е.В. – доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Финансового университета при Правительстве РФ (Москва, Россия). E-mail: efrolova06@mail.ru

Рогач О.В. – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии Финансового университета при Правительстве РФ (Москва, Россия). E-mail: rogach16@mail.ru

Шалашникова В.Ю. – директор Департамента государственной службы и административной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ (Москва, Россия). E-mail: rogach16@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Frolova E.V. – Dr. Sci. (Sociology), professor; professor of the Department of Sociology, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). E-mail: efrolova06@mail.ru

Rogach O.V. – Cand. Sci. (Sociology), docent; associate professor of the Department of Sociology, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). E-mail: rogach16@mail.ru

Shalashnikova V.Yu. – director of the Department of Civil Service and Administrative Activities, Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation). E-mail: rogach16@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 19.03.2024;

одобрена после рецензирования 22.07.2024; принята к публикации 12.08.2024

The article was submitted 19.03.2024;

approved after reviewing 22.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научная статья

УДК 316.354.2

doi: 10.17223/1998863X/80/18

ЗРЕЛОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАКТИКАХ РАБОТЫ С КАДРОВЫМИ РЕЗЕРВАМИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Илья Борисович Шебураков¹, Людмила Николаевна Татарина²

^{1,2} *Высшая школа государственного управления Президентской академии, Москва, Россия*

¹ *sheburakov-ib@ranepa.ru*

² *tatarinova-ln@ranepa.ru*

Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективности кадровой политики в органах публичной власти, представлены результаты исследований кадровых резервов, обобщаются взаимосвязь зрелости кадровой политики и эффективности работы с резервом, видение новых концептуальных подходов к развитию кадровых резервов в государственной сфере в контексте реализации национальных приоритетов и стратегических целей на основе раскрытия управленческого потенциала.

Ключевые слова: кадровая политика, социальный капитал, управленческий потенциал, кадровый резерв, зрелость

Для цитирования: Шебураков И.Б., Татарина Л.Н. Зрелость кадровой политики и ее отражение в практиках работы с кадровыми резервами в контексте развития управленческого потенциала // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 194–204. doi: 10.17223/1998863X/80/18

Original article

THE MATURITY OF PERSONNEL POLICY AND ITS REFLECTION IN THE PRACTICES OF WORKING WITH PERSONNEL RESERVES IN THE CONTEXT OF DEVELOPING MANAGEMENT POTENTIAL

Ilya B. Sheburakov¹, Lyudmila N. Tatarinova²

^{1,2} *Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Moscow, Russian Federation*

¹ *sheburakov-ib@ranepa.ru*

² *tatarinova-ln@ranepa.ru*

Abstract. The article considers issues of the effectiveness of personnel policy pursued in public authorities, the understanding of the conceptual foundations, parameters and criteria that determine its effectiveness, as well as the reflection of its maturity in the practice of working with the personnel reserve. The article draws attention to the essence of personnel policy in the context of unlocking managerial potential, developing human and social capital. The authors emphasize that the implementation of personnel policy in public authorities is based on various conceptual, methodological and technological foundations, which increases the bifurcation of the management systems themselves. The development of management systems is viewed through the prism of value-normative compliance and coherence, which reflects the identity of the vision of strategic goals and expected results. Currently, a request is being formed in the field of forecasting based on big data of non-obvious dependencies,

the formation of multivariate scenarios and possible solutions in a dynamic environment. The article substantiates the relationship between the maturity of personnel policy, the quality of personnel analytics and the effectiveness of the formation and work with the personnel reserve. Based on the analysis of the results of sociological research and the assessment of the practice of forming personnel reserves, the authors identify key problem areas in the formation and development of management potential in government bodies, emphasizing the direct connection and interdependence of the qualitative characteristics of management personnel and the parameters of sustainable socio-economic development. The article substantiates that the management of personnel reserves in the public sphere goes beyond the exclusively organizational context and is integrated into the macro-social context; it is a personnel meta-technology indicating the level of maturity and the nature of personnel policy in government bodies. Based on the analysis, the authors' vision of new conceptual approaches and principles for the development of personnel reserves in the public sphere in the context of the implementation of national priorities and strategic goals of sustainable socio-economic development based on the disclosure of managerial potential is substantiated.

Keywords: personnel policy, social capital, managerial potential, personnel reserve, maturity

For citation: Sheburakov, I.B. & Tatarinova, L.N. (2024) The maturity of personnel policy and its reflection in the practices of working with personnel reserves in the context of developing management potential. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 194–204. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/18

Введение

В условиях масштабных социальных изменений и радикальных трансформаций ключевыми факторами устойчивого социально-экономического развития как регионов страны, так и государства в целом становятся не столько сугубо экономические показатели, сколько имеющийся социальный капитал. Вопросы концептуального осмысления качества кадровой политики в системе институтов публичной власти, формирования новых принципов, методологического и технологического обеспечения процессов принятия и реализации кадровых решений приобретают особую социальную значимость.

Теоретико-методологические подходы к исследованию кадровой политики: в поисках новых объясняющих моделей

Социальный капитал занимает свое место в нематериальных ресурсах общества наряду с человеческим (включающим в себя культурный), экономическим, символическим капиталом и их внутренними структурными разновидностями [1]. Между этими видами капитала нет четкой иерархии вне контекста качественных особенностей общества, но существует взаимосвязь и взаимовлияние всех видов нематериального капитала. По сути, концепции социального и человеческого капитала являются результатом переосмысления экономической категории [2. С. 72]. П. Бурдье, рассматривая многомерность социального пространства, представленного различными полями (наряду с К. Левиным) [4], определял наличие в общественной практике феномена социального капитала как совокупности имеющихся или потенциальных ресурсов, предполагающих наличие системы в определенной мере институционализированных отношений взаимного распознавания или признания [5]. Несмотря на различия в теоретико-методологических подходах к исследованию социального капитала, как правило, в качестве базовых струк-

турных элементов, определяющих его содержание, выделяются доверие, нормы и ценности, а также социальные коммуникации и сети. Вопросы социального капитала в научном дискурсе в настоящее время вызывают все больший интерес [6]. Социальный капитал понимается как «свойство общественных связей и отношений, которое и выражает сущность социальной интеграции, наличие сильных связей в обществе на неформальном уровне», внимание акцентируется на вопросах институционализации доверия в системе властных отношений [7]. Объяснение успешности или неуспешности различных групп в обществе все чаще связывается с «Я-концепцией личности», процессами идентичности в условиях изменений [8], актуализируются и исследования в области измерения социального капитала и установления корреляционных связей с управленческим потенциалом, что представляется нам особо значимым в контексте осмысления концептуальных основ кадровой политики институтов публичной власти. Как справедливо отмечается Е.В. Охотским, «не создав адекватный современному моменту идеологический базис... без соответствующего мировоззренческого обоснования невозможно реализовать должным образом концепцию государственного служения...» [9].

Новые качественные характеристики управленческой деятельности и субъектное измерение систем управления в целом, и применительно к системе государственного управления обуславливают возрастающий интерес к управленческому потенциалу как основному ресурсу развития как в личностном, организационном, так и социальном контекстах. Оценка управленческого потенциала как институционального запаса сопряжена не столько с определением отдельных характеристик (квалификации, некоего набора компетенций), сколько со степенью «выраженности значимых для эффективной управленческой деятельности, инвариантных личностно-профессиональных ресурсов» [10]. В этой связи актуализируется потребность комплексного рассмотрения проблем реализации кадровой политики, оценки уровня ее зрелости, поиска новых социально-технологических решений.

Подходы к типологизации кадровой политики

Вопросам реализации кадровых политик посвящено достаточно большое количество работ. Кадровую политику можно определять по-разному, и чаще всего ее трактуют как стратегию управления персоналом. В то же время отсутствие осознанной, описанной и целенаправленно реализуемой стратегии не исключает возможность существования кадровой политики, характеризующей то или иное состояние системы управления кадрами в целом, как и отсутствие системы как таковой. Так, выделяются различные основания для классификации видов кадровой политики. Каждый следующий этап развития кадровой политики считается более зрелым, чем предыдущий (рис. 1). При этом необходимо отметить, что как пассивная, так и реактивная кадровая политика в той или иной организации не всегда переходит в состояние проактивной.

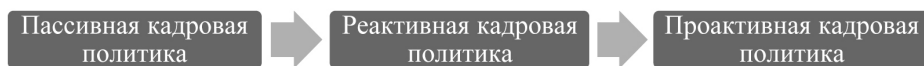


Рис. 1. Этапы развития кадровой политики

На наш взгляд, справедливым может быть и следующее выделение типов кадровых политик по степени активности и целенаправленности воздействий

на кадровые процессы и, соответственно, уровню зрелости кадровой политики. Кадровая политика может делиться на два типа: пассивная и активная. Активная кадровая политика, в свою очередь, может проявляться и как реактивная, и как проактивная (рис. 2). Подобное разделение справедливо именно потому, что границы между пассивной и активной кадровой политиками являются более выраженными, чем между реактивной и проактивной.

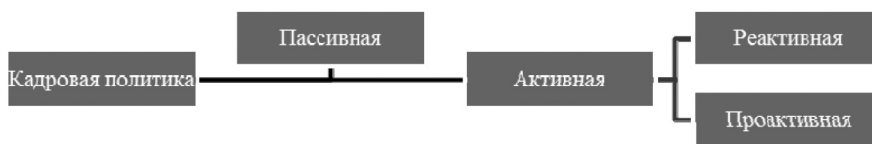


Рис. 2. Типы кадровых политик в зависимости от активности влияния на кадровые процессы

Реактивная кадровая политика характеризуется состоянием реагирования на уже существующие кадровые проблемы, которые необходимо срочно решать по принципу «тушения пожаров». Такая политика характеризуется отсутствием стратегической направленности и отталкивается от актуальной ситуации. Проактивная кадровая политика характеризуется стратегической направленностью и стремлением к предвосхищению появления острых кадровых проблем. В этой связи необходимо акцентировать внимание и на изменении качества кадровой аналитики, если в рамках дескриптивной и прогнозных моделей внимание фокусировалось на выявлении очевидных зависимостей, на мониторинге и прогнозировании кадровых процессов на основе подтвержденных статистических гипотез, то в настоящее время формируется запрос в области прогнозирования на основе больших данных, неочевидных зависимостей, формирования мультивариативных сценариев и возможных решений в динамической среде (задача, решаемая прескриптивной аналитикой).

Уровень зрелости кадровой политики на государственной гражданской службе

Применительно к решению широкого круга задач в различных сферах используется модель зрелости (возникнув первоначально для программной инженерии, постепенно вошла в практику организационного управления, в производственную отрасль, сферу страхования и финансов), которая аккумулирует в себе различные подходы в области повышения качества и оценки процессов. Как правило, выделяют пять (либо четыре) уровней зрелости, начиная с уровня начального (отсутствие четкого описания процессов, стандартизируемых процедур и операций) и заканчивая постоянно оптимизируемым уровнем.

Начальный (неформализованный) уровень характеризуется фокусировкой на решении возникающих проблем, бессистемностью, отсутствием регламентации ключевых процессов (от планирования до оценки успешности), второй (управляемый) предусматривает переход к формализованным методам управления основными процессами, третий – управляемый на основе больших данных (применение статистических методов для измерения процессов и управления ими, четкий набор метрик для оценки эффективности процессов, измерение и анализ отклонений, использование данных для улучшения

процессов и повышения качества, наличие системы управления рисками и изменениями, отличается системной интегрированностью). Каждый уровень представляет собой набор характеристик и практик, включает не только элементы предыдущего этапа, но и дополнительные, которые способствуют выработке оптимальных решений и корректировке стратегии развития.

С учетом комплексности технологии работы с резервами, ее закономерной приоритетности и степени распространения в государственной сфере можно утверждать, что уровень зрелости работы с государственными кадровыми резервами отражает уровень зрелости всей системы управления кадрами и кадровой политики в целом. Более детальный анализ особенностей, качества и эффективности работы с кадровыми резервами позволяет достаточно точно определить уровень зрелости кадровой политики в органах власти и ее отдельных элементов как по уровням управления, так и по сферам деятельности.

Каким образом описанные выше типы кадровых политик связаны с формированием и использованием кадровых резервов? Как известно (нами это было подробно описано в докладе «Кадровые резервы в Российской Федерации»), вся разновидность «гражданских» кадровых резервов государства включает в себя два основных вида: кадровые резервы на государственной гражданской службе и резервы управленческих кадров. Кроме того, в последнее время активно развиваются «новые управленческие резервы» («Лидеры России», региональные / ведомственные / отраслевые конкурсы, «школа губернаторов»). Характеристика параметров, определяющих уровень зрелости кадровой политики, оценка взаимосвязи ее качества с практиками формирования и работы с кадровым резервом обуславливают необходимость расширения объясняющих моделей посредством измерения управленческого потенциала.

Методология исследования

Методология настоящего исследования базируется на ресурсном и личностно-ориентированных подходах, модели управленческого потенциала и управленческой готовности, концепциях социального капитала, управленческой зрелости. Методология эмпирического исследования включала в себя серию как качественных методов (результаты стратегических сессий и фокус-групп с руководителями органов власти и кадровых службы), так и количественных. Для оценки карьерных ожиданий и уровня оптимизма в восприятии возможностей должностного роста использовались данные, полученные в режиме мониторинга при прохождении стандартизированного опросника «Оценка управленческого потенциала» в период с 2017 по 2022 г. (более 70 000 руководителей). При формировании рейтинга управленческого потенциала регионов были проанализированы результаты личностно-профессиональной диагностики 1 186 руководителей из 80 регионов.

Результаты исследования

Система формирования управленческого корпуса органов власти является важным маркером, отражающим состояние всей системы государственного управления. От того, что закладывается в основу подбора/отбора кадров, каналы привлечения, требования, предъявляемые как на «входе», так и в про-

цессе управленческой деятельности, во многом определяют и качество принимаемых решений, и результативность влияния на социальные, экономические, политические и социокультурные процессы. Именно аспекты, связанные с формированием системных решений в области управления кадровым составом и процессами в органах власти, относятся к числу наиболее острых и проблемных зон в практике, несмотря на предпринимаемые усилия, эффективность и уровень зрелости кадровой политики оцениваются недостаточно высоко (рис. 3).



Рис. 3. Эффективность кадровой политики и оценка руководителей органов власти и кадровых служб

В настоящее время можно констатировать отсутствие общего концептуального контура кадровой политики, центры принятия решений рассредоточены по государственным органам и уровням государственного управления. Наблюдается и высокая степень дифференцированности по уровню зрелости кадровых технологий, в том числе и при формировании и развитии кадровых резервов, сохраняются различия в восприятии субъектами кадровой политики и самого предназначения резерва, и узловых проблем его развития. Несмотря на широкую распространенность различных видов кадровых резервов в управленческой практике, вопросы востребованности, рациональности использования резерва в решении задач кадровой политики по-прежнему относятся к числу наиболее проблемных (Более подробно результаты исследования представлены в статьях [11–13]. Руководители органов власти и кадровых служб в качестве ключевых причин, снижающих качество кадровой политики, отмечают достаточно архаичное, эклектичное восприятие императивов нового качества профессионалов системы государственного управления, отсутствие системности при формировании кадрового состава. Резервистами также по-разному воспринимаются и роль, и возможности, которые открываются в связи с нахождением в резерве. В исследованиях фиксируется, что карьерный мотив становится все более выраженным. В 2020 г. карьерные установки резервистов федерального управленческого резерва в большей степени связаны с должностным ростом (выборка составила 170 человек. Из них участники программы базового и перспективного уровня – 110 человек, 60 человек – участники высшего резерва управленческих кадров). Свою готовность к должностному росту отметили 94% резервистов (рис. 4).



Рис. 4. Карьерная готовность (% от ответивших)

Уровень оптимизма, связанный с перспективами своего служебного роста (респонденты, выбравшие утверждение «очень хорошие перспективы» и «перспективы есть»), достаточно высок (70–90% участников опроса позитивно оценивают свои перспективы). Однако участники управленческих резервов значительно более уверены в развитии своей карьеры (77,9%), чем представители фонового массива – госслужащие (58,9%). Необходимо продолжать искать консенсус между субъективным представлением участников резервов о своей управленческой готовности и их реальной востребованностью в системе госуправления. Решению данной задачи во многом может способствовать формирование единого карьерного пространства, как минимум, для представителей органов публичной власти, а в перспективе – для сотрудников всех организаций, работодателем которых выступает государство.

Любая деятельность представляет собой особую целостную систему, включающую взаимосвязь и взаимовлияние мотивов, целей, задач, действий и ожидаемых результатов, что означает необходимость связать смысл и целеполагание с теми результатами, которые будут в итоге получены. В этой связи интересным представляется соотнесение рейтингов качества управления и оценки управленческого потенциала. В настоящее время разработка и применение в системах управления рейтингов рассматриваются в контексте технологий «умного наблюдения» в сфере государственного управления, как компонент «мягкой силы», по аналогии операционализируется и такое понятие, как «рейтинговая сила» («charts power» или «index power») [14]. Сравнительные рейтинги используются как инструмент управленческого влияния, как элемент имиджевой контент-стратегии [15]. В управленческой практике важную роль играют рейтинги, связанные с оценкой первых лиц, такие как национальный рейтинг глав регионов, рейтинг влияния глав субъектов РФ, репутации губернаторов, рейтинги губернаторов в СМИ по медиаиндексу. Важно подчеркнуть, что именно от качества управленцев зависит как текущий уровень социально-экономического развития регионов, так и использование тех потенциальных возможностей, которыми регион располагает (включая и человеческие ресурсы региона). Возможности построения рейтинга управленческого потенциала регионов ограничиваются сложностью получения репрезентативных данных, основанных на надежных источниках. Сравнение показателей конкретного руководителя или средних значений показателя потенциала по группе руководителей с границами средних значений того или иного управленческого уровня достаточно наглядно отражает выраженность их совокупных личностно-профессиональных ресурсов в контексте управленческой деятельности (рис. 5).

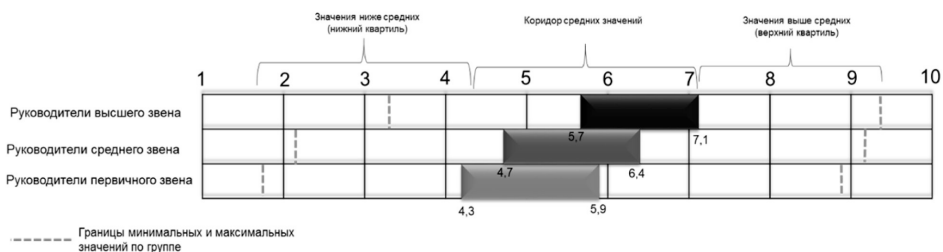


Рис. 5. Границы средних значений потенциала управленческой готовности по результатам методики ОУП для руководителей трех уровней управления: первичное, среднее и высшее звено ($n = 3809$)

Потенциал управленческой готовности» отражает степень выраженности тех или иных личностно-профессиональных характеристик в целом и их соответствие определенному уровню управления [16]. Рейтинг управленческого потенциала субъектов РФ может рассматриваться как действенный инструмент повышения эффективности управления кадровым составом. С учетом доказанной валидности (работоспособности, точности оценки) методологии ФОИР была сформулирована идея построения рейтинга управленческого потенциала субъектов РФ, которая может быть реализована в целях повышения качества формирования федерального резерва управленческих кадров. Отдельные результаты пилотного формирования соответствующего рейтинга в 2022 г. в разрезе уровней резерва представлены в таблице.

Выдержка из рейтингового распределения регионов в разрезе уровней резерва (n = 80)

№	Регион	Рейтинг (по трем уровням резерва)		
		Высший	Базовый	Перспективный
1	Севастополь	6,70	7,10	5,40
2	Кемеровская область – Кузбасс	7,30	6,00	4,80
3	Свердловская область	5,80	7,30	7,60
4	Республика Башкортостан	6,60	7,30	5,40
5	Томская область	6,80	6,50	5,70
6	Ямало-Ненецкий автономный округ	5,30	7,00	
7	Московская область	6,30	6,50	
8	Республика Карелия	6,50	5,30	
9	Республика Ингушетия	5,20	8,00	6,30
10	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	6,70	5,50	

Условные обозначения в таблице:

	– высокий уровень выраженности потенциала управленческой готовности,
	– средний уровень выраженности потенциала управленческой готовности,
	– базовый уровень выраженности потенциала управленческой готовности.

С точки зрения практической значимости полученных результатов необходимо подчеркнуть, что, с одной стороны, разработка рейтинга регионов может быть полезна в качестве стимула для субъектов выдвижения в резерв наиболее достойных и перспективных кандидатов разных уровней управления для получения более высоких значений управленческого потенциала региона в целом. Это позволит сделать резервы действительно работающим кадровым инструментом: привлекать в резерв наиболее талантливые управленческие кадры, стимулировать регионы направлять в резерв лучших, а не использовать их исключительно в пределах своей территории. С другой стороны, данные рейтинга могут быть полезными для представителей региональных кадровых служб с точки зрения возможности получения более развернутой аналитики состояния управленческого потенциала региона в целом, по каждому из уровней резерва, а также по конкретным персоналиям (например, их карьерному потенциалу).

Как справедливо отмечается в исследованиях, онто- и социогенез личностно-профессионального развития представляют собой взаимосвязанные процессы, которые должны быть направлены на раскрытие личностно-профессиональный потенциал субъектов управления в контексте достижения социально значимых результатов управленческой деятельности [17]. В этой связи установление корреляционных связей показателей социально-экономического развития, качества жизни, человеческого капитала и управ-

ленческого потенциала позволяет сформировать «объемную» многомерную информационную базу для управленческого влияния и формирования комплексных решений.

Перспективы развития человеческого капитала государственной гражданской службы: выводы и рекомендации

Сегодня становится все более очевидно, что уровень зрелости кадровой политики в органах власти в отношении «основного персонала» государства – государственных гражданских служащих является достаточно невысоким. Требования к осмысленности и проактивности кадровой политики могут быть выполнены на условиях значительно более системного подхода к формированию кадровых и управленческих резервов, предполагающего их взаимодополнение, а не дублирование. Возможности для создания подобной матричной структуры кадровых резервов, в том числе с использованием существующих информационно-технологических решений, способных воплотить идею общего карьерного пространства, как минимум, в публичной сфере, сегодня становятся крайне актуальными. Реализация таких решений позволит более четко определять предназначение конкретного кадрового резерва и его соотношение с другими резервами в системе государственного и муниципального управления. В работе с резервом фокус внимания смещается в область мотивирующей и развивающей функций, в политической повестке по-прежнему активно обсуждается идея единого кадрового резерва в логике системного подхода к развитию управленческого потенциала и формирования общего карьерного пространства в системе государственного и муниципального управления.

Список источников

1. Беляева Л.А. Нематериальный капитал: к методологии исследования // Социологические исследования. 2014. № 10. С. 36–44.
2. Шаповалова Т.В. Генезис и развитие концепции социального капитала в экономике // АНО ИД «Научное обозрение». 2013. № 1. С. 72–93.
3. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб. : Алетей, 2005.
4. Князев Д.В. Социальный капитал как фактор управления // Социология власти. 2008. № 5. С. 152–157.
5. Кузьменко А.В. Социальный капитал // Челябинский гуманитарий. 2010. № 1 (10). С. 50–57.
6. Беляева Л.А. Социальный капитал: проблемное поле и эмпирическое изучение // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. № 4. С. 154–166.
7. Социальный капитал в России как объект междисциплинарного изучения. URL: <http://sanktpeterburg.bezformat.ru/listnews/sotcialnij-kapital-v-rossii-kak/8155081/>
8. Андреева Т.В. Трансформация социальной идентичности в современных социокультурных условиях // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2010. № 2. С. 174–178
9. Охотский Е.В. Государственная идеология – неперенная составляющая успешной политики и созидającego государственного строительства // Право и управление. XXI век. 2022. Т. 18, № 4. С. 19–33. <https://doi.org/10.24833/2073-8420-2022-4-65-19-33>
10. Синягин Ю.В. Методика оценки управленческого потенциала руководителей // Акмеология. 2007. № 1. С. 60–71.
11. Шебураков И.Б. Кадровый резерв как ресурс решения задач развития и повышения результативности организации // Формирование управленческого резерва кадров: региональный опыт : материалы регион. науч.-практ. конф. (г. Вологда, 29–30 октября 2009 г.). Вологда : Лексия, 2010.

12. Шебураков И.Б. Резервы управленческих кадров в Российской Федерации как инструмент развития кадрового состава сферы государственного управления // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2019.

13. Шебураков И.Б., Татаринова Л.Н. Единый классификатор должностей как ключевой элемент управления системой кадровых резервов // Кадровые резервы в Российской Федерации. 2021. URL: <https://personnelpool.ranepa.ru/43>

14. Иванов В.Г., Иванова М.Г. «Charts power» – страновые рейтинги как экономическое оружие и инструмент мягкой силы. Часть I // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2015. № 2. С. 36–51.

15. Москаленко О.В. Футурологическая имплементация профессионального самосознания в карьерном развитии высококвалифицированных специалистов // Акмеология. 2017. № 2 (62). С. 54–61.

16. Mouratidou M., Grabarski M.K., Donald W.E. Intelligent careers and human resource management practices: qualitative insights from the public sector in a clientelistic culture // Journal of Work-Applied Management. November, 2023.

17. Srimulyani V.A. Talent Management dan Konsekuensinya terhadap Employee Engagement dan Employee Retention // INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia. 2020. Vol. 3 (4). P. 538–552.

References

1. Belyaeva, L.A. (2014) Nematerial'nyy kapital: k metodologii issledovaniya [Intangible capital: Towards a research methodology]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*. 10. pp. 36–44.

2. Shapovalova, T.V. (2013) Genezis i razvitie kontseptsii sotsial'nogo kapitala v ekonomike [The genesis and development of the concept of social capital in the economy]. *Nauchnoe obozrenie*. 1. pp. 72–93

3. Bourdieu, P. (2005) *Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki* [Social Space: Fields and Practices]. Translated from French. St. Petersburg: Aleteyya.

4. Knyazev, D.V. (2008) Sotsial'nyy kapital kak faktor upravleniya [Social capital as a management factor]. *Sotsiologiya vlasti*. 5. pp. 152–157.

5. Kuz'menko, A.V. (2010) Sotsial'nyy kapital [Social capital]. *Chelyabinskiy gumanitarniy*. 1(10). pp. 50–57

6. Belyaeva, L.A. (2019) Sotsial'nyy kapital: problemnoe pole i empiricheskoe izuchenie [Social capital: The problematic field and empirical study]. *Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz*. 4. pp. 154–166

7. Semme, T. (2013) *Sotsial'nyy kapital v Rossii kak ob'ekt mezhdistsiplinarnogo izucheniya* [Social capital in Russia as an object of interdisciplinary study]. [Online] Available from: <http://sanktpeterburg.bezformat.ru/listnews/sotsialnij-kapital-v-rossii-kak/8155081/>

8. Andreeva, T.V. (2010) Transformatsiya sotsial'noy identichnosti v sovremennykh sotsiokul'tur-nykh usloviyakh [Transformation of social identity in modern socio-cultural conditions]. *Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A.P. Chekhova*. 2. pp. 174–178

9. Okhotskiy, E.V. (2022) Gosudarstvennaya ideologiya – nepremennaya sostavlyayushchaya uspeshnoy politiki i sozidayushchego gosudarstvennogo stroitel'stva [State ideology is an indispensable component of successful policy and creative state building]. *Pravo i upravlenie. XXI vek*. 18(4). pp. 19–33. DOI: 10.24833/2073-8420-2022-4-65-19-33

10. Sinyagin, Yu.V. (2007) Metodika otsenki upravlencheskogo potentsiala rukovoditeley [Methodology for assessing the managerial potential of executives]. *Akmeologiya*. 1. pp. 60–71

11. Sheburakov, I.B. (2009) Kadrovyy rezerv, kak resurs resheniya zadach razvitiya i povysheniya rezul'tativnosti organizatsii [The personnel reserve as a resource for solving problems of development and improving the effectiveness of an organization]. *Formirovanie upravlencheskogo rezerva kadrov: regional'nyy opyt* [The formation of a management personnel reserve: Regional experience]. Proc. of the Conference. Vologda, October 29–30, 2009. Vologda: Legiya.

12. Sheburakov, I.B. (2019) Rezervy upravlencheskikh kadrov v Rossiyskoy Federatsii kak instrument razvitiya kadrovogo sostava sfery gosudarstvennogo upravleniya [Management personnel reserves in the Russian Federation as a tool for developing the personnel structure of the public administration sphere]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie*. 6(2). pp. 148–157.

13. Sheburakov, I.B. & Tatarinova, L.N. (2021) *Edinyy klassifikator dolzhnostey kak klyuchevoy element upravleniya sistemoy kadrovyykh rezervov* [Unified Classifier of Positions as a Key Element of Managing the Personnel Reserve System]. [Online] Available from: <https://personnelpool.ranepa.ru/43>

14. Ivanov, V.G. & Ivanova, M.G. (2015) "Charts power" – stranovye reytingi kak ekonomicheskoe oruzhie i instrument myagkoy sily. Chast 1 ["Charts Power" – Country Ratings as an Economic Weapon and an Instrument of Soft Power. Part I]. *Vestnik RUDN. Seriya: Politologiya*. 2. pp. 36–51.

15. Moskalenko, O.V. (2017) Futurologicheskaya implementatsiya professional'nogo samosoznaniya v kar'ernom razvitii vysokokvalifitsirovannykh spetsialistov [Futurological Implementation of Professional Self-Awareness in the Career Development of Highly Qualified Specialists]. *Akmeologiya*. 2(62). pp. 54–61.

16. Mouratidou, M., Grabarski, M.K. & Donald, W.E. (2023) Intelligent careers and human resource management practices: qualitative insights from the public sector in a clientelistic culture. *Journal of Work-Applied Management*. 16(1). pp. 97–111. DOI: 10.1108/JWAM-08-2023-0082

17. Srimulyani, V.A. (2020) Talent Management dan Konsekuensinya terhadap Employee Engagement dan Employee Retention. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*. 3(4). pp. 538–552.

Сведения об авторах:

Шебураков И.Б. – кандидат психологических наук, декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления Президентской академии (Москва, Россия). E-mail: sheburakov-ib@ranepa.ru

Татаринова Л.Н. – кандидат социологических наук, доцент кафедры психологии личности в системах управления Высшей школы государственного управления Президентской академии, (Москва, Россия). E-mail: tatarinova-ln@ranepa.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Sheburakov I.B. – Cand. Sci. (Psychology), dean of the Faculty of Assessment and Development of Managerial Personnel at the Higher School of Public Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) (Moscow, Russian Federation). E-mail: sheburakov-ib@ranepa.ru,

Tatarinova L.N. – Cand. Sci. (Sociology), associate professor of the Department of Personality Psychology in Management Systems of the Higher School of Public Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) (Moscow, Russian Federation). E-mail: tatarinova-ln@ranepa.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 28.11.2023;
одобрена после рецензирования 22.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*

*The article was submitted 28.11.2023;
approved after reviewing 22.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

ПОЛИТОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 321
doi: 10.17223/1998863X/80/19

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЭНДИНГ: К МОДЕРНИЗАЦИИ КОНЦЕПТА, ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ПОЛИТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ

Сергей Владимирович Бирюков¹, Сергей Николаевич Чирун²,
Владимир Сергеевич Томко³

¹ Центр российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета,
Шанхай, Китай, birs.07@mail.ru

² Кемеровский государственный университет, Кемерово, Российская Федерация,
Sergii-Tsch@mail.ru

³ Сибирский институт управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, Новосибирск, Россия,
tomko@m-f.ru

Аннотация. Статья посвящена современным подходам к исследованию регионально-политического брендинга, в том числе анализу технологического сопровождения политического брендинга, а также процессуальным возможностям и ограничениям его реализации. Цель исследования – уточнить современный смысл понятия «региональный брендинг», охарактеризовать его политико-технологическую основу и значение как инструмента продвижения региональных интересов в современных условиях. Авторами сделан вывод о том, что в настоящий момент происходит активное обновление основных подходов и концепций регионального политического брендинга. При этом региональные бренды сохраняют свою актуальность.

Ключевые слова: региональный политический брендинг, технологии брендинга, имидж региона, сети, симуляция, региональная политика, политические процессы

Для цитирования: Бирюков С.В., Чирун С.Н., Томко В.С. Региональный брендинг: к модернизации концепта, его методологических и политико-технологических оснований // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 205–218. doi: 10.17223/1998863X/80/19

POLITICAL SCIENCE

Original article

REGIONAL BRANDING: ON THE MODERNIZATION OF THE CONCEPT, ITS METHODOLOGICAL AND POLITICO-TECHNOLOGICAL BASES

Sergei V. Biryukov¹, Sergey N. Chirun², Vladimir S. Tomko³

¹ East China Normal University, Shanghai, People's Republic of China, birs.07@mail.ru

² Kemerovo State University, Voronezh, Russian Federation, Sergii-Tsch@mail.ru

³ Siberian Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, tomko@m-f.ru

Abstract. The article considers modern approaches to the study of regional political branding, including the analysis of the technological support of political branding, as well as the procedural possibilities and limitations of its implementation. The technologization of regional political branding is of particular relevance in the postmodern situation, the indicators of which are the states of heterarchy, performativity, contextuality, discreteness and simulation. The communication strategy aims to support the innovation policy and its representation in relation to the target groups. According to the authors of the article, today, regional political branding is increasingly becoming the object of interdisciplinary research. In particular, it is actively considered from the standpoint of synergetics (the general theory of self-organization). Regional political branding in Russia should be of an applied nature and help the region integrate into the communication space with the help of professional PR, GR tools and modern political technologies, since the successful positioning of the region in the media space depends on this. The authors conclude that at the moment there is an active update of the main campaigns and concepts of regional political branding. Based on all of the above, regional branding can be generally defined as a strategy for transforming public space with the aim of subsequently transforming the socio-economic and political space. Based on scientific methodology and the use of the latest political technologies, regional authorities gain the opportunity to promote the development of territories through the possibilities of regional branding, to bring regions to a new level of economic and socio-political development; this also may be a determinant of the growth of the political influence of the Russian Federation in domestic and foreign policy.

Keywords: regional political branding, branding technologies, region image, networks, simulation, regional policy, political processes

For citation: Biryukov, S.V., Chirun, S.N. & Tomko, V.S. (2024) Regional branding: on the modernization of the concept, its methodological and politico-technological bases. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 205–218. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/19

Введение

Региональный брэндинг представляет собой особую форму артефакта – своего рода культурно-информационный продукт, относящийся к пространству символической политики, будучи своего рода производной от символического капитала, сформированного в рамках публичного пространства определенного региона. Интерпретация природы этого артефакта является

различной – от понимания его как конструируемого симулякра до понимания его как выражения устойчивых ценностных, культурных и идентификационных предпочтений населения целых территорий [1]. Авторы статьи занимают промежуточную позицию, выделяя в структуре регионального брэнда как устойчивые инвариантные, так и вариативные элементы, что не позволяет считать его ни «чистым конструктом», ни неизменной величиной; региональный брэнд воспроизводится, подвергается трансформациям, изменяет свое внутреннее смысловое содержание и средства его выражения.

Авторы статьи понимают под концептом инновационную идею, содержащую в себе созидательный смысл. Продукт, демонстрирующий данную идею, это концепт-продукт, представляющий собою своего рода уникальную модель, предназначенную для демонстрации общественности. Региональный брэнд, таким образом, может пониматься как концепт-продукт, созданный с помощью информационно-политических технологий, но только в вариативной его части, помимо которой региональный брэнд непременно содержит в себе инвариантную составляющую.

Региональный брэнд с точки зрения своего содержания представляет собой совокупный образ региона, который отражает его географическую, культурную, историческую, экономическую и социально-политическую специфику, будучи закрепленным в сознании жителей региона, он является продуктом «культурного производства» и даже способен успешно экстраполироваться (экспортироваться) за пределы региона. С технологической точки зрения региональный брэндинг – это прежде всего совокупность стратегий и технологий, обеспечивающих формирование (акцентирование) тех или иных элементов регионального брэнда, закрепление связанных с ним символов и смыслов в массовом сознании и продвижение последних в публичном пространстве.

Собственно же политическое измерение регионального брэндинга предполагает использование его как инструмента защиты региональной идентичности и интересов [2]. Политический брэндинг, таким образом, связан прежде всего с лоббированием полезных региону политических решений на федеральном уровне власти.

В данном аспекте региональный брэнд представляет собой наиболее яркую и заметную составляющую регионального имиджа [3. С. 75]. Регионализм как концепция, равно как и составляющие, рассматривался в качестве перспективного политического инструмента еще в начале XX в. [4]; политизация регионального брэндинга сегодня, на взгляд авторов, заметно расширяет эту перспективу.

Региональный брэндинг необходим для формирования конкурентной региональной идентичности как современного конкурентоспособного регионального проекта, для актуализации брэнда конкретного региона среди прочих региональных брэндов. В современных условиях наблюдается повышение значения средств массовой информации и коммуникации, а также их влияния на политические процессы на региональном уровне [5. С. 23].

Авторы статьи исходят из того, что региональный брэндинг соединяет в себе как вариативные (изменчивые) характеристики, которые могут быть продуктом символического конструирования, так и инвариантные характеристики (основополагающие образы, ценности и убеждения, культурные пред-

ставления, длительно сохраняющиеся в сознании жителей определенного региона), на которые можно опереться при создании (воссоздании) определенного регионального брэнда.

Проблематика регионального позиционирования обычно рассматривается в аспекте информационно-коммуникативного ракурса, что обеспечивает формирование условий регионального позиционного роста в информационном поле с помощью управления информационными потоками [6. С. 37].

Основа регионального брэндинга заключается в моделировании и актуализации привлекательных образов региональной идентичности, что в рамках политической науки связывается не с созданием дополнительных конкурентных преимуществ для региональной экономики из бизнеса, но с повышением политического статуса и политических возможностей конкретных территорий [7. С. 25]. Анализ региональных идентичностей является необходимым условием реализации процессов брэндирования [8. С. 144].

Региональный брэндинг является моделью наглядной визуализации стратегии позиционирования региона, он находится между внешним и внутренним восприятием региональных процессов. Региональный брэнд невозможно свести к названию и даже к искусственному ассоциативному ряду, поскольку он не может являться искусственным изобретением, привнесенным извне [9]. Региональный брэнд в идеале должен отражать представления региональных сообществ о собственной идентичности и уникальных характеристиках региона – но именно в идеале, поскольку на практике региональные брэнды часто изначально ориентированы на узкие социальные группы, что может приводить к иррелевантности брэнда, а значит, и его вероятному отторжению массовым сознанием.

Результаты исследования

Актуализация запросов на ребрэндинг территорий связана не только с внутренними процессами регионального развития, а процессами глобализации и разделения территорий на глобальное ядро и периферию.

Региональный брэндинг, с одной стороны, обусловлен потребностью в привлечении федеральных ресурсов, с другой – связан с актуализацией внутренних запросов на формирование или модификацию региональных идентичностей, обеспечивающих необходимую внутреннюю динамику и мотивирующих региональную власть к активизации взаимодействия с региональными группами интересов [10. С. 10].

Региональный брэндинг напрямую связан с имиджем региона как его стереотипизированным образом, получившим отражение в особенностях массового сознания [11]. В региональном имидже интегрированы коллективные представления населения региона по поводу его политики, экономики, истории и культуры, причем эти представления не всегда имеют объективный характер, а часто являются комбинацией фактов политической реальности с мифами, фейками, домыслами и прочими элементами постправды [12]. Поэтому региональный имидж отличает многослойная структура, когда восприятие одного и того же региона, но различными группами и стратами, существенно различается между собой, однако эти различия можно до определенной степени нивелировать, в том числе используя механизмы управления региональным брэндингом [13. С. 188].

На процесс формирования регионального брэнда оказывают влияние следующие факторы:

1. Базовые условия региона, которые фактически не поддаются коррекции. Это, в первую очередь, география и климат.

2. Социально-экономические условия и факторы привлекательности региона для жизни людей (показатели социально-экономического развития, показатели качества жизни населения).

3. Традиции и особенности региональной культуры. Эта группа факторов представляет огромный потенциал для формирования, становления и возможных коррекций регионального брэнда.

Экспертами [3, 6, 7] используются определенные параметры имиджевой привлекательности региона: 1) имиджевые традиции региона; 2) индекс цитируемости региона в СМИ; 3) показатели инвестиционной привлекательности территории; 4) история региона; 5) упоминание региональной элиты в информационном поле; 6) региональные процессы в оценках лидеров общественного мнения; 7) международный имидж и международные связи региона (города-побратимы, совместные экономические проекты); 8) межрегиональные экономические и культурные связи.

Среди важнейших культурных аспектов назовем формирование целостного культурного образа региона, а также публичную презентацию регионального брэнда с целью формирования благоприятного впечатления о регионе.

Ключевым фактором при проектировании регионального имиджа все чаще становятся общие ценности, чувства, идеи: граждане желают наглядно ощущать свою принадлежность к некой социальной (территориальной) общности, ощущать объединительную силу взаимодействия. Например, Томск – студенческая столица России [14]. Москва – город бизнес-перспектив, социальной мобильности, высокого качества и уровня жизни. Подобные брэнды привлекает пассионарных личностей со всего мира, для которых интересны новые креативные идеи и технологии.

Таким образом, весьма эффективным может быть имиджевый сценарий, направленный на формирование представления об областном центре как региональной столице, за счет чего происходит оптимизация процессов, связанных с долгосрочным притоком капиталов на территорию региона [15].

Отметим, что хотя специфика современной массовой коммуникации ставит под сомнение устойчивые коллективные идентичности, будучи направленной на малые самоорганизующиеся группы и отдельных личностей, однако региональные брэнды сохраняют свою актуальность в текущей ситуации. С одной стороны, делокализация современного мира, ситуация «текучего модерна» постепенно размывают и региональные идентичности. С другой стороны, нарастающие кризисные явления, проявляющиеся в деглобализации и возникновении все новых региональных конфликтов, особым образом способствуют усилению региональных идентичностей, а также «спроса» на них. Это создает предпосылки для возрождения прежних и формирования новых региональных идентичностей, а также появления новых возможностей для образно-символического и политико-технологического творчества. В этом видится не только следование бизнес-конъюнктуре, но и ответ на «обезличивание» (унификацию) мира, на реальное или кажущееся ущемление региональных интересов субъектами мировой политики и экономики.

Современный миропорядок характеризуется трендами глобальной трансформации, но изменения не означают исчезновение порядка как такового, его глубокие качественные изменения касаются пространственного аспекта [16].

Первый такой тренд может быть обозначен как «детерриториализация» – речь идет о попытках преодолеть влияние территориально-географической детерминации.

Второй тренд связан с замещением стабильного «территориального пространства» неустойчивыми «пространствами потоков».

Третий тренд – формирование новых форм и моделей территориально-пространственной организации.

Четвертый тренд – ускорение циркуляции в рамках глобального пространства финансовых, интеллектуальных, культурно-символических, кадровых и товарных потоков.

Пятый тренд – возрастание проницаемости и релятивизация института государственных границ.

Шестой тренд – расширение существующих и формирование новых «уровней идентичности».

Седьмой тренд – глокализация национальных идентичностей.

Восьмой тренд – формирование сетевой, децентрализованной модели управления.

Девятый тренд – становление новых региональных структур, их интеграция в глобальные процессы.

Десятый тренд – усложнение систем организации управления на основе актуальных запросов на координацию и представительство.

В то же время пандемия COVID-19 радикально изменила глобальную повестку, одновременно содействуя фрагментации и консолидации того, что принято называть «глобальным публичным пространством». Ключевым проявлением новой ситуации, по мнению автора, стало утверждение особой дисциплинарной власти, в свое время идентифицированной и описанной М. Фуко, возможности которой выходят далеко за рамки принимаемых в связи с пандемией карантинных мер.

Российские регионы участвуют в глобализационных процессах, хотя в своей основной массе пока не стали полноценными субъектами глобальной коммуникации. Их своеобразное промежуточное положение, необходимость выстраивания отношений с усиливающейся центральной государственной властью, необходимость привлечения дополнительных ресурсов для развития и роста, присутствие и столкновение в рамках регионального пространства глобальных, общенациональных, региональных и локальных интересов, на наш взгляд, делают востребованными региональные брэнды, а изучение последних в рамках политической науки – безусловно актуальным.

Как полагают авторы статьи, изучение данного феномена только начинается и требует качественно новой и более комплексной методологии. Авторами сделан вывод о том, что в настоящий момент происходит трансформация понятия «порядка» в контексте трансформаций (нео)либерального дискурса.

Как вписывается в происходящие изменения региональный брэндинг? По мнению авторов, сегодня необходима реконструкция функций и целей регионального политического брэндинга в современной политической ситуации. Так,

процессы технологизации формирования региональных брэндов расширяют сферу применимости, а также трансформируют природу и задачи политического брэндинга, что находит следующее проявление [17]:

- в качестве новых элементов системы политического менеджмента, с акцентом на возрастание в бизнес-стратегиях регионального брэндинга значения роли регионального лоббизма;
- формирование регионального брэнда становится набором технологий политического менеджмента;
- оптимизация системы избирательных технологий на пути повышения их гибкости и адаптивности к особенностям поведения и мышления регионального электората;
- в стратегировании (В.Л. Квинт) позиций на политических рынках с целью оптимизации продвижения интересов региональных элит.

Поэтому политический брэндинг должен рассматриваться многоаспектно, начиная с философско-методологических его оснований, затем с точки зрения стратегии оптимизации политико-управленческих процессов и наконец с точки зрения тактических аспектов реализации PR и GR и лоббистских кампаний [18. С. 70].

Современная ситуация в глобальном развитии изменяет понимание природы и характера брэндинговых стратегий. Современные технологические достижения значительно ускоряют процесс глобальной международной сетевой интеграции, в которой активизируется продвижение новых политических идей и образов.

Современные исследователи пытаются адаптировать понимание природы брэндинга к изменившейся мировой ситуации. Отметим наличие связи между технологиями брэндинга и решением прикладных задач публичной региональной политики. Развивая брэнд региона, попутно решаются и проблемы привлечения в регион дополнительных ресурсов. В этом смысле региональная политика представляет собой пространство соревнования региональных брэндов как конкуренции идентичностей. Цель управления конкуренции идентичностей может заключаться в стимулировании инноваций, отбор которых может являться важным элементом стратегии оптимизации имиджа территорий как на уровне национальных государств, так и на международных аренах [19].

Поскольку в процессе формирования и продвижения брэнда необходимо опираться на технологии и ресурсы публичной политики, то и эффективный брэнд, в свою очередь, будет способствовать привлечению в регион новых ресурсов регионального развития [20]. Для достижения указанных эффектов требуется синтез брэнд-менеджмента с публичной дипломатией, сопровождаемой активным развитием территорий [21. С. 75].

Свой вклад в уточнение смысла понятия «региональный политический брэндинг» внесли российские политологи – отдельного внимания заслуживает концепция символического конструирования А.И. Щербинина и Н.Г. Щербининой, в которой «архетипическая схема мономифа как рамка интерпретации придает политическим феноменам значимость» [12], а феномен смысла приобретает сущностное значение в аспекте символической референции. В указанной концепции опора на конструктивистскую методологию позволи-

ла выстроить категориальный аппарат и представить важнейшие аспекты конституирования регионального брэнда [15].

Стратегирование процессов создания регионального брэнда предполагает оптимизацию коммуникационных сетей. Н.Г. Щербинина обращает внимание на то, что политический брэндинг представляет собой «политическое конструирование марки, комплекса символических значений, в свою очередь управляющего однонаправленной осмысленной политической коммуникацией» [20]. Все регионы заинтересованы в оптимизации собственного политического позиционирования. Целью эффективного регионального брэндинга является популяризация региона через отражение в массовом сознании его локальных эксклюзивных преимуществ, что приводит к возрастанию объема региональных ресурсов (символического капитала).

В связи с тем, что в ситуации актуализации геополитических рисков национальная безопасность как ценность обретает приоритетное значение, особенно во взаимосвязи с категорией обороноспособности страны, их совокупные показатели могут быть предложены в качестве основы идентификации отечественного брэнда [21].

Следует упомянуть и о концепте символической политики, где огромную роль играют средства массовой информации, которые «визуализируют пространство социально разделяемых смыслов» [22].

Исходя из всего сказанного выше, обобщенно мы можем определить региональный брэндинг как стратегию преобразования публичного пространства с целью последующего преобразования социально-экономического и политического пространства, что предполагает использование следующих стратегий:

- Стратегия «захвата» общественного мнения.
- Стратегия интеграции общества на основе общих ценностей и символов.
- Стратегия продвижения политических образов и символов.
- Стратегия «подкупа» (своеобразного «торга» с потребителями символических образов) и др.

Реализации этих стратегий способствуют следующие технологии [10]:

Технология медийного перехвата – продвижение собственной повестки, используя информационные ресурсы оппонентов, через трансформацию или подмену чужой повестки и захват новых целевых аудиторий.

- Технологии имитации массовой общественной поддержки.
- Технологии, предполагающие проведение массовых акций, с целью воздействия на институты государственной власти и осуществляемую ими политику.

• Технологии «краудсорсинга», имеющие различные модификации и в своем базовом стандарте предполагающие использование потенциала слабо интегрированных активистских структур, а также субъектов гражданского общества.

• Технология «спирали молчания», связанная с имитацией видимости общественной поддержки политических решений или институтов, следствием ее применения является нагнетание атмосферы страха и неопределенности. Граждане боятся высказываться против, но это интерпретируется как позиция «За» и хотя ленивая, но устойчивая поддержка власти.

• Технология, якобы, утечки важной инсайдерской информации, может применяться для различных целей. Например, для предупреждения образования, выявления и коррекции тактически важных информационных трасс или для зондирования общественной реакции на готовящиеся политические решения или правовые новеллы.

• Технологии семантической манипуляции, основанные на применении в речевой манипуляции семантических и стилистических особенностей лексических единиц.

• Технологии «научности» используются в публичной политике для внушения избранной целевой аудитории заранее подготовленных так называемых «экспертных мнений». Для этого, в частности, могут использоваться следующие вербальные штампы: сложился научный консенсус; давно доказано, что; американские ученые доказали; по мнению ведущих международных экспертов; эксперты пришли к выводу; данные социологических опросов свидетельствуют и т.д. – все это моделирует необходимое заказчикам отношение общества к определенным аспектам политической реальности.

Обобщенно в нашем исследовании мы опираемся на ряд современных подходов к определению политического брэндинга [7, 14, 19], понимая его как:

1) совокупность технологий, призванных содействовать продвижению в публичном пространстве имиджа и интересы регионов;

2) особую стратегию поведения субъектов на политическом рынке;

3) специфический инструмент политического лоббирования интересов регионов;

4) инструмент мобилизации политических пристрастий жителей регионов в пользу региональной власти и ее политики.

Политический брэндинг в условиях социальных трансформаций испытывает на себе проблемы поиска новой методологии [23]. В данной ситуации функции (функционал) политического брэндинга включают в себя:

1) мобилизацию политических пристрастий жителей региона в пользу региональной власти и ее политики;

2) формирование и воспроизводство региональных идентичностей;

3) интеграцию жителей региона вокруг объединяющих символов [24];

4) повышение самооценки и социального самочувствия жителей региона;

5) формирование привлекательного образа будущего региона в сознании его жителей;

6) повышение лоббистских возможностей региона во взаимодействии с органами центральной власти;

7) повышение уровня символического капитала региональной власти.

В России процесс становления регионального политического брэндинга прошел три основные стадии:

1. Процесс экспансии региональных брэндов (имиджей, смыслов и т.п.) – 1990-е – начало 2000-х.

2. Процесс экспансии общегосударственных смыслов и образов, включая брэнд (с начала 2000-х – до начала 2020-х гг.).

3. Процесс конвергенции общегосударственных и региональных брэндов (имиджей, смыслов и т.п.), гармонизация их взаимоотношений – с начала 2000-х.

Продвижение региональных политических брэндов способствует структурированию публичного пространства, не допуская ни его фрагментации, ни заполнения его постепенно создаваемыми симулякрами.

Выводы

Объективно существующая востребованность регионального брэндинга как особой формы публичного самопозиционирования региона в современных условиях требует, на наш взгляд, соблюдения следующих условий с целью обеспечения его эффективности:

1. Соответствие конструируемых брэндов особенностям культуры и менталитета определенного региона.
2. Акцент не на концентрированные, а на точечные воздействия.
3. Рассмотрение регионального брэнда как особой формы символического капитала, который является результатом аккумуляции различных капиталов (капиталы – политический, экономический, социальный).
4. Более активное использование технологий «мягкой силы».
5. Поддержание определенного баланса между информационно-технологической (социоинженерной) и естественной частями брэнда.

По мнению авторов, в качестве важнейших показателей, определяющих эффективность регионального политического брэндинга, следует выделить:

1. Своевременность и планомерность применения брэндинговых стратегий.
2. Комплексность и системность воздействий на общественное мнение при реализации брэндинговых стратегий.
3. Адекватность применяемых брэндинговых стратегий состоянию социокультурной динамики определенных регионов.
4. Эффективность политико-технологического воздействия, его таргетированность на важнейших проблемах и вызовах в жизни конкретных регионов [25].
5. Непротиворечивость, внутреннюю согласованность брэндинговых конструкторов (и связанных с ними дискурсов).

Представления о возможностях информационных технологий сегодня подвергаются глубокой ревизии, это обусловлено тем вниманием, которое исследователи обращают не только на проблематику информационного внушения (суггестии), но и на тренды и аспекты восприятия, направленные против внушения (контрсуггестии). Речь идет о потенциале не только наиболее сильных личностей, но и больших социальных групп защититься от внешнего информационного воздействия [26. Р. 11].

В частности, это касается феномена так называемого «воинственного нейтралитета», развитие которого у индивидов и социальных групп обусловлено информационным соперничеством различных СМК, что проявляется у объекта информационного воздействия в прогрессирующем отторжении (сомнении, недоверии, скептицизме) по отношению к любым информационным воздействиям [27].

Иными словами, чем активнее проявляются информационные воздействия конкурирующих акторов, тем быстрее возрастает контрсуггестия со стороны населения как объекта информационного воздействия. Это потенциально может приводить к ситуации, когда эффект от информационного воздействия настолько трансформируется, что достигает цели, прямо противо-

положной своему изначальному назначению. Поэтому каждое информационное воздействие имеет свои пределы, за которыми происходит «разрыв», после чего воздействие как элемент информационной системы превращается в свою противоположность и начинает работать уже на разрушение самой системы. Здесь уместно органистское сравнение глобальной информационной среды и центральной нервной системы живого организма. Поэтому нужно крайне ответственно относиться к процессу отбора технологий регионального брендинга и ребрендинга, и привлекать для их реализации только высококвалифицированных специалистов – политологов.

Традиционные СМИ и новые СМК представляют собой не только площадку для регионального политико-управленческого дискурса, но и превращаются в инструмент агрегирования групп интересов региональной элиты, а также в инструмент общественной мобилизации.

При этом нужно ясно понимать, что технологии территориального брендинга сами по себе не являются самоцелью. Брендинг – это не более чем эффективный инструмент, технология, призванная обеспечить формирование устойчивой территориальной идентичности и уже как следствие – обеспечение позитивной динамики региональных сфер производства и услуг и повышение уровня жизни населения региона. В итоге это должно привести к оптимизации взаимопонимания и взаимодействия в рамках единого информационно-географического пространства между населением и региональной властью.

При опоре на научную методологию на основе использования новейших политических технологий региональные власти могут не только способствовать развитию территорий посредством возможностей регионального брендинга, вывести регионы на новый уровень экономического и социально-политического развития, но также это может явиться детерминантой роста политического влияния Российской Федерации во внутренней и внешней политике.

Список источников

1. *Pugalis L., Gray N.* (2016). New regional development paradigms: an exposition of place-based modalities // *Australasian Journal of Regional Studies*. Vol. 22, № 1. P. 181–203.
2. *Федюнина С.М., Паничкина Г.Г.* Стратегия брендинга в политике региона (на примере Саратовской области) // *Вестник Поволжского института управления*. 2017. Т. 17, № 1. С. 91–97.
3. *Плотникова М.М.* Территориальный брендинг как коммуникация между властью и горожанами // *Власть*. 2015. Т. 21, № 11. С. 75–78.
4. *Charles-Brun J.* Le Regionalisme. Paris : C.T.H.S., 2004 (reprint 1911). P. 61–65.
5. *Бирюков С.В.* Образ современной России: западные стереотипы и российские реальности // *Перспективы*. Электронный журнал. 2015. № 3. С. 19–33.
6. *Василенко И.А.* Особенности информационного сопровождения территориального брендинга: модели и технологии // *Власть*. 2018. Т. 26, № 1. С. 36–40.
7. *Володенков С.В.* Политическое брендингирование в современной России // *Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки*. 2010. № 6. С. 23–30.
8. *Цепелев А.Ю.* Социально-территориальная идентификация и брендинг региона // *Власть*. 2015. Т. 21, № 6. С. 143–146.
9. *Ильин А. Н.* Способность консьюмеризма абсорбировать антиконсьюмеристский идеологический контент // *Полис. Политические исследования*. 2017. № 3. С. 92–104. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.06>
10. *Чирун С.Н., Николаев А.В., Зайцева В.А.* Политические технологии в сетевой реальности постмодерна // *Власть*. 2018. № 3 (26). С. 7–13.

11. Каз М.С. Опыт формирования территориального бренда и границы метода // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2022. № 57. С. 211–228. doi: 10.17223/19988648/57/15
12. Щербинина Н.Г. Символическое конструирование мифо-героической политической реальности России // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2008. № 2. С. 18–37. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000566884>
13. Пушкарёва Г.В. Символическое пространство государственного управления // Политическая наука. 2020. № 2. С. 183–203. <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.02.09>
14. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Современные тенденции модификации бренда университетского города // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 184–193. doi: 10.17223/1998863X/62/16
15. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г., Севостьянов А.В. Конструирование города-бренда. М.: Аспект Пресс, 2018. 240 с.
16. Виноградова Н.С. Влияние новых форм политической коммуникации на формирование образа страны // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 469. С. 85–90. doi: 10.17223/15617793/469/11
17. Busby R., Cronshaw S. Political branding: the Tea party and its use of participation branding // Journal of Political Marketing. 2015. Vol. 14, № 1-2. P. 96–110. <https://doi.org/10.1080/15377857.2014.990850>
18. Василенко И.А. Возможности инновационных технологий территориального брендинга для формирования современного имиджа российских регионов // Власть. 2016. Т. 24, № 1. С. 68–73.
19. Данилова Е. А. Инновационный дискурс российского национального брендинга: к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 3 (35). С. 154–162. doi: 10.17223/1998863X/35/15
20. Щербинина Н.Г. Конструирование виртуальной реальности и героический брендинг политического товара // Политический маркетинг. 2009. № 2. С. 34–57.
21. Данилова Е.А. Актуализация политической ценности «национальная безопасность» как фактор формирования идентичности национального бренда // Власть. 2016. Т. 24, № 1. С. 73–78.
22. Валиков Е.Л., Малинова О.Ю. Символическая политика и историческая память // Философские науки. 2015. № 12. С. 130–133.
23. Пушкарёва Г.В. Политический брендинг: разворот к символической политике // Полис. Политические исследования. 2022. № 4. С. 94–107. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.04.08>
24. Малинова О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа // Полития. 2017. № 4. С. 6–22.
25. Старченко А.Е., Семин М.В. Жизнь напоказ: почему сегодня важно выставлять свои действия в социальной сети // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2020. Т. 26, № 4. С. 247–259. <https://doi.org/10.24290/1029-3736-2020-26-4-247-259>
26. Pich Ch., Newman B. Evolution of political branding: typologies, diverse settings and future research // Journal of Political Marketing. 2020. Vol. 19, № 1-2. P. 3–14. <https://doi.org/10.1080/15377857.2019.1680932>
27. Farhan A., Ahmad A. A review of political branding research // Global Journal of Business and Social Science Review. 2016. Vol. 4, № 2. P. 22–29. [https://doi.org/10.35609/gjbssr.2016.4.2\(4\)](https://doi.org/10.35609/gjbssr.2016.4.2(4))

References

1. Pugalis, L. & Gray, N. (2016). New regional development paradigms: an exposition of place-based modalities. *Australasian Journal of Regional Studies*. 22(1). pp. 181–203.
2. Fedyunina, S.M. & Panichkina, G.G. (2017) Strategiya brendinga v politike regiona (na primere Saratovskoy oblasti) [Branding strategy in regional policy (a case study of the Saratov Region)]. *Vestnik Povolzhskogo institutata upravleniya*. 17(1). pp. 91–97.
3. Plotnikova, M.M. (2015) Territorial'nyy brending kak kommunikatsiya mezhdu vlast'yu i gorozhanami [Territorial branding as communication between the authorities and citizens]. *Vlast'*. 21(11). pp. 75–78.
4. Charles-Brun, J. (2004) *Le Regionalisme*. Paris: C.T.H.S. pp. 61–65.
5. Biryukov, S.V. (2015) Obraz sovremennoy Rossii: zapadnye stereotipy i rossiyskie real'nosti [The image of modern Russia: Western stereotypes and Russian realities]. *Perspektivy. Elektronnyy zhurnal*. 3. pp. 19–33.

6. Vasilenko, I.A. (2018) Osobennosti informatsionnogo soprovozhdeniya territorial'nogo brendinga: modeli i tekhnologii [Features of information support for territorial branding: Models and technologies]. *Vlast'*. 26(1). pp. 36–40.
7. Volodenkov, S.V. (2010) Politicheskoe brendirovanie v sovremennoy Rossii [Political branding in modern Russia]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki*. 6. pp. 23–30.
8. Tsepelev, A.Yu. (2015) Sotsial'no-territorial'naya identifikatsiya i brending regiona [Social and territorial identification and branding of a region]. *Vlast'*. 21(6). pp. 143–146.
9. Ilin, A.N. (2017) Sposobnost' kons'yumerizma absorbirovat' antikons'yumeristskiy ideologicheskii kontent [The Ability of Consumerism to Absorb Anti-Consumerist Ideological Content]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 92–104. DOI: 10.17976/jpps/2017.03.06
10. Chirun, S.N., Nikolaev, A.V. & Zaytseva, V.A. (2018) Politicheskie tekhnologii v setevoy real'nosti postmoderna [Political Technologies in the Network Reality of Postmodernism]. *Vlast'*. 3(26). pp. 7–13.
11. Kaz, M.S. (2022) Opyt formirovaniya territorial'nogo brenda i granitsy metoda [Forming a Territorial Brand and the Boundaries of the Method]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika*. 57. pp. 211–228. DOI: 10.17223/19988648/57/15
12. Shcherbinina, N.G. (2008) Simvolicheskoe konstruirovaniye mifo-geroicheskoy politicheskoy real'nosti Rossii [A symbolic construction of the mytho-heroic political reality of Russia]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 2. pp. 18–37.
13. Pushkareva, G.V. (2020) Simvolicheskoe prostranstvo gosudarstvennogo upravleniya [The symbolic space of public administration]. *Politicheskaya nauka*. 2. pp. 183–203. DOI: 10.31249/poln/2020.02.09
14. Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (2021) Modern Trends in University City Brand Modification. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 184–193. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/16.
15. Shcherbinin, A. I. & Shcherbinina, N.G. & Sevostyanov, A.V. (2018) *Konstruirovaniye goroda-brenda* [The construction of a city-brand]. Moscow: Aspekt Press.
16. Vinogradova, N.S. (2021) The Influence of New Means of Political Communication on the Formation of a Country's Image. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 469. pp. 85–90. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/469/11
17. Busby, R. & Cronshaw, S. (2015) Political branding: the Tea party and its use of participation branding. *Journal of Political Marketing*. 14(1-2). pp. 96–110. DOI: 10.1080/15377857.2014.990850
18. Vasilenko, I.A. (2016) Vozmozhnosti innovatsionnykh tekhnologiy territorial'nogo brendinga dlya formirovaniya sovremennogo imidzha rossiyskikh regionov [Possibilities of innovative technologies of territorial branding for the formation of a modern image of Russian regions]. *Vlast'*. 24(1). pp. 68–73.
19. Danilova, E.A. (2016) The search of Russian national branding idea under the logic of a multipolar global world forming. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 3(35). pp. 154–162. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/35/15
20. Shcherbinina, N.G. (2009) Konstruirovaniye virtual'noy real'nosti i geroicheskii brending politicheskogo tovara [The construction of virtual reality and heroic branding of a political product]. *Politicheskii marketing*. 2. pp. 34–57.
21. Danilova, E.A. (2016) Aktualizatsiya politicheskoy tsennosti “natsional'naya bezopasnost'” kak faktor formirovaniya identichnosti natsional'nogo brenda [Updating the political value “national security” as a factor in the formation of a national brand identity]. *Vlast'*. 24(1). pp. 73–78.
22. Valikov, E.L. & Malinova, O.Yu. (2015) Simvolicheskaya politika i istoricheskaya pamyat' [Symbolic Politics and Historical Memory]. *Filosofskie nauki*. 12. pp. 130–133.
23. Pushkareva, G.V. (2022) Politicheskii brending: razvorot k simvolicheskoy politike [Political Branding: A Turn to Symbolic Politics]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 94–107. DOI: 10.17976/jpps/2022.04.08
24. Malinova, O.Yu. (2017) Kommemoratsiya istoricheskikh sobytiy kak instrument simvolicheskoy politiki: vozmozhnosti sravnitel'nogo analiza [Commemoration of Historical Events as a Tool of Symbolic Politics: Possibilities of Comparative Analysis]. *Politiya*. 4. pp. 6–22.

25. Starchenko, A.E. & Semina, M.V. (2020) Zhizn' napokaz: pochemu segodnya vazhno vystavlyat' svoi deystviya v sotsial'noy seti [Life on Display: Why It Is Important Today to Display Your Actions on Social Networks]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya*. 26(4). pp. 247–259. DOI: 10.24290/1029-3736-2020-26-4-247-259

26. Pich, Ch. & Newman, B. (2020) Evolution of political branding: typologies, diverse settings and future research. *Journal of Political Marketing*. 19(1-2). pp. 3–14. DOI: 10.1080/15377857.2019.1680932

27. Farhan, A. & Ahmad, A. (2016) A review of political branding research. *Global Journal of Business and Social Science Review*. 4(2). pp. 22–29. DOI: 10.35609/gjbssr.2016.4.2(4)

Сведения об авторах:

Бирюков С.В. – доктор политических наук, профессор Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай, Китай). E-mail: birs.07@mail.ru

Чирун С.Н. – доктор политических наук, доцент Кемеровского государственного университета (Кемерово, Россия). E-mail: Sergii-Tsch@mail.ru

Томко В.С. – аспирант Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Новосибирск, Россия). E-mail: tomko@m-f.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Biryukov S.V. – Dr. Sci. (Political Science), professor, Center for Russian Studies of East China Normal University (Shanghai, People's Republic of China). E-mail: birs.07@mail.ru

Chirun S.N. – Dr. Sci. (Political Science), associate professor, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: Sergii-Tsch@mail.ru

Tomko V.S. – postgraduate student of the Siberian Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: tomko@m-f.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 14.05.2023;
одобрена после рецензирования 23.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 14.05.2023;
approved after reviewing 23.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 327

doi: 10.17223/1998863X/80/20

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПОДХОД ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГАНЫ)

Оксана Владимировна Григорьева¹, Никита Олегович Плюснин²

^{1,2} Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

¹ o.grigorieva@spbu.ru

² n.plyusnin@spbu.ru

Аннотация. Выявлено, каким образом Дания дискурсивно обосновала переосмысление двухсторонних отношений согласно концепции «Fra bistand til handel» («От помощи к торговле») с Ганой как с одним из наиболее значимых партнеров Королевства на континенте. Созданные колониальностью неравенство и разногласия закрепляются за Ганой, а ответственность за светлое будущее – за Данией.

Ключевые слова: постколониализм, теория дискурса, Дания, Гана, Aid for Trade

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта РНФ № 23–28–00418 «Постколониальный подход во внешней политике европейских стран в государствах Западной Африки: возможности для России».

Для цитирования: Григорьева О.В., Плюснин Н.О. Постколониальный подход во внешней политике Королевства Дания в Западной Африке (на примере Ганы) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 219–229. doi: 10.17223/1998863X/80/20

Original article

POSTCOLONISING DANISH FOREIGN POLICY ACTIVISM IN WEST AFRICA: THE CASE OF GHANA

Oksana V. Grigoreva¹, Nikita O. Plyusnin²

^{1,2} Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

¹ o.grigorieva@spbu.ru

² n.plyusnin@spbu.ru

Abstract. Danish foreign policy activism in the Global South is the subject of many contemporary academic inquiries. However, the postcolonial approach is scarcely used to analyse Danish foreign policy. The heterogeneous character of Danish colonialism has also been overlooked by scholars: while Greenland, Iceland and the Faroe Islands are thoroughly examined in Danish postcolonial studies, so-called “tropical colonies” (the Danish West Indies, the Danish Gold Coast and Danish India) are almost “forgotten”. The object of the study is Ghana, which is traditionally perceived only as a former British colony but is one of Denmark’s longest standing and stable partners in Africa. Attention should be also paid to the paradigm shift in Danish-Ghanaian relations, summarised by the slogans “Fra bistand til handel” (“From aid to trade”) and “Fra bistand til business” (“From aid to business”), referring to the WTO initiative “Aid for Trade”. The aim of this article is to identify how Den-

mark discursively justified the rethinking of bilateral relations with Ghana according to the “Fra bistan til handel” concept. To achieve our aim, an in-depth qualitative content and discourse analysis of the text corpus is used, which is followed by commentary from the point of view of postcolonial theory and discourse theory. It is concluded that the construction of foreign policy activism discourse is inextricably linked with Denmark’s construction of its postcolonial “Self” identity. The discourse is intended to resolve the social antagonism between the desired identity of a “moral force” and “good Samaritan” for the Global South states with the identity of “just another” former European coloniser. The colonial past is split into elements in the discourse of postcolonial activism: the “bright” elements (common cultural and historical heritage) are proclaimed as the basis for building a common glorious future, while the “dark” elements (slave trade, power inequality, economic backwardness) are attributed to the exceptional “Other”, which is Ghana in our case. Aid and development are used as the main tools of atonement for colonialism. By splitting its colonial experience into pieces, the Danish “Self” liberates itself from the nightmares of the past, whereas the burden of dealing with them is laid on “Exceptional Others”, including its West African partner.

Keywords: postcolonialism, discourse theory, Denmark, Ghana, Aid for Trade

Acknowledgements: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 23–28–00418: Postcolonising Foreign Policy of European Countries in West African States: Opportunities for Russia.

For citation: Grigoreva, O.V. & Plyusnin, N.O. (2024) Postcolonising Danish foreign policy activism in West Africa: the case of Ghana. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 219–229. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/20

Введение

Дания благодаря своей активистской политике последних тридцати лет [1] уже многие десятилетия входит в первую десятку государств-членов ОЭСР по показателям официальной помощи в целях развития (ОПР), выполняя (и перевыполняя) установленный ООН целевой показатель в 0,7% ВНД, который развитые страны должны тратить на программы помощи развивающимся странам [2]. Кроме того, Дания заметно отличается от других северо-европейских стран военным компонентом активистской политики [3]. Для анализа такой активистской политики используются различные теоретические подходы [4]. Тем не менее постколониальный подход в основном не применяется для анализа внешней политики Дании, хотя специфика скандинавского колониализма позволяет сделать новые актуальные выводы о северо-европейском активизме [5].

Новизна данной работы состоит в преодолении «северного» уклона постколониальных исследований в Скандинавии, что ограничивает число измерений изучаемой проблемы. «Северный» уклон подразумевает, что география исследований включает в себя страны и регионы в Северном полушарии (территория проживания саамов в Северных странах, Аландские острова, Фарерские острова, Гренландия, Исландия, Финляндия). «Тропическое» (или «южное») измерение «нордического» колониализма включает в себя такие географические пространства, как Карибский бассейн, Западная Африка, Южная Азия. Внимание данной статьи будет обращено именно к «тропическому» измерению датского колониализма. Это также соответствует основному тренду датскоязычных постколониальных исследований, получивших новый импульс после публикации в 2017 г. пятитомного издания «Дания и колонии» (*Danmark og Kolonierne*) под общей редакцией Н. Бримнеса, подго-

товленного 29 исследователями, специализирующимися по данной тематике [6]. Однако датские постколониальные исследования имеют давнюю историю: начав свое формирование в 1940-х гг. с исторических, культурологических и антропологических исследований (см., например, работу С. Петерсен [7]), сегодня можно встретить широкое разнообразие тем и исследовательских проблем (по северному направлению, например, Р. Адлер-Ниссен и У.П. Гад [8], по южному – Л. Йенсен [9]). Объектом исследования выбрана Гана, традиционно воспринимаемая только как бывшая британская колония, однако являющаяся одним из самых давних и стабильных партнеров Дании не только в Западной Африке, но и на всем континенте в целом.

Особый интерес представляет парадигмальный сдвиг в датско-ганских отношениях, обобщенный лозунгами «*Fra bistand til handel*» («От помощи к торговле») и «*Fra bistand til business*» («От помощи к бизнесу»), отсылающими к инициативе ВТО «*Aid for Trade*». В 2010 г. датское правительство объявило, что планирует свернуть большую часть программ помощи и развития в Гане к 2020 г. [10]. Действительно, в 2020 г. Гана была исключена из стран-доноров Датского агентства международного развития (Danida), после визита премьер-министра Метте Фредериксен в Гану в 2021 г. соглашения заключаются на межправительственном и межведомственном уровне без посредничества Агентства по делам развития, работе которого еще предстоит дать комплексную экспертную оценку [11]. Однако действительно поворотным для датско-ганских отношений стал 2017 г.: с этого года «*Fra bistand til handel*» закрепился в официальных документах в качестве основного принципа двухсторонних отношений (хотя впервые появился в датских официальных документах в конце 2000-х гг.) – было подтверждено, что на смену программам развития придут двухсторонние проекты сотрудничества, в этом же году начиналась третья и последняя фаза реализации Программы развития частного сектора в Гане Danida – Support to Private Sector Development III (SPSD III), реализуемая с 2003 г. и призванная укрепить ганские бизнес-структуры по датским «лекалам». Визит королевы Дании Маргрете II в ноябре 2017 г. в сопровождении министров и представителей датского бизнеса был призван дискурсивно закрепить изменения в сущностной природе отношений двух стран. Не в последнюю очередь такое благостное отношение к будущему отношений с западноафриканской республикой было вызвано президентскими выборами 2016 г., которые западные страны, включая Данию, признали «демократическими» [10]. Таким образом, наметившийся в начале 2010-х гг. сдвиг в отношениях окончательно был провозглашен приоритетным политическим курсом в 2017 г. в связи с политическими и социально-экономическими переменами в Гане и сменой дискурса в отношении датского колониального прошлого и программ развития в самой Дании, вызванной как внутривнутриполитическим развитием, так и влиянием позиций международных организаций.

Цель данной статьи – выявить, каким образом Дания дискурсивно обосновала переосмысление двухсторонних отношений с Ганой согласно концепции «*Fra bistand til handel*» («От помощи к торговле»).

Хронологические рамки исследования включают в себя последние пять лет (2017–2022 гг.), на которые пришлось бурное развитие отношений Дании с Ганой, а также парадигмальные изменения в осмыслении и конструировании

нии этих отношений в связи с начавшейся в академических и экспертных кругах «постколониальной волной» и крупной волной изучения «нордического колониализма». Основное внимание будет уделено 2017 г., чье краеугольное значение для истории двухсторонних отношений было обозначено ранее.

Теоретической основой исследования является постколониальный подход к международным отношениям. Исследование будет в значительной степени основано на теории ориентализма Э. Саида [12], теории гибридности Х. Бхабха [13] и теории дискурса Э. Лакло и Ш. Муффа [14]. Датский постколониальный активизм будет рассматриваться в рамках данной работы как дискурс.

Корпус материалов для анализа состоит из «основных» и «дополнительных» текстов. «Основными» текстами являются речи и комментарии официальных лиц Дании, отражающие официальную позицию (официальный дискурс). «Дополнительные» тексты транслируют альтернативные дискурсы или осмысляют дискурса представленный в «основных» текстах. Всего в корпус было включено 142 текста. Для целей исследования и проведения глубинного качественного анализа было отобрано восемь текстов: четыре «основных» и четыре «дополнительных».

При подготовке статьи были использованы материалы магистерской диссертации Н.О. Плюснина «Postcolonising Danish Foreign Policy Activism in the Global South: Cases of Ghana, India and the US Virgin Islands», защищенной в Университете Тампере в 2021 г. [15], которые ранее не публиковались в виде статей или как часть иных публикаций.

Постколониальный внешнеполитический активизм Дании в Гане

История Датско-норвежского Золотого Берега началась в 1659 г., когда датский форт Фредериксбург был основан в соответствии с договором с африканским государством Фету [16]. К середине XVIII в. Датско-норвежский Золотой Берег стал одним из главных поставщиков трансатлантической работорговли: по сегодняшним оценкам, Датско-норвежская уния была вовлечена в продажу и перевозку около 100 000 рабов по Атлантическому океану [16]. Запрет работорговли, неудачные попытки организовать плантационное хозяйство и постоянное давление со стороны Британского Золотого Берега привели к упадку датских африканских колоний в первой четверти XIX в., а в 1850 г. форты были проданы Великобритании [16].

Скандинавский колониализм сыграл свою значимую роль в современном облике Ганы. Датский форт Кристиансбург находится на территории Аккры и долгое время выполнял роль резиденции президента Ганы [17]. Новорожденным в Гане все еще часто дают датские имена, а некоторые улицы и районы сохранили датские названия [17]. Однако особое внимание стоит обратить на историю сотрудничества в сфере программ развития и помощи. Датское посольство одним из первых открылось в Гане в 1957 г. после признания ее независимости со стороны Копенгагена и стало центром датских программ экономической помощи еще до создания агентства Danida [9].

Дискурс постколониального активизма Дании в Гане может быть представлен, как показано на рисунке.



Постколониальный активизм Дании в Гане [15]

Дискурсивной «базой» в случае датского колониализма в Гане является элемент «рабство». Революционным стало признание со стороны официальных лиц Дании факта участия Королевства в трансатлантической работорговле, однако это признание произошло на своих условиях. В своем интервью с датскими журналистами королева тривиализирует этот опыт, отмечая, что «в то время это была обычная практика большинства европейских стран» [18]. Более того, королева предостерегает от взгляда на историю через «линзу современности», поскольку это, с ее точки зрения, дает искаженную картину прошлого [18]. Презентизм действительно является частью многих исторических исследований, однако в данном случае скорее можно говорить о попытке снять ответственность и запереть ее в далеком прошлом. Происходит также ре-артикуляция символических образов материального наследия датского колониализма: форт Кристианборг (ныне замок Осу) и плантация Фредериксгаве (ныне часть исторического музея Ганы) становятся просто «еще одними свидетельствами нашего общего прошлого» [19], теряя всякие коннотации с рабским трудом и торговлей рабами. «Ничто не может оправдать эксплуатацию мужчин, женщин и детей, в которой Дания принимала участие», – так Андерс Самюэльсен, по мнению многих представителей африканской общности [20], принес извинения за жестокость колониального прошлого. Однако обратим внимание на формулировку министра, которая на поверку также призвана снять ответственность с современной Дании: раз рабскому труду нет оправдания, бессмысленно просить за это прощения. В отличие от министра королева подобных извинений публично не приносила, хотя этого очень ждали в самой Дании [21]. Таким образом, работорговля атрибутируется только прошлому и отделяется от настоящего и будущего, в котором Гана имеет дело уже с совсем другой Данией [9].

Дискурсивной «надстройкой» являются программы помощи и развития. Как заметил Андерс Сэмюэлсен, «с тех пор, как Гана получила независимость в 1957 г., между Ганой и Данией существовали стабильные тесные и дружеские отношения, которые ранее были в первую очередь сосредоточены на всестороннем сотрудничестве в целях развития» [22]. В отчете «*Det dansk-ghanesiske Partnerskab i forandring: Fra bistand til Handel*» («Партнерство Да-

нии и Ганы в переходный период: от помощи к торговле») Туве Дегнбол, посол Дании в Гане в 2015–2020 гг., заканчивает свое предисловие очень интересным предложением: «Ганцы иногда теряются, когда мы говорим, что мы из Дании или что мы датчане, но когда мы говорим *Danida*, открываются любые двери» [10]. Таким образом может быть представлен весь дискурс постколониального активизма Дании в Гане: программы помощи и развития подменили собой двухсторонние отношения, затмили собой «темные стороны» прошлого этих стран и открыли дорогу для «светлого» будущего с новым типом отношений.

Постепенное укрепление и растущее процветание республики объясняются ключевой ролью, которую Дания сыграла в развитии Ганы: «Дания гордится [...] тем, что внесла свой вклад в фундамент, на котором вы стоите сегодня» [22]. Как утверждает Туве Дегнбол, «мы [датчане] внесли свой вклад в укрепление частного сектора [Ганы] в целом, как минимум через непрекращающиеся требования проведения реформ» [10]. В данном случае важно подчеркнуть именно вовлеченность Дании в процесс: она не руководит сверху вниз, она работает наравне. Это происходит не только «в целом», но и в конкретных секторах и отраслях. По словам Андерса Самуэльсена, датско-ганские отношения развиваются в «секторах, в которых Дания имеет конкурентные преимущества и в которых есть высокий спрос Ганы на датские знания и умения» [22]. Вторая часть особенно важна для легитимности этой помощи – был запрос от Ганы, на который Дания отреагировала, Гане ничего не было «навязано». В терминах А. Мемми [23] колонизатор пытается узаконить свои привилегии и легитимизировать свой статус.

Успехи Ганы неизменно измеряются социально-экономическими показателями: переход из группы стран с низким уровнем дохода (согласно классификации Всемирного банка) в группу стран с доходами ниже среднего уровня в 2011 г., снижение к 2016 г. уровня бедности в два раза по сравнению с показателями 1990-х гг. [24], а также значительные успехи по выполнению целей устойчивого развития ООН.

Эти позитивные, с точки зрения Дании, изменения дают Гане право восприниматься скандинавским наставником в качестве нового более равного партнера, что обуславливает переход в отношениях «от помощи к торговле» [25]. Более того, в некоторых выступлениях делаются попытки переосмыслить историю двухсторонних отношений целиком. В своем выступлении на датско-ганской бизнес-конференции королева отметила следующее: «Однако наше партнерство всегда было чем-то большим, чем сотрудничество в целях помощи и развития» [26]. Это должно свидетельствовать о давно назревшем переходе к новому типу взаимоотношений двух стран, основанному на равноправном диалоге. Гана «достигла определенных успехов», поэтому может претендовать на такого рода транзит.

Программа сотрудничества «*Danmark – Ghana: Landepolitikpapir 2014–2018*» построена в рамках той же логики «от помощи к торговле» [27]. Помимо традиционных целей сотрудничества особо отмечаются необходимость «консолидации результатов программ развития» и дальнейший переход на новый уровень взаимодействия [27]. «Гана в переходный период» характеризуется как страна, переживающая «позитивные» изменения в экономике, политике и социальном развитии. Это обуславливает возможность перехода на

такой уровень диалога, который должен выстраивать диалог равноправных партнеров.

Можно, однако, заметить, что отношения «донор–реципиент» скорее заменяются отношениями «ученик–учитель». Дания изображается как мудрый наставник слаборазвитой Ганы. В речи королевы отмечается, что «с особой радостью мы в Дании следили за свободными и честными прошлогодними выборами [в Гане]» [19]. Таким образом, Дания как некто вышестоящий дает положительную оценку происходящему в Гане. Кроме того, упор делается на ганские интересы и запросы, на которые «датские компании с радостью откликаются» [19], в то время как датских интересов как будто не существует: все делается «с радостью» и из добрых побуждений. Королева в своем выступлении приводит примеры датских компаний Fan Milk и Mærsk, которые «откликнулись» на ганские коммерческие призывы [26] (хотя датские экономические гиганты скорее пришли на ганский рынок со своими предложениями и на своих условиях).

Гана изображается как ученик в «школе цивилизации», которую Дания давно с отличием окончила. Хорошие результаты (экономические и политические перемены в стране с начала 2010-х гг.) и усердие ученика («однозначная поддержка демократии народом Ганы») хвалятся и награждаются учителем в форме того самого транзита «Fra bistand til handel» [19]. Все это соответствует дискурсивным механизмам ориентализма: «Восток» (в нашем случае «Юг») не ведает, что делает и что надо делать, поэтому ему на помощь приходит «Запад» (в нашем случае «Север») [12].

В терминологии Х. Бхабхи [13], Дания подвигает Гану сконструировать свою «гибридную» идентичность таким образом, чтобы она почти во всем повторяла идентичность самой Дании [13]. Важно отметить, что в новых условиях такая мимикрия будто из обязанности колонизированного превратилась в право, которое тем не менее активно отстаивается колонизатором. То есть Гана может пойти своим путем, но ведь есть проверенный путь, предлагаемый и поддерживаемый Данией с ее огромным опытом и моральным авторитетом, поэтому выбор для африканской страны должен казаться очевидным.

Заключение

В результате исследования можно сделать следующие выводы о том, как Дания дискурсивно обосновала переосмысление двухсторонних отношений с Ганой согласно концепции «Fra bistand til handel» («От помощи к торговле»). Сознывая свое колониальное прошлое на Золотом Берегу, Дания долгое время стремилась подменить это противоречивое прошлое однозначным настоящим и будущим, в которых Дания сумела стать «добрым другом» африканских государств и «исключением» среди европейских партнеров. Основным инструментом этой дискурсивной подмены выступали программы развития и помощи. Однако к началу XXI в. крепло понимание, что программы развития и помощи постколониальны по своей сути и несут с собой не меньше противоречий, чем «далекое» колониальное прошлое. Это понимание начало разделяться как африканскими, так и европейскими акторами. В стремлении не потерять свою идентичность «доброго самаритянина» и «другого европейца» Дания начала «перезагрузку» отношений, в которых Гана провозглашалась

«достойной» и «готовой» к другому уровню отношений и взаимодействия. Транзит был призван реанимировать дискурс прогресса и эволюции датско-ганских отношений, присвоив обеим идентичностям новые характеристики и смыслы.

Однако даже приведенный в данной статье анализ показывает, что Дания не создавала нового дискурса двухсторонних отношений. Скорее, произошла ре-артикуляция символов, которые уже составляли ядро дискурса постколониального активизма. Безусловно, новым стало открытое признание своего колониального прошлого со стороны официальных лиц Королевства, однако и это делается на своих условиях: колониализм дробится на части, каждая из которых распределяется либо по шкале времени – «плохое» в виде работорговли, жестокости колониальных властей, властного неравенства и прочего присваивается «прошлому», а «хорошее» в виде общего культурного наследия, исторических связей, крепких каналов взаимодействия на гражданском уровне – «настоящему и будущему»; либо между Данией и Ганой – неравенство и разногласия, созданные колониализмом, присваиваются Гане, тогда как ответственность за светлое будущее монополизируется Данией.

Представляется также важным, что агентами датского постколониального активизма становятся не только государственные структуры и лица, но и датский частный бизнес, который усваивает стратегии государства и применяет их в своих коммуникациях с ганской стороной. Примерами являются не только такие крупные компании, как Fan Milk и Mærsk, но и средний и малый датский бизнес, приходящий на ганский рынок через программы Danida и представляющий наставником западноафриканских партнеров. При этом датские компании становятся непосредственными выразителями идентичности Дании, которая «готова откликнуться» на просьбы Ганы через конкретные инициативы в различных областях.

Таким образом, пример Ганы позволяет обозначить, каким образом Дания реализует свой постколониальный внешнеполитический активизм в странах и регионах Глобального Юга. Можно наглядно увидеть, как модели мышления и механизмы выстраивания идентичностей, определявшие эпоху империализма и колониализма, существуют до сих пор, хотя и прячутся в глубине дискурса, в то время как на поверхности мы имеем дело с «современными» и «прогрессивными» идеями, которые на поверку также могут оказаться производными Просвещения, в случае Европы породившего все философские основы европоцентризма и империализма в современном его понимании.

Список источников

1. Pedersen R.B. Was something rotten in the state of Denmark? Three narratives of the active internationalism in Danish foreign policy // *Cooperation and Conflict*. 2018. Vol. 53, № 4. P. 449–466.
2. OECD. Net ODA. 2022. URL: <https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm> (accessed: 21.05.2024).
3. Holm H.-H. Danish foreign policy activism: The rise and decline // *Danish Foreign Policy Yearbook 2002* / eds. B. Heurlin, H. Mouritzen. Copenhagen : Danish Institute for International Studies, 2002. P. 19–45.
4. Larsen H. Teorier om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig. København : Hans Reitzels Forlag, 2017.
5. Höglund J., Burnett L.A. Introduction: Nordic colonialisms and Scandinavian studies // *Scandinavian Studies*. 2019. Vol. 91, № 12. P. 1–12.

6. *Danmark og kolonierne: 5 bind.* / eds. N.Brimnes, H.C. Gylløv, P. Hernæs, P.E. Olsen, M.V. Pedersen. Gads forlag, 2017.
7. *Petersen S.* Danmarks gamle tropekolonier. H. Hagerups Boghandel, 1946.
8. *Adler-Nissen R., Gad U.P.* Introduction: Postimperial sovereignty games in the Nordic region. // *Cooperation and Conflict*. 2014. Vol. 49, № 1. P. 3–32.
9. *Jensen L.* Postcolonial Denmark: Beyond the Rot of Colonialism? // *Postcolonial Studies*. 2015. Vol. 18, № 4. P. 440–452.
10. *Udenrigsministeriet.* Ghana: Fra bistand til handel. København: Udenrigsministeriet, 2017.
11. *Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration.* (2023) // Ghana and Denmark to deepen relations. URL: <https://mfa.gov.gh/index.php/ghana-and-denmark-to-deepen-relations/> (accessed: 21.05.2024).
12. *Said E.W.* Orientalism. London : Routledge & Kegan Paul, 1978.
13. *Bhabha H.K.* The Location of Culture. London : Routledge, 1994.
14. *Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London : Verso, 1985.
15. *Pliusnin N.* Postcolonising Danish Foreign Policy Activism in the Global South: Cases of Ghana, India and the US Virgin Islands. Master's thesis. Tampere University. 2021. URL: <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130978> (accessed: 21.05.2024).
16. *Danmark og kolonierne – Vestafrika: Forterne på Guldkysten* / ed. P. Hernæs. København : Gads forlag, 2017.
17. *Jensen L.* Postcolonial Denmark: Nation narration in a crisis ridden Europe. London : Taylor and Francis, 2018.
18. *Buch D.* Dronning Margrethe om dansk slavehandel: Det er ikke et kønt kapitel, TV2. 2017. URL: <https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-11-23-dronning-margrethe-om-dansk-slavehandel-det-er-ikke-et-koent-kapitel> (accessed: 21.05.2024).
19. *Kongehuset.* H.M. Dronningens tale ved gallataffel i Accra. 2017. URL: <https://www.kongehuset.dk/nyheder/hm-dronningens-tale-ved-gallataffel-i-accra> (accessed: 21.05.2024).
20. *Kiunguyu K.* Danish Government apologizes to Ghana for slave trade. This Is Africa. 2017. URL: <https://thisisafrika.me/politics-and-society/danish-apologizes-ghana-slave-trade/> (accessed: 21.05.2024).
21. *Vestergaard O.* BLOG: Skal Dronning Margrethe sige undskyld? TV2. 2017. URL: <https://nyheder.tv2.dk/2017-10-09-blog-skal-dronning-margrethe-sige-undskyld> (accessed: 21.05.2024).
22. *Regeringen.* Vi skal udbygge det kommercielle samarbejde med Ghana. 2017. URL: <https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/udenrigsministeren-vi-skal-udbygge-det-kommercielle-samarbejde-med-ghana/> (accessed: 21.05.2024).
23. *Memmi A.* The Colonizer and the Colonized. London : Orion Press, 1965.
24. *World Bank.* Poverty headcount ratio at \$2.15 a day (2017 PPP) (% of population) – Ghana. 2022. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=GH> (accessed: 21.05.2024).
25. *Gad M.* Dæmpede vækstforventninger – men Afrika er stadig en god business case // *Dansk Industri analyse* (august). 2022. P. 1–13.
26. *Kongehuset.* H.M. Dronningens tale ved erhvervskonference i Accra. 2017. URL: <https://www.kongehuset.dk/nyheder/hm-dronningens-tale-ved-erhvervskonference-i-accra> (accessed: 21.05.2024).
27. *Udenrigsministeriet.* Danmark – Ghana: Landepolitikpapir 2014–2018. København : Udenrigsministeriet, 2014.

References

1. Pedersen, R.B. (2018) Was something rotten in the state of Denmark? Three narratives of the active internationalism in Danish foreign policy. *Cooperation and Conflict*. 53(4). pp. 449–466.
2. OECD. (2022) *Net ODA*. [Online] Available from: <https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm> (Accessed: 21st May 2024).
3. Holm, H.-H. (2002) Danish foreign policy activism: The rise and decline. In: Heurlin, B. & Mouritzen, H. (eds) *Danish Foreign Policy Yearbook 2002*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies. pp. 19–45.
4. Larsen, H. (2017) *Teorier om dansk udenrigspolitik efter den kolde krig*. København: Hans Reitzels Forlag.
5. Höglund, J. & Burnett, L.A. (2019) Introduction: Nordic colonialisms and Scandinavian studies. *Scandinavian Studies*. 91(12). pp. 1–12.

6. Brimnes, N., Gyllø, H.C., Hernæs, P., Olsen, P.E. & Pedersen, M.V. (eds) (2017) *Danmark og kolonierne*. Vol. 5. Gads forlag.
7. Petersen, S. (1946) *Danmarks gamle tropekolonier*. H. Hagerups Boghandel.
8. Adler-Nissen, R. & Gad, U.P. (2014) Introduction: Postimperial sovereignty games in the Nordic region. *Cooperation and Conflict*. 49(1). pp. 3–32.
9. Jensen, L. (2015) Postcolonial Denmark: Beyond the Rot of Colonialism? *Postcolonial Studies*. 18(4). pp. 440–452.
10. Udenrigsministeriet. (2017) *Ghana: Fra bistand til handel*. København: Udenrigsministeriet.
11. Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. (2023) *Ghana and Denmark to deepen relations*. [Online] Available from: <https://mfa.gov.gh/index.php/ghana-and-denmark-to-deepen-relations/> (Accessed: 21st May 2024).
12. Said, E.W. (1978) *Orientalism*. London: Routledge & Kegan Paul.
13. Bhabha, H.K. (1994) *The Location of Culture*. London: Routledge.
14. Laclau, E. & Mouffe, C. (1985) *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
15. Pliusnin, N. (2021) *Postcolonising Danish Foreign Policy Activism in the Global South: Cases of Ghana, India and the US Virgin Islands*. Master's Thesis. Tampere University. [Online] Available from: <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130978> (Accessed: 21st May 2024).
16. Hernæs, P. (ed.) (2017) *Danmark og kolonierne – Vestafrika: Forterne på Guldkysten*. København: Gads forlag.
17. Jensen, L. (2018) *Postcolonial Denmark: Nation narration in a crisis ridden Europe*. London: Taylor and Francis.
18. Buch, D. (2017) *Dronning Margrethe om dansk slavehandel: - Det er ikke et kønt kapitel*, TV2. [Online] Available from: <https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-11-23-dronning-margrethe-om-dansk-slavehandel-det-er-ikke-et-koent-kapitel> (Accessed: 21st May 2024).
19. Kongehuset. (2017) *H.M. Dronningens tale ved gallataffel i Accra*. [Online] Available from: <https://www.kongehuset.dk/nyheder/hm-dronningens-tale-ved-gallataffel-i-accra> (Accessed: 21st May 2024).
20. Kiunguy, K. (2017) *Danish Government apologizes to Ghana for slave trade. This Is Africa*. [Online] Available from: <https://thisisafrica.me/politics-and-society/danish-apologizes-ghana-slave-trade/> (Accessed: 21st May 2024).
21. Vestergaard, O. (2017) *BLOG: Skal Dronning Margrethe sige undskyld? TV2*. [Online] Available from: <https://nyheder.tv2.dk/2017-10-09-blog-skal-dronning-margrethe-sige-undskyld> (Accessed: 21st May 2024).
22. Regeringen. (2017) *Vi skal udbygge det kommercielle samarbejde med Ghana*. [Online] Available from: <https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/udenrigsministeren-vi-skal-udbygge-det-kommercielle-samarbejde-med-ghana/> (Accessed: 21st May 2024).
23. Memmi, A. (1965) *The Colonizer and the Colonized*. London: Orion Press.
24. World Bank. (2022) *Poverty headcount ratio at \$2.15 a day (2017 PPP) (% of population) – Ghana*. [Online] Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=GH> (Accessed: 21st May 2024).
25. Gad, M. (2022) Dæmpede vækstforventninger – men Afrika er stadig en god business case. *Dansk Industri analyse*. August. pp. 1–13.
26. Kongehuset. (2017) *H.M. Dronningens tale ved erhvervskonference i Accra*. [Online] Available from: <https://www.kongehuset.dk/nyheder/hm-dronningens-tale-ved-erhvervskonference-i-accra> (Accessed: 21st May 2024).
27. Udenrigsministeriet. (2014) *Danmark – Ghana: Landepolitikpapir 2014–2018*. København: Udenrigsministeriet.

Сведения об авторах:

Григорьева О.В. – кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований, старший научный сотрудник факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: o.grigorieva@spbu.ru

Плюснин Н.О. – младший научный сотрудник факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: n.plyusnin@spbu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Grigorieva O.V. – Cand. Sci. (Political Science), associate professor of the Department of European Studies, senior researcher, Faculty of International Relations, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: o.grigorieva@spbu.ru

Plyusnin N.O. – junior researcher, Faculty of International Relations, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: n.plyusnin@spbu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 18.06.2024;
одобрена после рецензирования 23.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*

*The article was submitted 18.06.2024;
approved after reviewing 23.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 327

doi: 10.17223/1998863X/80/21

ИНДО-ТИХООКЕАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ США ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЖ. БАЙДЕНА

Валерий Иванович Михайленко

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия, valery.mikhaylenko@urfu.ru

Аннотация. На основе изучения официальных документов и политики США в Индо-Тихоокеанском регионе анализируются особенности современных моделей региональной политики администрации Дж. Байдена и факторы, влияющие на применение новых подходов. В связи с обострением конкуренции с Китаем и усилением субъектности азиатских государств США реализуют минилатеральные соглашения в регионе, которые могут быть сведены в модель *hub-and-spokes alliance*.

Ключевые слова: Индо-Тихоокеанский регион, США, администрация Байдена, минилатерализм, *hub-and-spokes alliance model* (модель альянса со ступицей и спицами)

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 24-28-01710 «Процессы регионального строительства и экономической интеграции в Азии в условиях конкуренции великих держав».

Для цитирования: Михайленко В.И. Индо-Тихоокеанская стратегия США при администрации Дж. Байдена // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 230–243. doi: 10.17223/1998863X/80/21

Original article

US INDO-PACIFIC STRATEGY UNDER THE BIDEN ADMINISTRATION

Valery I. Mikhaylenko

Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation, valery.mikhaylenko@urfu.ru

Abstract. In 2022 the United States published two strategically important documents – the Indo-Pacific Strategy of the United States. (February 2022) and the National Security Strategy (October 2022), according to which the Indo-Pacific Region (IPR) is highlighted as one of the priorities of foreign and military policy. Based on the study of official documents and US policy in the IPR, the article analyzes the features of modern models of regional policy of the Joe Biden administration and the factors influencing the new US policy. The theories of integration, securitization, conflict management, regionalism, and decolonization are used as a methodological basis of the research. When assessing the influence of the intra-American factor on the US strategy in the IPR, the author refers to the theories of elite circulation. The author of the study came to the following conclusions. First, the weakening of the US position in the IPR is influenced by the internal political struggle of the US elites. There is a widespread perception in the US and the IPR that the Trump administration has seriously undermined US power and position in the region, alienating long-standing allies and partners. Second, the intensifying rivalry between the US and China has put the countries of the region in a difficult choice, a way out of which medium and small states are finding in hedging and regional integration policies (ASEAN as an example). And the policies of India and Indonesia are characterized as “Swing Global States”. Third, the US implements a policy in the region called in the academic literature “hub-and-spokes alliance model”. Within the

framework of this model, the “spokes” are minilateral agreements between the US and ASEAN and other IPR states on a selected topic. Fourth, based on these factors, the Biden administration is betting on the development of a system of minilateral agreements. Fifth, it is still an open question whether the new model strengthens or challenges the San Francisco security system. In any case, the minilateral treaty system is now becoming one of the pillars of US influence in the IPR.

Keywords: Indo-Pacific Region, USA, Biden’s administration, minilateralism, hub-and-spokes alliance model

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-01710.

For citation: Mikhaylenko, V.I. (2024) US Indo-Pacific strategy under the Biden administration. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 230–243. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/21

Введение

Переход от однополярного к многополярному / многостороннему мировому (глобальному) порядку, его усложнение и проявления фрагментарности ставят вопрос об актуальности моделей региональной политики США.

В качестве отправных точек для анализа текущей политики США в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) и ее прогнозирования служат следующие исходные позиции. Первая из них – это учет растущей мощи Китая в регионе и брошенный им вызов лидерству США. В связи с этим важно определить потенциал этих угроз, основания и пределы компромиссных договоренностей между США и Китаем. Вторая – определение динамики соглашений с ближайшими союзниками в регионе. Третья – учет особенностей политики США в отношении средних и малых государств региона, стремящихся отстаивать свои национальные интересы через заключение минилатеральных и мультилатеральных соглашений.

В данной статье на основе анализа двух стратегических доктрин, принятых в США в 2022 г., и изучения опыта их реализации администрацией Дж. Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) ставится задача идентификации модели политики США в регионе.

Отечественные исследователи традиционно уделяют значительное внимание страноведческой тематике азиатских регионов. Внешней политике администрации Байдена, в которой рассматривается изменение стратегии в ИТР, отведено немного работ. Д. Суслов, обращаясь к новой парадигме внешней политики США, обращает внимание на формирование приоритетов в виде борьбы с глобальными соперниками в лице Китая и России и таким образом выстраивания новой биполярности [1]. В своем анализе стратегической доктрины Дж. Байдена А.В. Лукин обосновывает ее антикитайскую направленность, выстраивание «жесткого кольца сдерживания» вокруг Китая, его окружение сетью старых и новых союзов [2]. В монографии Ю.В. Морозова и В.И. Батюка уделяется внимание инструментарию, с помощью которого США осуществляют политику «окружения Китая» [3]. На примере попыток США создания трехстороннего альянса с Японией и Филиппинами И.О. Мишин показывает сложности, с которыми сталкивается Вашингтон при реализации политики минилатеральных союзов [4]. В фундаментальной монографии, подготовленной коллективом авторов ИМЭМО,

рассмотрен комплекс современной политики и взаимоотношений глобальных и региональных держав в Индо-Тихоокеанском пространстве. Авторы приходят к важному выводу о продолжении в регионе «переформатирования региональных институтов под воздействием изменений в иерархии влияния расположенных здесь государств» [5]. Автор одиннадцатой главы А.Л. Гамза осуществил анализ целей и приоритетов американской региональной стратегии в новых условиях. На основании проделанной работы он пришел к выводу об использовании США «асимметричной силы» для реализации поставленных задач и на конкретных примерах развития Соединенными Штатами двусторонних и многосторонних отношений в регионе обосновал свои выводы [5. С. 117–141].

Важную роль при написании статьи играл постоянный творческий диалог с зарубежными специалистами «мозговых центров» США, Европы и ИТР. Особенно следует подчеркнуть теоретическое и практическое значение исследований А. Ачарья, Б. Бузана об особенностях незападных теорий международных отношений, которые дают представление о моделях поведения лидеров азиатских стран в отношении глобальных и региональных держав, региональной безопасности и специфики защиты ими собственных национальных интересов [6].

В качестве методологической основы исследования в статье используются теории интеграции, секьюритизации, конфликтологии, регионалистики, деколонизации. При оценке влияния внутриамериканского фактора на стратегию США в ИТР автор обращается к теориям циркуляции элит. Для анализа особенностей развития американской администрацией партнерских отношений в регионе автор опирается на концепции «минилатерального сотрудничества» (*minilateral cooperation*) [7], «глобальных свингующих государств» (*global Swing States*) [8] и «модель союза спиц в ступице» (*hub-and-spokes alliance model*) [9].

Индо-Тихоокеанский регион как форпост геополитических интересов США в Азии

Несмотря на существующие разночтения в отношении определения региона (в российской историко-геополитической традиции – Азиатско-Тихоокеанский регион), отмечается широкий консенсус относительно быстро растущей его геостратегической важности. Автор разделяет мнение Д. Стрельцова о формировании новой региональной общности, которая включает Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Восточную и Северо-Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию и Океанию, США, Канаду, Мексику и тихоокеанские страны Латинской Америки [10]. В настоящее время на долю ИТР приходится примерно половина мирового населения, из которых 58% молодого; 60% глобального ВВП; 65% морской поверхности и четверть суши; треть мировых перевозок грузов; две трети мировых поставок нефти [11].

После Второй мировой войны США создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему военных альянсов с упором на защиту и продвижение либерально-демократических ценностей, которые стали центральной опорой американской архитектуры безопасности в Азии. В орбиту военных союзов под эгидой США были вовлечены Австралия, Республика Корея, Пакистан, Филиппины, Таиланд, Новая Зеландия, Япония.

Администрация Дж. Буша (2001–2009) осознавала все возрастающую значимость Азии и тесно сотрудничала с Китаем, Японией и Индией [12]. Обстоятельный сравнительный анализ политики администраций Б. Обамы (2009–2017) и Д. Трампа (2017–2021) в регионе дан в статье Я.В. Лексютинной [13]. Автор обращает внимание на то, что принятая Обамой концепция «ребалансирования», которая сопровождалась форсированным расширением военно-политического присутствия США в регионе и созданием Транстихоокеанского партнерства без участия Китая, привела к обострению американско-китайского соперничества [13. С. 22–23]. Администрация Д. Трампа, признавая важность региона для США, внесла изменения в региональную стратегию. Одним из первых результатов его политики стал отказ США в 2017 г. от участия в Транстихоокеанском партнерстве. Это соответствовало принципам новой стратегии «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Приоритет отдавался развитию двусторонних отношений США со странами региона. Я.В. Лексютинина обращает внимание на введение в американских официальных документах понятия «Индо-Тихоокеанский регион», что свидетельствовало о расширении географических границ стратегического интереса США [13. С. 24].

Смена парадигмы в восприятии ИТР американской администрацией Дж. Байдена происходит под влиянием ряда факторов, вызванных фрагментацией мирового порядка, растущей конкуренцией со стороны Китая, относительной самостоятельностью средних и малых государств, которые объединяются в собственные региональные союзы. Некоторые из формальных альянсов США, например с Японией и Австралией, со временем развиваются и теперь фокусируются на вопросах нетрадиционной безопасности, но приоритетными целями остаются оборона и сдерживание. Понятие «нетрадиционной безопасности охватывает более широкие области, чем традиционная, а именно от политических, экономических и социальных до экологических и культурных проблем». В то время как традиционные угрозы безопасности исходят извне государства, нетрадиционная безопасность исходит как изнутри, так и вне государства [14].

Тем не менее в индо-тихоокеанской политике США выявляются уязвимые места. Столкнувшись в период президентства Д. Трампа с неопределенностью в выполнении американских обязательств в области безопасности в регионе, а также с последствиями растущей напряженности между Китаем и США, азиатские страны реагируют усилением стратегических связей друг с другом и диверсификацией своих обязательств с внешними акторами. В качестве примеров можно привести соглашения «АСЕАН плюс» с отдельными государствами, а также развитие Японией как внутрорегионального сотрудничества в области безопасности с Индией и Австралией, так и ее внерегиональные отношения в этой области с ЕС и Великобританией.

Современная архитектура безопасности в ИТР характеризуется динамикой многоуровневых соглашений, и в ней заметную роль играет минилатеральное сотрудничество (minilateral cooperation). Эта разновидность альянсов оставляет пространство для маневра для тех стран, которые по каким-то причинам не хотели бы связывать себя обязывающими договорами с действующими союзами. К примеру, четырехстороннее соглашение о сотрудничестве (Quad) между США, Японией, Индией и Австралией предполагает поддержа-

ние диалога между его участниками без конкретных обязательств в области безопасности.

К минилатеральным соглашениям также можно отнести соглашения, обладающие высоким уровнем институционализации в том числе в военной сфере, например, объявленный в 2021 г. новый пакт о безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) и тройственное соглашение в области безопасности между США, Японией и Австралией [15]. К такому же виду минилатеральных соглашений можно отнести подписанное 22 октября 2022 г. новое соглашение между Японией и Австралией в области обороны [16]. В этом ряду находится подписанное 5 апреля 2024 г. соглашение между Австралией, Японией, Филиппинами и США о совместной морской деятельности (в рамках исключительной экономической зоны Филиппин [17]. За словами «о свободе судоходства и воздушного пространства» скрывается явная поддержка Филиппин в их продолжающемся споре с Китаем по вопросу о принадлежности морской экономической зоны.

Во всех официальных документах США относительно ИТР присутствует сакральная фраза о центральной роли АСЕАН в конструировании региональной архитектуры.

Популярность минилатеральных соглашений в ИТР вызвана тем, что даже союзники США больше не удовлетворены организацией мер безопасности исключительно через Вашингтон и формируют тесные связи внутри региона на своих собственных условиях и выстраивают собственную стратегию безопасности. Некоторые исследователи даже утверждают о наступившем «веке минилатерализма» в регионе [18]. Принимая эту точку зрения, необходимо иметь в виду, что минилатеральные соглашения с региональными государствами и региональными организациями имеют Китай, крупные и средние нерегionalные государства. Особенностью минилатеральных соглашений является то, что они имеют более узкую повестку дня, чем привычные соглашения о безопасности. В региональной ситуации ИТР эти соглашения являются более гибкими, подвижными и прочными механизмами, которые способствуют достижению согласия в быстро меняющемся регионе.

Учитывая эти факторы, администрация Байдена делает ставку на развитие системы минилатеральных соглашений. В научной литературе реализуемая США модель в ИТР получила название «модель союза спиц в ступице» (hub-and-spokes alliance model). Пока остается открытым вопрос о том, усиливает ли новая модель Сан-Францисскую систему [19] или бросает ей вызов. В любом случае на сегодняшний день система минилатеральных договоров становится одной из опор влияния США в ИТР.

Индо-Тихоокеанская стратегия администрации Джона Байдена

Содержание региональной политики США находится под воздействием не только внешних факторов, но и смены политических элит у власти. Стратегическое значение региона для США неоднократно подчеркивалось администрацией Д. Трампа (2017–2021). Тем не менее в политических кругах и среди аналитиков существует распространенное мнение о том, что своей политикой в ИТР администрация Трампа оттолкнула от США многих давних союзников и партнеров. Не вдаваясь в детали политики республиканца

Д. Трампа, отметим ее тенденцию в сторону «национального протекционизма» (America First). Одним из первых решений президента Трампа в январе 2017 г. был отказ от участия США в Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП). Трамп ставил под вопрос продолжение договора об обороне с Японией, потребовал от Республики Кореи увеличить в пять раз оплату за размещение американских войск, не воспрепятствовал сближению Филиппин с Китаем, вступил в конфликт с Индией и Китаем по вопросам «несправедливой» торговой политики, избегал демонстративных шагов в поддержку Тайваня.

Администрация Дж. Байдена не только вернула отношения с азиатскими странами в привычное русло, но и укрепила отношения, используя практику минилатеральных соглашений. В немалой степени этому способствовала растущая экономическая и военная мощь Китая, вызывающая беспокойство у ряда азиатских государств, а также постоянное оперирование КНДР ядерным оружием и испытанием баллистических ракет.

Опубликованный в феврале 2022 г. 19-страничный документ «Индо-Тихоокеанская стратегия США» вернул претензию США на роль активного гегемона в Индо-Тихоокеанском регионе [20]. В документе подтверждается, что США являются великой индо-тихоокеанской державой, имеющей геополитические, военные и экономические интересы в регионе.

Первая часть документа отведена анализу растущего экономического, дипломатического, военного и технологического влияния Китая на страны региона и его стремления расширить сферу своего влияния и стать самой влиятельной державой в мире. «От экономического принуждения Австралии до конфликта вдоль линии фактического контроля с Индией, растущее давление на Тайвань и запугивание соседей в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — утверждается в документе [20]. Перечисляя другие претензии к КНР, в документе утверждается, что Китай «подрывает права человека и международное право, включая свободу судоходства, а также другие принципы, которые принесли стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанский регион» [20]. В документе были сформулированы принципы отношений США с Китаем. Их целью провозглашалось «не изменить КНР, а сформировать стратегическую среду, в которой они действуют путем выстраивания баланса влияния в мире, максимально благоприятного для США» [20]. В этом направлении должно выстраиваться сотрудничество с союзниками и партнерами, стремясь работать с КНР в таких областях, как изменение климата и нераспространение ядерного оружия. С целью повышения эффективности политики США в регионе Белый дом планирует модернизировать существующие альянсы, укрепить партнерские отношения и поддерживать региональные организации.

В документе были сформулированы и затем получили развернутую характеристику пять целей политики США в ИТР, которые они намеревались реализовать со своими союзниками и партнерами: развивать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион; поощрять связи внутри региона и за его пределами; содействовать региональному процветанию; укреплять безопасность в ИТР; повышать региональную устойчивость к транснациональным угрозам. Устойчивости в странах ИТР администрация США намеревалась добиваться через поддержку открытых обществ и инвестирование в демократические процессы.

Если кратко подвести итоги, то *стратегические цели* были определены как «развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который будет более взаимосвязанным, процветающим, безопасным и устойчивым» [20]. *Стратегические пути* намечены через укрепление роли США и создание коллективного потенциала с союзниками, партнерами и региональными организациями. В качестве *стратегических средств* используются модернизированные союзы, гибкие партнерские отношения, включая расширение сотрудничества с АСЕАН, ведущей в регионе Индий, сильной и надежной четверкой (QUAD), вовлеченном в ИТР Евросоюзом; развивать экономическое партнерство; совершенствовать американскую оборону, дипломатию; оказывать ресурсную помощь в регионе; проявлять постоянное внимание к региону на всех уровнях администрации США [20].

Вслед за публикацией стратегии Дж. Байден предложил в марте 2022 г. создать «Chip 4 Alliance» между Соединенными Штатами, Японией, Южной Кореей и Тайванем, нацеленный на изоляцию Китая в областях высоких технологий, поставок критически важных материалов, введение единых стандартов контроля за глобальными цепочками производства и поставками полупроводников [21]. Тема поддержания геостратегического баланса в регионе вышла на первый план в межгосударственных отношениях в ИТР. 23 мая 2022 г. было приведено в действие новое экономическое соглашение – Индо-Тихоокеанская программа экономического процветания (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF). К соглашению присоединились Австралия, Бруней, Фиджи, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. На 14 партнеров IPEF приходится 40 процентов мирового ВВП и 28 процентов мировой торговли товарами и услугами [22]. По мнению руководителя группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН А. Куприянова, речь идет о возрождении ТТП на новом уровне из сочетания элементов ТТП и запущенной в 2019 г. программы *Blue dot Network* [23].

12 октября 2022 г. на сайте Белого дома была опубликована 48-страничная «Стратегия национальной безопасности США» (СНБ 2022) [24]. В отличие от Индо-Тихоокеанской стратегии США новый документ давал представление об особенностях планирования глобальной политики США.

В СНБ 2022 акцентированно формулируется главное противоречие современного мирового порядка – «между демократиями и автократиями». «Преодоление конкуренции с Китаем и сдерживание России» было объявлено одним из приоритетов [24. Р. 8–9]. Среди региональных приоритетов на первое место выведен Индо-Тихоокеанский регион. В документе подчеркивается важность сети американских союзов и партнерств в защите американцев и экономических интересов США [24. Р. 11].

Если сравнить Национальную стратегию Дж. Байдена с тремя другими предыдущими, начиная от администрации Клинтона, то можно найти признаки изменений в национальной стратегии США. Глобальная стратегия Дж. Байдена исходит из того, что основной точкой напряжения является осознание затяжной идеологической борьбы с КНР и Россией. Как комментирует Дж. Хэммингс, стратегия Дж. Байдена разделяет ценности на две категории: свободу либерализма (голосование, политические свободы, свободные СМИ) и свободу от принуждения и угнетения. Судя по формулировкам, документ

упирает на нелиберальное определение свободы – «свободы от принуждения», т.е. своего рода поддержка суверенитета. Такой подход рассчитан на привлекательность США для региональных партнеров. Если первая формулировка обращена к либеральным партнерам, вторая более привлекательна для малых и средних недемократических государств, суверенитету которых в ИТР якобы могут угрожать авторитарные державы [25].

Обращает на себя внимание попытка обойти деликатную тему экономики, учитывая китайское доминирование во многих сферах экономики, торговли и производства в странах ИТР. Понятие «свободная торговля» почти исчезло из документа, что связано с расхождениями между США и их союзниками по поводу соглашений о свободной торговле.

В отношении Китая планируется политика, состоящая из трех частей. Первая – увеличение инвестирования в самих США с целью повышения конкурентоспособности. Вторая – эффективно объединять усилия с союзниками и партнерами, действующими с общей целью. Третья – динамично и напряженно конкурировать с КНР в защите интересов США и лучшего будущего [24. Р. 23–25].

Теме союзов в документе уделено больше внимания, чем это было ранее. В стратегии, принятой администрацией Б. Клинтона, ключевое слово «союз» упоминается два раза, в СНБ 2022 – 17 раз [25]. США для достижения успеха в соперничестве с Китаем и Россией необходимы союзники. В СНБ 2022 отмечено, что США будут укреплять пять региональных союзов, а именно с Австралией, Японией, Республикой Корея, Филиппинами и Таиландом; развивать отношения с ведущими региональными партнерами США, включая Индию, Индонезию, Малайзию, Монголию, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань, Вьетнам и острова Тихого океана. США будут также поддерживать своих союзников и партнеров в укреплении связей друг с другом, особенно с Японией и Республикой Корея. Вместе с индо-тихоокеанскими и европейскими партнерами США планируют развивать оборонно-промышленные базы, налаживать цепочки военных поставок и совместное производство в передовых технологиях [20. Р. 9; 24. Р. 11–13, 20, 38].

Подводя итоги двухлетнему периоду реализации Индо-Тихоокеанской стратегии, Департамент торговли США отмечает привлечение новых ресурсов США в ИТР в торговлю и обеспечение устойчивости цепочек поставок [26]. С 2022 г. США оказали содействие 18 998 американских компаний для экспорта из США в ИТР на сумму около 248,8 млрд долл. Проекты чистых технологий были реализованы в Малайзии, Вьетнаме, Индонезии, Сингапуре и Филиппинах. США используют более дюжины двусторонних коммерческих диалогов на высшем уровне с партнерами IPEF, включая Австралию, Индию, Японию, Корею и Сингапур, для открытия новых рынков, согласования стандартов и повышения конкурентоспособности американских компаний. В ноябре 2023 г. партнеры IPEF ввели первое Соглашение о цепочке поставок, которое ввело новые инструменты для предотвращения сбоев и обеспечения безопасности в цепочках поставок, устранения уязвимости кибербезопасности и развития искусственного интеллекта. С этой целью была осуществлена двусторонняя координация действий с органами экспортного контроля более десятка правительств, а также через Форум Юго-Восточной Азии по экспортному контролю и Азиатский семинар по экспортному кон-

тролю. Для реализации сотрудничества в рамках «четверки» (QUAD) был создан специальный орган Quad Investors Network, в котором пять рабочих групп развивают сотрудничество в областях искусственного интеллекта, полупроводников, чистой энергетики, важнейших минералов, мобильных сетей, квантовой информатики. Сотрудничество с АСЕАН направлено на совершенствование цифровых стандартов и обеспечение кибербезопасности. В рамках американской политики поощрения региональных лидерских амбиций Индии реализуются новые двусторонние инициативы в областях критически важных и новых технологий. Островным государствам Тихого океана США оказывают помощь по снижению природных бедствий и их последствий [26].

В августе 2023 г. на трехстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде лидеры Японии, Южной Кореи и США взяли на себя обязательства по укреплению военного, разведывательного и экономического сотрудничества [27].

На приеме главы японского правительства в апреле 2024 г. президент Байден подчеркнул, что сейчас обе страны «строят более сильное оборонное партнерство и более сильный Индо-Тихоокеанский регион, чем когда-либо прежде» [28]. Тем не менее аналитики скептически оценивают присоединение Японии в ближайшее время к АУКУС. Однако считают вполне реальным усиление сотрудничества Японии и США в обмене современными технологиями, связанными с искусственным интеллектом, автономными системами, гиперзвуковыми ракетами и высокоточными боеприпасами, гражданскими ядерными технологиями [29].

Заключение

Отношение в ИТР к стратегической инициативе Дж. Байдена не вписывается в простую дихотомию «за» или «против». Прежде всего, на ослабление позиций США в ИТР оказывает влияние внутрисполитическая борьба американских правящих элит. В США и ИТР широко распространенным является мнение о том, что администрация Трампа серьезно подорвала мощь и положение США в регионе, оттолкнув давних союзников и партнеров [30]. Другим вызовом для политики сотрудничества США являются внутрисполитические изменения в ряде стран ИТР, как это было в период правления Р. Дутерте на Филиппинах (2016–2022), который сделал поворот в сторону партнерских отношений с Китаем.

Как образно отмечает Дж. Хорнунг, «лоскутное одеяло» из минилатеральных соглашений является достаточно удобным для США, но создает затруднения для координации действий между странами. США во избежание неэффективных, размытых, фрагментарных действий должны максимально усилить коллективный потенциал сотрудничества с основными партнерами США в ИТР. Главным из них, по мнению автора, является Япония [31]. Необходимо учитывать, что различные формы минилатеральных соглашений отвечают растущей потребности стран региона в решении актуальных проблем безопасности в условиях обострившегося соперничества между США и Китаем.

США настойчиво выстраивают свою систему союзов в ИТР, используя модель *hub-and-spokes alliance model*. Однако для США непросто добиться устойчивого потенциала сотрудничества даже с их казалось бы безукоризненными союзниками в ИТР. В отношении политики некоторых региональ-

ных государств применяется понятие «глобальные свингующие государства» (Global Swing States). Среди них называют Индию, Индонезию [32]. Прямому конфликту с мощным противником в регионе они противопоставляют укрепление собственной суверенной политики в регионе и сотрудничество с другими региональными государствами или организациями с целью поддержания баланса безопасности в ИТР. Связи с глобальными державами они рассматривают как способ поддержания регионального баланса сил. Что касается Индии, то в период правления Н. Модии страна активно продвигает идеи примата национальных интересов, суверенизации и самостоятельного регионального актора.

Региональные интеграционные организации стали самостоятельными акторами в расстановке сил. К примеру, в ответ на нехватку долларовой ликвидности АСЕАН, Китай, Япония и Южная Корея выдвинули в 2000 г. инициативу, которая должна была облегчить двусторонние валютные свопы между ними. Австралия вошла в AUKUS, тем не менее, к примеру, австралийский дипломат Дж. Раби полагает, что сотрудничество Австралии с АСЕАН добавит «существенный геополитический вес» обеим сторонам. При таких связях агрессор не сможет уничтожить каждую страну по отдельности [33].

Еще неизвестно, приведут ли обязательства, принятые на саммите в Кэмп-Дэвиде, к более тесному сотрудничеству в спорных областях. Трем сторонам не удалось достичь согласия с проектом США о расширенном ядерном сдерживании в регионе. Сеул неохотно поддерживает политику Вашингтона, ограничивающую доступ Китая к передовым чипам. Этим объясняется сдержанность Республики Корея в отношении реализации инициативы Дж. Байдена «Chip 4 Alliance» [21].

Наконец, необходимо принимать в расчет комбинированную политику Китая в регионе, который сочетает «дипломатию волков» с использованием «мягкой силы» в регионе в виде финансовых инвестиций через контролируемые им банки развития, предоставление азиатским странам современных технологий и поддержку межрегиональных организаций безопасности.

В противоборстве с Китаем США используют идеологические, военные и экономические механизмы привлечения на свою сторону отдельных государств и интеграционных институтов. При этом США вынуждены считаться как с высоким уровнем соперничества со стороны Китая за влияние в регионе, так и с ростом национальной субъектности стран региона, которые пропускают свои взаимоотношения с глобальными державами через призму национальных интересов. Сложная динамика региональных отношений в одном из наиболее многочисленных и быстро развивающемся регионе оказывает влияние на глобальную безопасность.

Список источников

1. Суслов Д. Новая парадигма внешней политики США и отношения с Россией. URL: <https://ru.valdaicclub.com/a/highlights/novaya-paradigma-vneshney-politiki-ssha/>
2. Лукин А.В. Американо-китайское соперничество в АТР: декларации и реальность // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21, № 1. С. 118–137.
3. Морозов Ю.В., Батюк В.И. Стратегический треугольник США–КНР–РФ: вызовы и перспективы безопасности России: монография / Рос. акад. наук ; Ин-т Китая и совр. Азии РАН. М. : ИКСА РАН, 2022. С. 183–185. doi: 10.48647/ISSA.2022.41.26.010

4. Мишин И.О. Альянс США, Японии, Филиппин: новый формат сдерживания КНР? // Азия и Африка сегодня. 2023. Вып. 10. С. 45–52. URL: <https://asaf-today.ru/S032150750028104-6-1> (дата обращения: 18.05.2024). doi: 10.31857/S032150750028104-6
5. Новая реальность индо-тихоокеанского пространства / под общ. ред. В.В. Михеева ; отв. ред. А.В. Ломанов, В.Г. Швыдко. М. : ИМЭМО РАН, 2023. doi: 10.20542/978-5-9535-0567-3
6. *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and Beyond Asia* / Ed. by Amitav Acharya, Barry Buzan. Routledge, 2010.
7. Mladenov N. Minilateralism: A Concept That Is Changing the World Order. URL: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/minilateralism-concept-changing-world-order> (accessed: 15.05.2023).
8. *Global Swing States Brazil, India, Indonesia, Turkey and the Future of International Order*. By Daniel M. Kliman and Richard Fontaine URL: https://www.gmfus.org/sites/default/files/2023-01/GlobalSwingStates_KlimanFontaine.pdf (accessed: 12.03.2024).
9. Izumikawa Ya. Network Connections and the Emergence of the Hub-and-Spokes Alliance System in East Asia. URL: <https://direct.mit.edu/isec/article/45/2/7/95263/Network-Connections-and-the-Emergence-of-the-Hub> (accessed: 12.03.2024).
10. Стрельцов Д.В. Индо-Тихоокеанский регион как новая реальность глобальной системы международных отношений // Международная жизнь. 2018. № 9. С. 65–74.
11. Saha R. Prioritizing the Indian Ocean in US Indo-Pacific Strategy. URL: <https://www.stimson.org/2023/prioritizing-the-indian-ocean-in-us-indo-pacific-strategy/> (accessed: 24.03.2024).
12. *Great Power Competition: Implications for Defense – Issues for Congress* // Congressional Research Service. 28.02.2024. URL: <https://crsreports.congress.gov> (accessed: 15.03.2023).
13. Лексютина Я.В. Роль Китая в стратегии «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» Д. Трампа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2019. Т. 19, № 1. С. 22–34. doi: 10.22363/2313-0660-2019-19-1-22-34. EDN ZBFCZF.
14. *The Asia-Pacific Security Lexicon* // ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2007. P. 173–178.
15. *United States-Japan-Australia Trilateral Defense Ministers' Meeting (TDMM) 2023 Joint Statement*. June 3, 2023. URL: <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3415881/United-states-japan-australia-trilateral-defense-ministers-meeting-tdmm-2023-jo/> (accessed: 09.04.2024).
16. *Australia-Japan Joint Declaration on Security Cooperation*. October, 22, 2022. URL: <https://www.dfat.gov.au/countries/japan/australia-japan-joint-declaration-security-cooperation> (accessed: 09.04.2024).
17. *Australia – Japan – Philippines – United States Maritime Cooperative Activity*. April, 5, 2024. URL: <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3733095/joint-statement-australia-japan-philippines-united-states-maritime-cooperative/> (accessed: 09.04.2024).
18. Ashley R. The New Japan-Australia Security Agreement. URL: <https://www.fpri.org/article/2022/11/the-new-japan-australia-security-agreement/> (accessed: 9.04.2024).
19. Лукин А., Коротич С. Между Вашингтоном и Пекином: что ждет азиатско-тихоокеанские альянсы США? // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61, № 4. С. 5–15. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-4-5-15>
20. *Indo-Pacific Strategy of the United States*. February 2022. Washington: National Security Council, 2022. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf> (accessed: 24.03.2024).
21. Jung E. The “Chip 4 Alliance” and Taiwan–South Korea Relations. URL: <https://global-taiwan.org/2023/09/the-chip-4-alliance-and-taiwansouth-korea-relations/> (accessed: 14.04.2024).
22. *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)* URL: <https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef> (accessed: 30.03.2024).
23. Лакстыгал И., Козлов А. США создают в Азии и Тихом океане новое партнерство. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/05/23/923309-ssha-sozdayut-tihom-okane> (accessed: 24.03.2024).
24. *National Security Strategy*. October 2022. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf> (accessed: 29.03.2024).
25. Hemmings J. US National Security Strategy and the new cold war. URL: https://asiaticmes.com/2022/11/us-national-security-strategy-and-the-new-cold-war/?mc_cid=e4840c514a&mc_eid=2c6d438fa6 (accessed: 10.03.2024).
26. *Two Years of Indo-Pacific Strategic Results: Strengthening Indo-Pacific Commerce for a Prosperous Future*. URL: <https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2024/02/two-years-indo-pacific-strate>

gic-results-strengthening-indo-pacific#:~:text=Under%20the%20Biden%2DHarris%20Administration's,prosperous%2C%20secure%2C%20and%20resilient (accessed: 10.04.2024).

27. *Trilateral Leaders' Summit of the United States, Japan, and the Republic of Korea*. URL: <https://jp.usembassy.gov/trilateral-leaders-summit-us-japan-south-korea/> (accessed: 10.04.2024).

28. *Remarks by President Biden and Prime Minister Kishida Fumio of Japan at Arrival Ceremony*. APRIL 10, 2024. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/04/10/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-kishida-fumio-of-japan-at-arrival-ceremony/> (accessed: 14.04.2024).

29. *Blaxland J.* Japan and AUKUS are headed for limited cooperation. URL: https://asia-times.com/2024/04/japan-and-aukus-are-headed-for-limited-cooperation/?mc_cid=89fe4edebe&mc_eid=2c6d438fa6 (accessed: 15.04.2024).

30. *Feaver P.D.* The Real Challenge of Trump 2.0. The World Will Need New Ways to Cope with the Same Old Tactics. URL: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/real-challenge-trump-20> (accessed: 25.02.2024).

31. *Hornung J.* America's Best Friend in Asia. The Case for Elevating the U.S. Alliance with Japan. URL: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/americas-best-friend-asia> (accessed: 15.04.2024).

32. *Global Swing States Brazil, India, Indonesia, Turkey and the Future of International Order*. By Daniel M. Kliman and Richard Fontaine URL: https://www.gmfus.org/sites/default/files/2023-01/GlobalSwingStates_KlimanFontaine.pdf (accessed: 12.03.2024).

33. *Raby G.* China's Grand Strategy and Australia's Future in the New Global Order. Carlton : Melbourne University Press, 2020.

References

1. Suslov, D. (n.d.) *Novaya paradigma vneshney politiki SShA i otnosheniya s Rossiei* [The New Paradigm of US Foreign Policy and Relations with Russia]. [Online] Available from: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/novaya-paradigma-vneshney-politiki-ssh-a/>

2. Lukin, A.V. (2023) Amerikano-kitayskoe sopernichestvo v ATR: deklaratsii i real'nost' [US-Chinese Rivalry in the Asia-Pacific Region: Declarations and Reality]. *Rossiya v global'noy politike*. 21(1). pp. 118–137.

3. Morozov, Yu.V. & Batyuk, V.I. (2022) *Strategicheskii treugol'nik SShA–KNR–RF: vyzovy i perspektivy bezopasnosti Rossii* [The US-China-RF Strategic Triangle: Challenges and Prospects for Russia's Security]. Moscow: IKSA RAS. pp. 183–185. DOI: 10.48647/ICCA.2022.41.26.010

4. Mishin, I.O. (2023) Al'yans SShA, Yaponii, Filippin: novyy format sderzhivaniya KNR? [Alliance of the USA, Japan, and the Philippines: a new format for containing China?]. *Aziya i Afrika segodnya*. 10. pp. 45–52. DOI: 10.31857/S032150750028104-6

5. Lomanov, A.V. & Shvydko, V.G. (eds) (2023) *Novaya real'nost' indo-tikhookeanskogo prostranstva* [New reality of the Indo-Pacific space]. Moscow: IMEMO RAS. DOI: 10.20542/978-5-9535-0567-3

6. Acharya, A. & Buzan, B. (eds) (2010) *Non-Western International Relations Theory Perspectives on and Beyond Asia*. Routledge.

7. Mladenov, N. (n.d.) *Minilateralism: A Concept That Is Changing the World Order*. [Online] Available from: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/minilateralism-concept-changing-world-order> (Accessed: 15th May 2023).

8. Kliman, D.M. & Fontaine, R. (eds) (2023) *Global Swing States Brazil, India, Indonesia, Turkey and the Future of International Order*. [Online] Available from: https://www.gmfus.org/sites/default/files/2023-01/GlobalSwingStates_KlimanFontaine.pdf (Accessed: 12th March 2024).

9. Izumikawa, Ya. (n.d.) *Network Connections and the Emergence of the Hub-and-Spokes Alliance System in East Asia*. [Online] Available from: <https://direct.mit.edu/isec/article/45/2/7/95263/Network-Connections-and-the-Emergence-of-the-Hub> (Accessed: 12th March 2024).

10. Streltsov, D.V. (2018) Indo-Tikhookeanskiy region kak novaya real'nost' global'noy sistemy mezhdunarodnykh otnosheniy [The Indo-Pacific Region as a New Reality of the Global System of International Relations]. *Mezhdunarodnaya zhizn'*. 9. pp. 65–74.

11. Saha, R. (2023) *Prioritizing the Indian Ocean in US Indo-Pacific Strategy*. [Online] Available from: <https://www.stimson.org/2023/prioritizing-the-indian-ocean-in-us-indo-pacific-strategy/> (Accessed: 24th March 2024).

12. The Congressional Research Service (CRS). (2024) *Great Power Competition: Implications for Defense—Issues for Congress*. 28th February. [Online] Available from: <https://crsreports.congress.gov> (Accessed: 15th March 2024).

13. Leksyutina, Ya.V. (2019) Rol' Kitaya v strategii "Svobodnyy i otkrytyy Indo-Tikhookeanskiy region" D. Trampa [The role of China in D. Trump's "Free and Open Indo-Pacific" strategy]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya*. 19(1). pp. 22–34. DOI: 10.22363/2313-0660-2019-19-1-22-34
14. ISEAS–Yusof Ishak Institute. (2007) *The Asia-Pacific Security Lexicon*. pp. 173–178.
15. United States–Japan–Australia Trilateral Defense Ministers' Meeting (TDMM). (2023) *Joint Statement*. 3rd June. [Online] Available from: <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3415881/united-states-japan-australia-trilateral-defense-ministers-meeting-tdmm-2023-jo/> (Accessed: 9th April 2024).
16. Australia. (2022) *Australia–Japan Joint Declaration on Security Cooperation*. October, 22, 2022. [Online] Available from: <https://www.dfat.gov.au/countries/japan/australia-japan-joint-declaration-security-cooperation> (Accessed: 9th April 2024).
17. Australia – Japan – Philippines – United States Maritime Cooperative Activity. (2024) 5th April. [Online] Available from: <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3733095/joint-statement-australia-japan-philippines-united-states-maritime-cooperative/> (Accessed: 9th April 2024).
18. Ashley, R. (2022) *The New Japan–Australia Security Agreement*. [Online] Available from: <https://www.fpri.org/article/2022/11/the-new-japan-australia-security-agreement/> (Accessed: 9th April 2024).
19. Lukin, A. & Korotich, S. (2017) Mezhdru Vashingtonom i Pekinom: chto zhdet aziatsko-tikhookeanskies al'yansy SSHa? [Between Washington and Beijing: What Awaits the US Asia-Pacific Alliances?]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. 61(4). pp. 5–15. DOI: 10.20542/0131-2227-2017-61-4-5-15
20. US National Security Council. (2022) *Indo-Pacific Strategy of the United States*. February 2022. Washington: National Security Council. [Online] Available from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf> (Accessed: 24th March 2024).
21. Jung, E. (2023) *The "Chip 4 Alliance" and Taiwan–South Korea Relations*. [Online] Available from: <https://globaltaiwan.org/2023/09/the-chip-4-alliance-and-taiwansouth-korea-relations/> (Accessed: 14th April 2024).
22. *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)*. [Online] Available from: <https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef> (Accessed: 30th March 2024).
23. Lakstygai, I. & Kozlov, A. (2022) *SSHa sozdayut v Azii i Tikhom okeane novoe partnerstvo* [The United States is creating a new partnership in Asia and the Pacific]. [Online] Available from: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/05/23/923309-ssh-sozdayut-tihom-okeane> (Accessed: 24th March 2024).
24. USA. (2022) *National Security Strategy*. October. [Online] Available from: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf> (Accessed: 29th March 2024).
25. Hemmings, J. (2022) *US National Security Strategy and the new cold war*. [Online] Available from: https://asiatimes.com/2022/11/us-national-security-strategy-and-the-new-cold-war/?mc_cid=e4840c514a&mc_eid=2c6d438fa6 (Accessed: 10th March 2024).
26. US Department of Commerce. (n.d.) *Two Years of Indo-Pacific Strategic Results: Strengthening Indo-Pacific Commerce for a Prosperous Future*. [Online] Available from: <https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2024/02/two-years-indo-pacific-strategic-results-strengthening-indo-pacific#:~:text=Under%20the%20Biden%20Harris%20Administration's,prosperous%2C%20secure%2C%20and%20resilient> (Accessed: 10th April 2024).
27. U.S. Embassy & Consulates in Japan. (2023) *Trilateral Leaders' Summit of the United States, Japan, and the Republic of Korea*. [Online] Available from: <https://jp.usembassy.gov/trilateral-leaders-summit-us-japan-south-korea/> (Accessed: 10th April 2024).
28. USA. (2024) *Remarks by President Biden and Prime Minister Kishida Fumio of Japan at Arrival Ceremony*. April 10, 2024. [Online] Available from: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/04/10/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-kishida-fumio-of-japan-at-arrival-ceremony/> (Accessed: 14th April 2024).
29. Blaxland, J. (2024) *Japan and AUKUS are headed for limited cooperation*. [Online] Available from: https://asiatimes.com/2024/04/japan-and-aukus-are-headed-for-limited-cooperation/?mc_cid=89fe4edebe&mc_eid=2c6d438fa6 (Accessed: 15th April 2024).
30. Feaver, P.D. (n.d.) *The Real Challenge of Trump 2.0. The World Will Need New Ways to Cope with the Same Old Tactics*. [Online] Available from: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/real-challenge-trump-20> (Accessed: 25th February 2024).

31. Hornung, J. (n.d.) *America's Best Friend in Asia. The Case for Elevating the U.S. Alliance with Japan*. [Online] Available from: <https://www.foreignaffairs.com/united-states/americas-best-friend-asia> (Accessed: 15th April 2024).

32. Kliman, D.M. & Fontaine, R. (2023) *Global Swing States Brazil, India, Indonesia, Turkey and the Future of International Order*. [Online] Available from: https://www.gmfus.org/sites/default/files/2023-01/GlobalSwingStates_KlimanFontaine.pdf (Accessed: 12th March 2024).

33. Raby, G. (2020) *China's Grand Strategy and Australia's Future in the New Global Order*. Carlton: Melbourne University Press.

Сведения об авторе:

Михайленко В.И. – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории международных отношений департамента международных отношений Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия). E-mail: valery.mikhaylenko@urfu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Mikhaylenko V.I. – Dr. Sci. (History), professor; professor of the Department of Theory and History of International Relations, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: valery.mikhaylenko@urfu.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 01.05.2024;
одобрена после рецензирования 23.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 01.05.2024;
approved after reviewing 23.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 323

doi: 10.17223/1998863X/80/22

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕФОРМ КНР В 1982–2002 гг.: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Максим Алексеевич Сущенко

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия, spacemirror@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния политических традиций на административные реформы КНР. Определены этапы и направления реформ. Предложена классификация основных традиций, регулирующих и мотивирующих деятельность китайских элит на пути реформ госуправления. Делается вывод о сформированности основных институциональных условий вследствие реформ для дальнейшей модернизации государства и экономики КНР XXI в.

Ключевые слова: административные реформы, модернизация, КНР, традиции

Для цитирования: Сущенко М.А. Основные этапы административных реформ КНР в 1982–2002 гг.: социокультурный аспект // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 244–252. doi: 10.17223/1998863X/80/22

Original article

THE MAIN STAGES OF ADMINISTRATIVE REFORMS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN 1982–2002: A SOCIO-CULTURAL ASPECT

Maxim A. Sushchenko

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russian Federation, spacemirror@mail.ru

Abstract. One of the key features of the political and administrative development of the People's Republic of China is the appeal of the Chinese authorities to the resource of national political traditions. China's public administration traditions are an integral part of its administrative culture. This phenomenon is understood in the article as a mechanism for consolidating, transferring and recreating in new socio-political conditions the national experience of public administration based on the structural components of political culture – norms, values and ideals of society reflected in the minds of public authorities, motivating their behavior and influencing the functioning of political institutions. The article defines two levels of administrative traditions – a complex of Legalist-Confucian ancient elements of political and cultural continuity and the revolutionary experience of administrative management in China in the second third of the 20th century. At the early stage of the transformation of the state administrative system (1982–1992), Chinese power traditions were actively functioning. The bureaucratic experience of imperial China began to be widely used. One of the key results of the early period was the strengthening of the power of the CPC. In the actions of the state, the influence of Chinese managerial traditions in economic activity and the rationalization of the administrative system was clearly traced. The authorities maintained the need for further political and administrative reforms. Therefore, Chinese administrative traditions were an effective way to transform the public administration system of the People's Republic of China. The policy of the authorities at the second stage of reforms (1992–2002) in relation to officials reproduced elements of the

national system of the bureaucracy, which meant, in fact, the further functioning of the bureaucratic tradition of selection and training of senior personnel, preserved from the ancient complex of Confucian norms. The leaders of the CPC began to use the value potential of Chinese spiritual culture for the purpose of moral re-education of party cadres and civil servants of the People's Republic of China. The influence of national traditions on administrative development was reflected in the form of socio-political experience of significant content preserved in the historical past and fixed in the political consciousness of ordinary citizens and representatives of elites. The political system, thanks to the administrative reform of 1982–2002, relying on the resources of Chinese traditional culture, acquired the qualities of greater manageability and efficiency. Favorable conditions have developed for the further modernization of the state and economy of the People's Republic of China with the variability of the external and internal environment of the 21st century – the volatility of the dynamics of economic growth, the threat of regional and global conflicts, pandemics and other challenges.

Keywords: administrative reforms, modernization, PRC, traditions

For citation: Sushchenko, M.A. (2024) The main stages of administrative reforms of the People's Republic of China in 1982–2002: A socio-cultural aspect. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 244–252. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/22

Административные реформы в современном Китае представляют собой разновидность политических преобразований. В науке КНР сложился подход к объяснению сущности национальных административных реформ. Согласно ему, цель реформ заключается в разрешении растущего противоречия между политической и экономической реальностью. Движущей силой реформ является политическая власть, мотивированная экономической необходимостью [1. Р. 112]. Административные реформы КНР – это цикл связанных друг с другом преобразований, затрагивающих всю систему государственного управления для обеспечения функционирования национальной модели экономического роста, повышения управляемости вертикали власти.

Китайские ученые отмечают существование административной культуры КНР в качестве специфической среды, складывающейся в публичной власти, что свидетельствует о продолжительном и систематическом характере реформ. Ву Аймин пишет о формировании административной культуры на основе китайских традиций. Ее структура включает в себя современные управленческие концепции, сознание, мышление, идеалы, этику, психологию, принципы, ценности и традиции [2. С. 232–234].

Под китайскими административными традициями в статье понимается механизм закрепления, передачи и воссоздания в новых общественно-политических условиях национального опыта государственного управления, основанного на нормах, ценностях и идеалах общества, отраженных в сознании субъектов публичной власти, мотивирующих их поведение и влияющих на функционирование всех политических институтов.

Китайские ученые рассматривают политические традиции как фактор административного развития и преемственности. Профессор Академии общественных наук Китая Син Гуанчэн отмечает, что среди особенностей китайской цивилизации прежде других выступает преемственность [3]. Чжоу Чжижэнь полагает, что результат реформ в области управления Китаем зависит от возможностей властей по достижению состояния баланса между экзогенными и эндогенными факторами государственного строительства – обще-

го политического положения и действующих в стране административных традиций [4. С. 544]. Поэтому традиция в Китае является тем не переменным фактором существования и развития китайского государства на протяжении пяти тысяч лет. Л.И. Кондрашова отмечает, что от исторического прошлого современный Китай заимствовал представления о необходимости централизованного начала в политической системе общества, иерархической государственной структуре, этических установках в управлении [5. С. 148].

В работах российских ученых не содержится однозначного ответа на вопрос о приоритетности влияния традиций двух уровней на административное развитие КНР, но подчеркивается нелинейность развития социокультурных импульсов и характер их влияния. И.Ю. Зуенко отмечает, что после образования КНР госуправление переживало влияние социокультурных импульсов преемственности. К ним относятся опыт СССР с его жесткой партократической централизацией и деятельность КПК во второй трети XX в. Автор пишет, что начиная с 1920-х гг. китайская власть дистанцировалась от излишнего развития властной вертикали и избыточной регламентации в рамках управленческого процесса [6. С. 60]. В.Ф. Бородич отмечает, что прерывание преемственности курса на дистанцирование от излишней централизации связано с развитием автократических тенденций во время культурной революции [7. С. 59–60].

Цель исследования заключается в выявлении роли политических традиций в административных реформах КНР с 1982 по 2002 г.

Проблема исследования. В период с 1982 по 2002 г. сложились институциональные условия для повышения эффективности деятельности партгосаппарата Китая. Благодаря административным реформам были обеспечены высокие темпы роста «социалистической рыночной экономики» в 1990–2000-х гг., устойчивость к мировому финансовому кризису с 2008 г., готовность власти к развитию очагов нестабильности в Сянгане к 2010-х гг., адаптивность государства и общества к глобальным эпидемиологическим вызовам 2020-х гг. Для административного реформирования в данный период властями КНР были задействованы ресурсы традиций. Политическая система приобрела качества лучшей функциональности, устойчивости и организованности в XXI в. Поэтому изучение опыта административных реформ 1982–2002 гг. с точки зрения социокультурного подхода необходимо для лучшего понимания сущности политического развития Китая в настоящем и будущем.

Научная новизна представленного исследования заключается в попытке обобщить работы ученых в рамках социокультурного подхода к исследованию проблемы административных реформ КНР.

В статье задействован ряд общенаучных и специальных методов научного познания. Одним из главных используемых подходов является взгляд Г. Алмонда и С. Вербы на сущность традиции как важного компонента политической культуры, сочетающегося с современностью [8. С. 126]. В аспекте применения неинституционального анализа политические традиции понимаются в качестве неформальных регуляторов, призванных структурировать и обеспечивать политическое развитие общества. Тем самым элементы политико-культурной преемственности понимаются одновременно как составляющие политической системы и фактор ее развития.

Традиции государственного управления в Китае

В статье целесообразно определить две группы традиций, действующих в процессе административного реформирования. Это комплекс легистско-конфуцианских элементов политико-культурной преемственности и революционный опыт административного управления Китая второй трети XX в. Функционирование всех политических традиций происходит согласованно с волей субъекта администрирования. Под их воздействием укрепляются властные полномочия элит и повышается эффективность власти.

Моноцентрическая властная традиция является одной из наиболее значимых, основана на монархических представлениях общества о государственном управлении. Ее действие связано с замыслом элит КНР, согласно которому государство должно иметь полный контроль над управлением экономической и политической жизнью страны, чтобы обеспечить устойчивое развитие [9].

Административные традиции, сложившиеся в XX в., изначально предполагали большие возможности проявления инициативы масс. Однако развившийся деспотизм в период культурной революции смог подавить импульс политического участия. С начала 1980-х гг. традиции используются властью для консолидации общества вокруг идей поддержки модернизации и укрепления позиций элит.

Революционные китайские традиции сложились вокруг деятельности КПК и проявляются в организации партийного централизма, что подтверждается выводами китайских ученых, изучающих историко-культурный контекст возникновения традиций. Чжан Синцзе отмечает в качестве основного источника происхождения традиций главные нормативно-правовые документы КНР. Автор выделяет традицию «беззаветного служения народу» как самую важную и главную, сложившуюся во время гражданской революционной войны и закрепленную в партийном Уставе [10. С. 320–321].

Традиции в административных реформах КНР 1982–2002 гг.

Критерий периодизации раннего этапа административных реформ КНР в статье обусловлен динамикой изменений приоритетов китайской власти. На раннем этапе, с 1982 по 1992 г., преобразования были направлены на развитие органов управления центрального и местного уровней. К рационализации административной системы руководством КНР был привлечен национальный опыт, в частности, бюрократические традиции императорского Китая. Восстановленная в 1988 г. традиция «экзаменов на чин» вновь стала широко применяться, и более миллиона человек прошли испытание на должности в правительственные учреждения всех уровней [11. С. 40].

Развитие низового уровня власти через разграничение полномочий исполнительных органов и партийных структур проходило под воздействием революционных традиций партии. Трансформация привела к оптимизации и общему укреплению вертикали. Китайские исследователи внимательно обращаются к заявлениям Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, которые стояли у истоков идеологии КПК, особенно относительно «линии народных масс» и идеи

демократического централизма, являющихся важнейшими партийными традициями, по мнению Ван Чуанчжи [12].

Трансформация системы госуправления привела к появлению потребности элит в укреплении легитимности для продолжения модернизационного курса. В силу данного обстоятельства для политики КПК было и является характерным применение управленческих традиций XX в. Реализация решений XIII съезда КПК в 1987 г. привела к воплощению стратегии развития «социалистической политической демократии». Ее суть была подробно раскрыта в выступлении Чжао Цзяна. Он подчеркнул, что основополагающие принципы диалога власти и общества заключаются в приверженности китайских коммунистов партийной традиции «слышать мнение народа и претворять решения партии в массы» [13. С. 59]. Китайское руководство 1980-х гг. признало партийный принцип «линии народных масс» одной из «славных революционных традиций» и провозгласило его в качестве эффективного механизма реализации генеральной линии партии.

Одним из ключевых результатов раннего периода было укрепление власти КПК. В действиях государства отчетливо прослеживалось влияние китайских управленческих традиций. Власть сохраняла потребность в дальнейшем политико-административном реформировании.

Второй этап реформ в КНР (1992–2002) начался после XIV съезда КПК в 1992 г. Китайские элиты стремились к социально-политической устойчивости для избегания повторения событий на площади Тяньаньмэнь. Другой особенностью была новая ориентация властей на строительство «социалистической рыночной экономики». Государственное обеспечение курса административных реформ на данном этапе также проходило под воздействием традиций. Создание и развитие «социалистической рыночной экономики» требовало большей оптимизации деятельности органов госвласти, улучшения профессионализма и компетентности бюрократии КНР.

В административной системе КНР продолжили функционировать бюрократические традиции императорского Китая. Положение Госсовета КНР «О государственной службе» обязывало сдавать соответствующие экзамены претендентов на замещение вакантных должностей. Государство усиливало борьбу с коррупцией и применяло правоохранные меры к недобросовестным госслужащим.

Благодаря данным инновациям к началу XXI в. в КНР сложилась система профессиональных испытаний. Одной из древнейших форм рекрутирования бюрократии на местах являлась ханьская практика «отбора и выдвижения чиновников (ча цзюй)», суть которой сводилась к приоритетному выбору чиновников посредством проверки их морально-нравственных качеств [14. С. 380].

О.Ю. Адамс пишет, что история развития экзаменационных испытаний для чиновников XX в. впитывала опыт административного строительства в течение столетия, включая практику времен Китайской республики по созданию экзаменационной палаты [15. С. 581]. А. Хугик отмечает, что в Китае 1990-х гг. была воссоздана специальная система конфуцианской меритократии, известная как «отбор и избрание». В рамках этой системы чиновники отбираются в конце процесса, включающего в себя проверки биографических

данных, опросы общественного мнения, оценку эффективности и личностных качеств [16. Р. 28].

Политика государственных органов в отношении госслужащих воспроизводила характеристики национальной системы управления, что проявлялось в функционировании конфуцианской бюрократической традиции. Экзамениционная система в 1990-е гг. начала применяться в управленческой структуре и не на руководящие должностные позиции в партии [17. С. 519–520].

Руководители КНР принимали меры с целью контроля за профессиональной деятельностью государственных служащих и членов КПК. В 1985 г. масштабы коррупции побудили власти ввести смертную казнь для недобросовестных чиновников и партийных функционеров. В результате этих усилий Китай ежегодно привлекал к ответственности почти 20 тыс. человек [18. Р. 82]. Как известно, правоохранные меры по борьбе с коррупцией в Китае в данное время не дали ожидаемых результатов. Поэтому власти КНР вынуждены были прибегнуть к традиционным для страны идеологическим средствам регулирования поведения партийных чиновников и госслужащих.

Одновременно в связи с превращением необоснованного обогащения бюрократии в системное явление возникла потребность властей улучшить морально-нравственный облик служащих партгосаппарата. Российские ученые подчеркивают влияние традиционных конфуцианских ценностей на систему управления Китая. Так, отмечается, что Цзян Цзэминь публично заявлял не только о необходимости воплощения в жизнь тезиса о «руководстве страной на основе закона» (и фа чжи го), но и традиционного нарратива – «управлять страной на основе добродетели» (и дэ чжи го). На XVI съезде КПК была презентована Программа укрепления норм гражданской морали. Она была основана на конфуцианских нормах и ценностях [19. С. 220–221]. Поэтому идеологические меры, регулирующие поведение элит на основе ресурсов духовной культуры, оказались серьезно востребованы властями КНР «третьего поколения».

Заключение

В период с 1982 по 2002 г. Китай осуществлял политико-административные реформы с целью создания благоприятных институциональных условий для дальнейшего развития экономики, укрепления социально-политической стабильности и властной вертикали. В аспекте первого этапа реформ под влиянием традиционного опыта китайского государства трансформировался низовой и центральный уровни госуправления. Традиции являлись анестезирующим средством, благодаря которому властям удалось добиться значительных темпов экономического роста при безопасном уровне социально-политической стабильности и устойчивости политического режима. Благодаря социокультурному воздействию политико-административная система приобрела качества лучшей управляемости и эффективности. Сложились благоприятные условия для дальнейшей модернизации КНР при изменчивости внешней и внутренней среды XXI в. – непостоянства динамики экономического роста, угрозы региональных и глобальных конфликтов, пандемии и других вызовов.

Список источников

1. *Qun Wang*. Administrative Reform in China: Past, Present, and Future // *Journal of Southeast Asian Studies*. 2010. № 32. P. 100–119.
2. Ву Аймин [吴爱明]. Чжэн фу гай гэ: Чжунго син, чжэн гай гэ мо ши ю цзин янь [政府改革-中国行政改革模式与经验, Правительственная реформа – модель и опыт административной реформы в Китае]. Бэй цзин: Синь хуа чубаньшэ [北京 新华出版社, Пекин : Изд-во Синьхуа], 2010. 262 с.
3. Ученый перечислил пять особенностей китайской цивилизации // Парламентская газета – издание Федерального собрания Российской Федерации. 24.07.2023. URL: <https://www.rnp.ru/in-world/uchenyy-perechislil-pyat-osobennostey-kitayskoy-civilizacii.htm> (дата обращения: 03.03.2024).
4. Чжоу Чжижэнь [周志忍]. Данг дай го вай син чжэн гай гэ би цзюэ янь цзю [当代国外行政改革比较研究, Сравнительное исследование современной зарубежной административной реформы]. Beijing : guo jia xing zheng xue yuan chu ban she [国家行政学院出版社, Пекин : Изд-во Национальной академии управления], 1999. 592 с.
5. Кондрашова Л.И. Китай: к новой модели общественного развития. М. : Форум, 2017. 336 с.
6. Зуенко И.Ю., Сельцер Д.Г. «Кадры решают всё»: реформа кадровой системы КНР на рубеже 1980–1990-х годов // *Известия Восточного института*. 2022. № 1(53). С. 58–69.
7. Бородин В.Ф. Системы государственного администрирования КНР в активной фазе «культурной революции» (1966–1969 гг.) // *Восточная Азия: факты и аналитика*, 2021. № 2. С. 58–65.
8. Алмонд Г.А. Гражданская культура (Подход к изучению политической культуры) (I) // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз* (Журнал политической философии и социологии политики). 2010. № 2 (57). С. 122–144.
9. Супатаев М.А. Право в условиях модернизации в Китае: цивилизационный контекст / Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН). 20.10.2011. URL: <http://igpran.ru/articles/2960/> (дата обращения: 19.08.2023).
10. Чжан Синцзе [张兴杰]. Синчжэн гуаньлисюэ [行政管理学, Административное управление]. Чжунго ие дасюэ чубаньшэ [中国农业大学出版社, Китайский университет швейной промышленности], 2004. 665 с.
11. Гудошников Л. Реформирование системы государственного управления в КНР // *Проблемы Дальнего Востока*. 2006. № 4. С. 36–44.
12. *Wang Chuanzhi*. Democratic Centralism: The Core Mechanism in China's Political System // *English Edition of Qiushi Journal*. October 1, 2013. Vol. 5, № 4. URL: http://english.qstheory.cn/magazine/201304/201311/t20131107_288066.htm (accessed: 22.05.2023).
13. Чжао Цзыян. Документы XIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая : пер. с кит. Пекин : Изд-во литературы на иностранных языках, 1988. 262 с.
14. Баргачева В.Н. Система отбора чиновников и развитие конфуцианских социально-этических воззрений // *История Китая с древнейших времен до начала XXI века* : в 10 т. / гл. ред. акад. РАН С.Л. Тихвинский ; Институт Дальнего Востока РАН. Т. III: Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220–907) / отв. ред. И.Ф. Попова, М.Е. Кравцова ; Ин-т восточных рукописей РАН. М. : Наука, 2014. С. 379–390.
15. Адамс О.Ю. Экзаменационная система КНР // *Современное китайское государство*. М. : Российская академия наук, 2022. Т. 1. 904 с.
16. *Hugvik A.* Leadership Theories and Defense Reform in the People's Republic of China // *The Quarterly Journal*. 2022. Vol. 21. P. 25–44.
17. Смирнов Д.А. Система государственной службы // *История Китая с древнейших времен до начала XXI века* : в 10 т. / гл. ред. акад. РАН С.Л. Тихвинский ; Институт Дальнего Востока РАН. Т. IX: Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М. : Наука, 2016. С. 519–521.
18. *Yijia Jing, Zijuan Zhang*. 'Continuity versus change: Evolving trajectories of Chinese public administration' // *Public Administration Issue*. 2023. № 6 (electronic edition). P. 70–83.
19. Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР / фак. мировой политики Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова ; Ин-т проблем международной безопасности РАН. М. : [Изд-во ЛКИ], 2007. 250 с.

References

1. Qun Wang. (2010) Administrative Reform in China: Past, Present, and Future. *Journal of Southeast Asian Studies*. 32. pp. 100–119.
2. Wu Aiming [吴爱明]. (2010) *Zheng fu gai ge: Zhongguo xing, zheng gai ge mo shi yu jing yan* [政府改革-中国行政改革模式与经验, Government reform – the model and experience of administrative reform in China]. Beijing: Xin hua [北京新华出版社].
3. Russian Federation. (2023) Uchenyy perechislil pyat' osobennostey kitayskoy tsivilizatsii [A scientist listed five features of Chinese civilization]. *Parlamentskaya gazeta*. 24th July. [Online] Available from: <https://www.pnp.ru/in-world/uchenyy-perechislil-pyat-osobennostey-kitayskoy-civilizacii.htm> (Accessed: 3rd March 2024).
4. Zhou Zhiren [周志忍]. (1999) *当代国外行政改革比较研究* [Comparative Study of Contemporary Overseas Administrative Reform]. Beijing: National Academy of Management.
5. Kondrashova, L.I. (2017) *Kitay: k novoy modeli obshchestvennogo razvitiya* [China: Towards a New Model of Social Development]. Moscow: Forum.
6. Zuenko, I.Yu. & Seltser, D.G. (2022) “Kadry reshayut vse”: reforma kadrovoy sistemy KNR na rubezhe 1980–1990-kh godov [“Personnel decide everything”: The reform of the personnel system of the PRC at the turn of the 1990s]. *Izvestiya Vostochnogo instituta*. 1(53). pp. 58–69.
7. Borodich, V.F. (2021) Sistemy gosudarstvennogo administrirovaniya KNR v aktivnoy faze “kul'turnoy revolyutsii” (1966–1969 gg.) [Systems of public administration of the PRC in the active phase of the “cultural revolution” (1966–1969)]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika*. 2. pp. 58–65.
8. Almond, G.A. (2010) Grazhdanskaya kul'tura (Podkhod k izucheniyu politicheskoy kul'tury) (I) [Civic culture (An approach to the study of political culture) (I)]. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz*. 2(57). pp. 122–144.
9. Supataev, M.A. (2011) *Pravo v usloviyakh modernizatsii v Kitae: tsivilizatsionnyy kontekst* [Law in conditions of modernization in China: A civilizational context]. [Online] Available from: <http://igpran.ru/articles/2960/> (Accessed: 19th August 2023).
10. Zhang Xingjie [张兴杰]. (2004) *行政管理学* [Administrative Management].中国农业大学出版社.
11. Gudoshnikov, L. (2006) Reformirovanie sistemy gosudarstvennogo upravleniya v KNR [Reforming the system public administration in the PRC]. *Problemy Dal'nego Vostoka*. 4. pp. 36–44.
12. Wang Chuanzhi. (2013) Democratic Centralism: The Core Mechanism in China's Political System. *English Edition of Qiushi Journal*. 5(4). [Online] Available from: http://english.qstheory.cn/magazine/201304/201311/t20131107_288066.htm (Accessed: 22nd May 2023).
13. Zhao Ziyang. (1988) *Dokumenty XIII Vsekitayskogo s'ezda Kommunisticheskoy partii Kitaya* [Documents of the 13th National Congress of the Communist Party of China]. Translated from Chinese. Beijing: Publishing House of Literature in Foreign Languages.
14. Bargacheva, V.N. (2014) Sistema otbora chinovnikov i razvitie konfutsianskikh sotsial'no-eticheskikh vozzreniy [The system of selection of officials and the development of Confucian socio-ethical views]. In: Tikhvinskiy, S.L. (ed.) *Istoriya Kitaya s drevneyshikh vremen do nachala XXI veka* [History of China from Ancient Times to the Early 21st Century]. Vol. 3. Moscow: Nauka. pp. 379–390.
15. Adams, O.Yu. (2022) Ekzamenatsionnaya sistema KNR [Examination system of the PRC]. In: *Sovremennoe kitayskoe gosudarstvo* [The Modern Chinese State]. Vol. 1. Moscow: Russian Academy of Sciences.
16. Hugiyk, A. (2022) Leadership Theories and Defense Reform in the People's Republic of China. *The Quarterly Journal*. 21. pp. 25–44.
17. Smirnov, D.A. (2016) Sistema gosudarstvennoy sluzhby [The Civil Service System]. In: Tikhvinskiy, S.L. (ed.) *Istoriya Kitaya s drevneyshikh vremen do nachala XXI veka* [History of China from Ancient Times to the Early 21st Century]. Vol. 3. Moscow: Nauka. pp. 519–521.
18. Yijia Jing & Zijuan Zhang. (2023) Continuity versus change: Evolving trajectories of Chinese public administration. *Public Administration Issue*. 6. pp. 70–83.
19. Perelomov, L.S. (2007) *Konfutsianstvo i sovremennyy strategicheskiy kurs KNR* [Confucianism and the Modern Strategic Course of the PRC]. Moscow: LKI.

Сведения об авторе:

Сущенко М.А. – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры истории и политологии Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина (Краснодар, Россия). E-mail: spacemirror@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Sushchenko M.A. – Cand. Sci. (Political Science), senior lecturer at the Department of History and Political Science, Kuban State Agrarian University (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: spacemirror@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 22.10.2023;
одобрена после рецензирования 23.07.2024; принята к публикации 12.08.2024
The article was submitted 22.10.2023;
approved after reviewing 23.07.2024; accepted for publication 12.08.2024*

Научная статья

УДК 327

doi: 10.17223/1998863X/80/23

Original article

RUSSIA–IRAN SECURITY RELATIONS AND MILITARY COOPERATION AS A COUNTERBALANCE TO WESTERN HEGEMONY

Saeed Khavarinejad

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, azadazadazadi@yahoo.com

Abstract. The dynamic between Russia and the West, specifically the United States and the European Union, has seen significant changes in the past three decades, resulting in notable impacts on the international system. Russia's revisionist response to Western hegemony in key sectors involves leveraging friendly states like Iran to counterbalance Moscow's perceived threats. This essay examines Russia and Iran's security and military cooperation as a means of resisting the perceived threat of Western hegemony in vital regions for these two countries. By researching Russia and Iran's security and military relationships, the author examines Iran's engagement in Russia's revisionist policies regarding Western dominance, particularly the United States, in areas of mutual interest for Moscow and Tehran. The author employed an explanatory design, a post-positivism paradigm, and a deductive approach, followed by an archival study strategy, to investigate qualitative and secondary data related to security and military cooperation between Russia and Iran in the Middle East and Eastern Europe over a cross-sectional time frame. To analyze various parts of the research hypothesis, the author based his research on the premises of the structural realist theory of balance of threat. The research purpose was aligned with the statistical population—cases of cooperation in Nagorno-Karabakh, Tajikistan, Afghanistan, Syria, and Ukraine—which allows for purposive non-probability sampling and limits the sample size to two instances of cooperation in Syria and Ukraine. The evidence examined in the present research validated the influence of four key factors on Russia's response to perceived threats from Western hegemony in the Middle East and Eastern Europe, namely aggregate power, offensive power, proximate power, and offensive intentions, as outlined in Stephen Walt's balance of threat theory in 1987. This study confirmed the hypothesis that there is a relationship between Russia's threat perception toward the West and security relations and military cooperation between Russia and Iran by analyzing operationalized variables and comparing research findings with the propositions of the chosen theory. The relationship is becoming increasingly strong, according to the evidence as predicted by its theoretical basis. Finally, the author concludes that Iran offers Russia a viable prospect for security and military cooperation. This cooperation helps Russia oppose Western hegemony in the Middle East and Eastern Europe, fitting with Russia's revisionist position against Western domination. Russia and Iran have intensified their relations, notably in the sphere of security, as a result of common beliefs, a firm resolve to maintain supremacy, and a sense of isolation from the rest of the world.

Keywords: Russia, Iran, military, cooperation, West

For citation: Khavarinejad, S. (2024) Russia–Iran security relations and military cooperation as a counterbalance to western hegemony. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 253–264. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/23

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ИРАНА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ПРОТИВОВЕС ЗАПАДНОЙ ГЕГЕМОНИИ

Саяед Хаваринеяд

Томский государственный университет, Томск, Россия, azadazadazadi@yahoo.com

Аннотация. Рассматривается взаимосвязь между восприятием Западом России как угрозы и военным сотрудничеством России и Ирана в области безопасности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе в 2015–2023 гг. Теоретическую основу статьи составляет теория баланса угроз, предложенная Стивенем Уолтом (1987). Делается вывод о том, что Иран представляет собой реальную возможность для России противодействовать гегемонии Запада.

Ключевые слова: Россия, Иран, Запад, вооруженные силы, сотрудничество

Для цитирования: Хаваринеяд С. Отношения России и Ирана в сфере безопасности и военное сотрудничество как противовес западной гегемонии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 253–264. doi: 10.17223/1998863X/80/23

Introduction

As Western intervention and aggression against Russian interests escalated, the Kremlin realized that a purely defensive strategy would not suffice for stability and security; active measures were necessary. The Russian government's military actions in response to perceived Western threats signified a significant shift in Russia's relationship with Western states, particularly the United States and the European Union. Iran became a focal point for Russia during its revisionist challenge to Western hegemony in international affairs. Russia's recognition of Iran's importance, aligned with its anti-Western stance, has far-reaching implications deserving further investigation.

The author aims to analyze the security and military collaboration between Russia and Iran as a means of countering the perceived threat of Western hegemony in the regions that are critical for these two states. The present research addresses the central question: Does the perception of threat by Russia towards the West impact the security relations and military cooperation between Russia and Iran? The research investigates the specific role that Iran plays in Russia's revisionist policy against Western hegemony. Additionally, it seeks to examine the vectors and purposes of the security cooperation between these two states.

The research topic holds significant theoretical importance due to the paradigm shift in Russia–West relations. The geopolitical implications of Russia and Iran's security relations and military cooperation for regional and international security are among the significant aspects of this topic. The present work's relevance lies in Russia and Iran's aim to uphold the current governing regime in Syria by counteracting the influence of the Western-supported Arab Spring movement in the Middle East. Additionally, it affects the political landscape of Eastern Europe, both of which are crucial outcomes. These matters are significant for both political and military leaders, as well as for students, professors, and researchers in the fields of political sciences, international relations, and political geography.

The novelty of this research lies in its examination of the relationship between Russia and Iran in the realm of security based on Stephen Walt's balance of threat

theory. At the same time, previous studies have yet to establish a clear theoretical framework to justify and elucidate Russia–Iran collaborations. The research contributes to existing knowledge by increasing the analytical information about the research subject.

The temporal scope of the research is a decade that encompasses interactions between Russia and Iran, 2015 to the present. While the spatial scope focuses on their interactions in the Middle East and Eastern Europe, the thematic scope is the security relations and military cooperation between Russia and Iran.

Research Background

The current crisis in US–Russia ties involves comprehensive confrontation across all domains, hindering collaboration in various fields [1]. While Washington aims to maintain U.S.-led dominance rooted in Western liberal principles, as Lukin argued [2], Moscow advocates for a multipolar global order based on the balance of power, Westphalian sovereignty, and diverse values. NATO remains a significant threat to Russia’s national security [3]. Additionally, Russia perceives Western efforts to expand its cultural, economic, and political dominance in Eurasia through alliance expansion. Fundamental disagreements over international law and norms drive the conflict between the United States and Russia [4].

Most recent scholarly works on this research topic have focused on analyzing the influence of two significant events in Syria and Ukraine on the magnitude and intensity of these relationships. For instance, Azizi [5] argues that Russia and Iran have three groups of shared, parallel, and contradictory Middle Eastern interests. Russia’s arrival in Ukraine has sparked unprecedented military cooperation, highlighting their shared interests. Beznosova and Likhachev assert that the Ukrainian issue and the resulting sanctions placed on Russia by the West are the primary factors influencing the evolution of Russia–Iran ties [6]. Russia–Iran strategic cooperation is centered in Syria, according to Tan and German [7], who stated that Moscow and Tehran saw a Western challenge.

The impact of the United States and Western countries on the trajectory of collaboration between Russia and Iran has garnered significant attention from researchers. Güneylioglu [8] emphasizes Russia’s pragmatic cooperation with regional states like Iran as a balancing strategy against the United States. Bukhari [9] notes that Russia and Iran share security challenges due to the U.S. presence in the Middle East and U.S. sanctions but cooperate in areas of mutual understanding. Shoori [10] states that Russia and Iran should work together in the Middle East. Iran sought a strategic partnership with Russia to resist U.S. hegemony, according to Pambukhchyan [11].

Theoretical Framework

The theory of defensive realism and the views of one of its most prominent exponents, Stephen Walt, who proposes the “balance of threat” theory, has been chosen as the theoretical basis of this study. According to the balance of threat logic, the threat to state security comes first, followed by a counterbalancing response [12. P. 45].

The balance of threat notion introduced by Stephen Walt posits that “aggressive states are likely to provoke others to balance” [13. P. 11–12]. Walt emphasizes the significance of the balance of threat rather than the balance of power. In other words,

what matters in the relationship between states is their views of each other as a threat, not their respective levels of power. States balance against those who pose an immediate danger to the existence or interests of other states.

States equate perceived threats to their security and strive to balance this through international relations. Walt contends that nations take action to resist security concerns, with the threat level defined by four qualities of a potential competitor state: aggregate power, offensive power, proximate power, and offensive intentions [14. P. 22–25].

Hypothesis, Variables, and Definitions

The article examines the hypothesis that a relationship exists between Russia's threat perception toward the West and the security relations and military cooperation between Russia and Iran. The independent variable in this research is Russia's threat perception of the West, while the dependent variable is characterized as security relations and military cooperation between Russia and Iran.

To make the independent variable measurable, we can make the perception of the threat by Russian political and military authorities operational by analyzing 1) the risk of extremism and terrorism in the Middle East and its potential spread to the southern Muslim regions of Russia due to direct or indirect instigation or hidden backing from Western powers; 2) color revolutions and the alteration of political regimes that are supportive and aligned with Moscow; and 3) the military danger arising from NATO's proximity to Russian borders.

This research considers several factors to measure the cooperation between Russia and Iran, the dependent variable in the current hypothesis. These factors include 1) establishing stability and resolving conflicts between states; 2) addressing extremism and terrorism; 3) countering Western-supported revolutions and social movements; 4) managing threats posed by external forces through the creation of buffer zones; 5) exchanging information; 6) utilizing each other's military resources; and 7) engaging in the trade of military weapons.

Methodology

The research's design is explanatory, aiming to generate hypotheses from existing literature and theories. Additionally, it seeks to investigate the relationship between research variables. The research adopts the philosophy of post-positivism, which significantly influences approaches in social research. The author utilizes a deductive approach, starting with the formulation of hypotheses based on known theory, followed by developing a research method to examine the hypothesis. The research strategy relies on case study over a cross-sectional time horizon.

Method

This research uses qualitative secondary data about Russia's threat perception and security relationship between Moscow and Tehran. By employing the method of library research and focusing on a traditional literature review to gather pre-existing data, five cases of cooperation between Russia and Iran in Nagorno-Karabakh, Tajikistan, Afghanistan, Syria, and Ukraine are identified, which allow for purposive nonprobability sampling to restrict the sample size to two recent cases of military cooperation in Syria and Ukraine.

Results

Understanding Russian Threat Perception through Exploring Official Documents

The Russian Federation's perspective on various threats in the international system has been presented in official documents, including five National Security Strategies (1997, 2000, 2009, 2015, and 2021); six Foreign Policy Concepts (1993, 2000, 2008, 2013, 2016, and 2023); Military Doctrines (1993, 2000, 2010, 2014); and other high-level documents (e.g., the 2016 Information Security Doctrine, the 2017 Naval Strategy, as well as the 2020 Principles of Nuclear Deterrence Strategy).

The fundamental shift in Russia's approach toward the collective West is best observed in documents such as the National Security Strategies of 2015 [15] and 2021 [16], and the Foreign Policy Concepts of 2016 [17] and 2023 [18].

These four documents outline the Western threats of consolidated power against Russia, which include the U.S. [18. P. 10, 38] and Western [16. P. 3; 17. P. 1] hegemonic ambitions and global domination; the geopolitical expansion of NATO and the EU [17. P. 25]; the U.S. extraterritorial jurisdiction [17. P. 28]; and NATO's military build-up, endowing it with global functions and expanding alliances [15. P. 4, 37–38].

According to these four strategies and concepts, the threats of the Western proximate power against Russia include NATO's military infrastructure build-up [15. P. 4, 37–38; 16. P. 11; 17. P. 27] and the U.S. expansion of military-biological laboratories near Russia's borders [15. P. 6]; an increased tension near Russia to destroy its ties with its allies [15. P. 5; 16. P. 5; 18. P. 30, 37]; and the developing militarization and arms race near Russia [15. P. 4].

The threats of Western offensive power to the Russian Federation include the pursuit of an aggressive policy toward Russia [18. P. 37]; the U.S. active attack on Russia's traditional spiritual, moral, cultural, and historical values [16. P. 6, 35] and the Westernization of Russian culture [16. P. 35]; and the deployment of U.S. missiles [17. P. 29] in Europe and the Asia-Pacific region [16. P. 12].

The offensive intentions of the West against Russia encompass the U.S. anti-Russian hybrid war [18. P. 5], damaging Russia's power and sovereignty and violating its territorial integrity [18. P. 5, 37], to impose neoliberal ideological views [18. P. 11]. The U.S. role in anti-Russian policies hinders the normalization of relations between Russia and European states [18. P. 38], isolates Russia [16. P. 5], rehabilitates fascism, destroys Russia's internal unity, and inspires and radicalizes the protest movement by the West [16. P. 6]. Lastly, the U.S. containment policy against Russia [15. P. 4; 17. P. 25] and its support for the coup d'état in Ukraine and to far-right nationalist ideology; the demonizing of Russia in Ukraine [15. P. 5]; and the emergence of the terrorist Islamic State due to duplicity in the fight against terrorism [15. P. 5–6], are also seen as significant threats by Russians.

In response to these four categories of Russia's perceived threats, Moscow has utilized Iran's military capabilities to show reaction to the West's hostile actions in Syria and Ukraine.

Saving Syria as the Culmination of Security and Military Cooperation

One of the regional topics on which Iran and Moscow agree is the need to combat Sunni extremism and jihadist terrorism. Since 2015, this problem has been a critical component of Iran–Russia regional cooperation, as seen by their cooperative operations in Syria against the Islamic State and other extremist organizations [19]. Because of a sizable Muslim population in Russia’s southern republics and the possibility of revolt against Russian control in these areas, Russia, though predominantly Christian, has worked closely with Shia Iran to combat Islamic extremism [20].

Moscow believes Iran’s involvement is essential for a lasting solution in Syria [21]. Russia sees Iran as a significant player in Middle East security due to its regional position and influence. Amid fears of Western dominance post-Arab uprisings, Moscow and Iran share a common interest in retaining al-Assad’s power in Damascus [7].

Russia’s 2015 Middle East activities reflect Primakov’s theory of promoting a multipolar world to balance U.S. unilateralism, with Russia leading international integration [22]. Russia’s strategy in Syria aims to further its objectives in Syria’s complex war, enhance its regional position in the Middle East [23], and contribute to a developing global order.

Iran and Iraq have granted Moscow permission to use their airspace for missile strikes in Syria, and Russia’s use of an Iranian air base to attack targets across Syria is a significant new milestone in the history of Russian–Iranian relations [24].

Despite differences, Iran and Russia can enhance security ties, maintain cooperation, and work toward regional stability and counterterrorism [25]. The partnership in Syria is a crucial example of Iran–Russia cooperation. Their joint military support for Syria signifies a new era in their relations, marking the first time they have formed a coalition to secure shared Middle East interests [5. P. 2, 4].

Ukraine as a New Area of Military Cooperation

Russia refers to the U.S. destabilizing role as a source of threat against Russian interests in Eastern Europe, particularly Ukraine, which, as Marples [26] argued, is the immediate focus of Russia’s broader aims. It claims that the United States and its satellite states have exploited Russia’s activities in Ukraine to defend its interests as a reason to launch anti-Russian measures and a new hybrid war against Moscow [18. P. 5].

Iranian leaders leveraged the escalating Russia–West conflict to strengthen Kremlin ties, endorsing Russia’s narrative and blaming the West for the crisis [27]. Iran attributes the Ukraine situation to NATO’s Eastern Europe expansion. Facing new Western sanctions due to its Ukraine military presence, Moscow sought alternative allies among anti-Western countries to bypass trade restrictions [28], with Iran emerging as a promising partner.

The majority of the military cooperation between these two states comprises the sale of kamikaze drones and missiles. Iran’s weaponry can strategically affect regional and international security and successfully shift the international geopolitical balance [29, 30].

Iran has positioned itself as a weapons supplier to one of the world's military giants, i.e., Russia, because of a convergence of recent developments and long-standing trends in its strategic and military policy [31].

Hypothesis Evaluation

Russia's sense of danger from the spread of terrorism into its southern and eastern borders is related to all four defining components of the threat in the balance of threat theory. On the other hand, Moscow's allegations about anti-Russian operations by militia groups in Ukraine, which the Kremlin identifies as neo-Nazis in its official narrative, are deemed examples of all four defining components of threat in Walt's balance of threat theory.

Western influence in the form of color revolutions and the toppling Russian-friendly political regimes in Central Asia and Eastern Europe is also tied to all four threat components. These revolutions occurred in countries allied or friendly to Russia, including Georgia (2003), Ukraine (2004), Kyrgyzstan (2005 and 2010), and Moldova (2009) [32].

The reduction in Russia's defensive capacity and the shrinking of the space separating it from the West due to NATO's proximity to Russia's borders, the deployment of military equipment, and the heightened security presence of Western forces in strategically important areas for Moscow are all interconnected with the four threat components in the balance of threat theory. Several occasions of inclusion of European countries in NATO in 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023, and 2024 [33] signify its ongoing expansion toward Russia's borders.

The empirical evidence presented above validates the influence of the balance of threat theory's four critical factors of aggregate power, offensive power, proximate power, and offensive intentions on Russia's perceived threats from Western hegemony (independent variable) in the Middle East and Eastern Europe.

Other empirical evidence also indicates the growing security relations and military cooperation between Russia and Iran, which are related to the operational definition of the dependent variable.

In the 1990s, Russia and Iran worked together in Nagorno-Karabakh, Tajikistan, and Afghanistan to manage inter- and intra-state conflicts [8]. They focused on preventing the spread of Islamist terrorism and the rise of jihadist groups, especially in Afghanistan, acknowledging it as a mutual threat. Russia and Iran have collaborated to counteract U.S. dominance in the Middle East [9] and Eastern Europe, viewing it as a response to Western threats. They have worked to diminish the influence of the Islamic State and neutralize the Arab Spring movement [34], seeing these events as Western attempts to destabilize their allied states [34]. Notable instances of military collaboration include Russia's use of the Nojeh airbase in Iran [35], missile launches from Russia's Caspian Sea fleet [36], and the exchange of drones and missile technology [37].

By analyzing operationalized variables and comparing research findings with the propositions of the selected theory, this research confirms the hypothesis that there is a relationship between Russia's threat perception towards the West and the security relations and military cooperation between Russia and Iran. This relationship is direct, and with the escalation of Russia's perceived threats from the West, security cooperation between Russia and Iran increases.

Discussion

Based on the analysis of the collected data, specifically the relationship between Russia and Iran in Syria and Ukraine, it is evident that the balance of threat theory effectively explains Russia's actions. This argument is consistent with the findings of Maitra [38]. The existence of competing political and security interests between Russia and the West has caused Moscow to feel threatened by the West's unilateral activities in Moscow's Near Abroad. This has been confirmed by what Kerrane [39] stated about Russian insecurities and fear of Western influence in the Near Abroad as the primary motivator of its actions.

This research examined the origins and historical trajectory of the security and military cooperation between Russia and Iran to address questions on the nature and purposes of this collaboration. The answer is affirmative regarding whether there is a relationship between Russia's perception of threat toward the West and the security relations and military cooperation between Russia and Iran. It is consistent with the findings of Beznosova and Likhachev [6] and Sadegi [40].

Regarding Iran's role in Russia's revisionist policy against Western hegemony, this research states that Russia has utilized Iran's regional alliance to address dangers that directly or indirectly impact Moscow's security. Omid [41] and Grajewski [42] previously found this in their research.

The security cooperation between Russia and Iran is focused on addressing shared threats such as terrorism (confirmed by Jabbarinasir [20] and Sadegi [40]), the presence of hostile states nearby (verified in research by Bukhari [9]), color revolutions (Minkina and Kaszuba [43]), and regime changes in the region (Yaşar and Doğan [44]). The primary goal of this security cooperation is to counter the influence of the United States in the Middle East (confirmed by Pirmoun Sharifabad's findings [21]) and limit the power of the West, particularly NATO, in Eastern Europe (Ponomarenko, Tavberidze, and Maximova).

Conclusion

Russia and Iran have increased their contacts, particularly in the area of security, due to a combination of shared principles, a solid determination to retain their world dominance, and a feeling of isolation from the world. Russia–Iran security cooperation is a means for Russia to oppose Western hegemony in critical regions crucial for the national security of Russia and Iran, namely the Middle East and Eastern Europe. Iran presents a feasible opportunity for Russia to collaborate in security and military matters.

The discernible pattern in security relations and military cooperation between Moscow and Tehran can be summarized as follows. During the 1990s, Russia and Iran restricted security cooperation to the regions of Nagorno-Karabakh, Tajikistan, and Afghanistan. Most of the collaboration was centered around establishing regional stability, resolving conflicts between states, and addressing the issues of terrorism and extremism in the South Caucasus and Central Asia. However, in the mid-2010s, a new phase of collaboration emerged between Russia and Iran. This cooperation occurred in Syria and later expanded to Ukraine between 2022 and 2023. Russia's growing threat perception toward the West was the driving force behind this shift. As a result, the military relations between Russia and Iran transitioned from a model of limited cooperation in the South Caucasus and

Central Asia during the 1990s to more extensive cooperation in the Middle East and Eastern Europe to counter threats conceived as Western plots against their interests and security.

References

1. Sushentsov, A. & Suchkov, M. (2018) The nature of the modern crisis in U.S.-Russia relations. *Russia in Global Affairs*. 16. pp. 122–140.
2. Lukin, A. (2018) Russia and the United States in the Asia Pacific: A Perspective of the English School. *Asian Perspective*. 42. pp. 307–331.
3. Tsygankov, A.P. (2018) The sources of Russia's fear of NATO. *Communist and Post-communist Studies*. 51. pp. 101–111.
4. Suslov, D. (2016) US–Russia confrontation and a new global balance. *Strategic Analysis*. 40. pp. 547–560.
5. Azizi, H. (n.d.) *Close but complicated: Iran-Russia relations in the Middle East amid the war in Ukraine*. [Online] Available from: <https://library.fes.de/pdf-files/international/20084.pdf> (Accessed: 2nd November 2023).
6. Beznosova, M.I. & Likhachev, K.A. (2023) Russian-Iranian relations at the present stage: Prospects and potential risks. *Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political Science. International Relations*. 7(1). pp. 88–96.
7. Tan, T. & German, M. (2021) Russian-Iranian strategic partnership in Syria: Converging interests but diverging goals. *Open Journal of Political Science*. 12(1). pp. 1–13.
8. Güneylioglu, M. (2023) The Russia-Iran alignment in the Middle East: The main dynamics and limits of the bilateral security cooperation. *Akdeniz İİBF Dergisi*. 23(1). pp. 50–62.
9. Bukhari, S.W.H. (2021) Changing dynamics in old rivalry: Russia Iran revitalization and US interests in Middle East. *Journal of Social Research Development*. 2(2). pp. 129–140.
10. Shoori, M. (2016) *Iranian and Russian views on the situation in the Middle East: How do we see the future of the region?* Russian International Affairs Council and Institute for Iran-Eurasia Studies.
11. Pambukhchyan, A. (2012) *Asserting an identity: Explaining paradox of “strategic partnership” between Iran and Russia*. Master of Art Thesis.
12. Person, R. (2017) Balance of threat: The domestic insecurity of Vladimir Putin. *Journal of Eurasian Studies*. 8(1). pp. 44–59.
13. Walt, S.M. (1985) Alliance formation and the balance of world power. *International Security*. 9. pp. 3–43.
14. Walt, S.M. (1990) *The Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press.
15. Russian Federation. (2015) *Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 31.12.2015 g. № 683 o strategii natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii* [Decree No. 683 of the President of the Russian Federation of December 31, 2015, on national security strategy of the Russian Federation]. [Online] Available from: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf> (Accessed: 5th December 2024).
16. Russian Federation. (2023) *Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 31.03.2023 g. № 229 ob utverzhdenii Kontseptsii vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii* [Decree No. 229 of the President of the Russian Federation of March 31, 2023, on approval of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation]. [Online] Available from: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/49090> (Accessed: 13th May 2024).
17. Russian Federation. (2016) *Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 30.11.2016 g. № 640 ob utverzhdenii Kontseptsii vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii* [Decree No. 640 of the President of the Russian Federation of November 30, 2016, on approval of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation]. [Online] Available from: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010045.pdf> (Accessed: 14th May 2024).
18. Kozhanov, N. (2017) Russian-Iranian relations through the prism of the Syrian crisis. *Insight Turkey*. 19(4). pp. 105–124.
19. Jabbarinasir, H. (2023) Cooperation between Iran and Russia in the fight against international terrorism: The current state, opportunities and prospects. *World Economy and International Relations*. 67(1). pp. 90–100.
20. Piramoun Sharifabad, R. (2020) A Research into Iran-Russia cooperation during the Syrian crisis. *International Journal of Political Science*. 6(2). pp. 1–11.
21. Bekcan, U. & Uz Hançarlı, P. (2020) Lending an “Old Friend” a Hand: Why Does Russia Back Syria? In: Amour, P.O. (ed.) *Regional Order in the Gulf Region and the Middle East*. Springer.

22. Ploom, I., Sazonov, V.Y. & Veebel, V. (2020) Russia's pursuit of power in the Middle East: context, strategy and methods. *Estonian Journal of Military Studies*. 13. pp. 11–45.
23. Kalamar, K. (2021) Russia's gambit in the Syria conflict. *Pathways to Peace and Security*. 1. pp. 211–213.
24. Karami, J. (2022) Iran-Russia Strategic Partnership at the New Stage: What could we Propose to each other? In: Ivanov, I. (ed.) *Russia-Iran Partnership: An Overview and Prospects for the Future*. Moscow: RAS. pp. 22–81.
25. Marples, D.R. (2022) Russia's war goals in Ukraine. *Canadian Slavonic Papers*. 64(2–3). pp. 207–219.
26. Gasparetto, A. (2018) Iranian–Turkish relations in a changing Middle East. *International Studies, Interdisciplinary Political and Cultural Journal*. 21(1). pp. 83–98.
27. Krivogouz, M. (2023) The EAEU: difficult search for new partners and new markets. *Russia and New States of Eurasia*. 58(1). pp. 9–21.
28. Eslami, M. (2022) Iran's drone supply to Russia and changing dynamics of the Ukraine war. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. 5(2). pp. 507–518.
29. Prasad Singh, H. (2022) Artificial intelligence affecting strategic stability. *International Journal of Advanced Research*. 10(3). pp. 01–04.
30. Eslami, M. & Vieira, A.V.G. (2022) Shi'a principles and Iran's strategic culture towards ballistic missile deployment. *International Affairs*. 98(2). pp. 675–688.
31. Askerbek, A.A. (2020) Color revolutions after decay of the USSR. *BULLETIN Series Historical and socio-political sciences*. 65(2). pp. 159–164.
32. Center, N. & Knispel, S. (n.d.) *NATO at 75—powerful and necessary, or costly and obsolete?* [Online] Available from: <https://www.rochester.edu/newscenter/what-is-nato-countries-map-article-five-605022/> (Accessed: 15th May 2024).
33. Stopczyński, A. (2018) The Arab Spring – Implications for the Russian Federation. *International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal*. 21(1). pp. 127–140.
34. Grajewski, N. (2021) *The evolution of Russian and Iranian cooperation in Syria*. [Online] Available from: <https://www.csis.org/analysis/evolution-russian-and-iranian-cooperation-syria> (Accessed: 15th May 2024).
35. Gorgemans, B. (2021) *The Caspian Flotilla: Russia's offensive reinvention*. [Online] Available from: <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2021/august/caspian-flotilla-russias-offensive-reinvention> (Accessed: 15th May 2024).
36. Mason, J. & Holland, S. (2023) *Russia received hundreds of Iranian drones to attack Ukraine, US says*. [Online] Available from: <https://www.reuters.com/world/europe/russia-has-received-hundreds-iranian-drones-attack-ukraine-white-house-2023-06-09/> (Accessed: 15th May 2024).
37. Maitra, S. (2021) NATO enlargement, Russia, and balance of threat. *Canadian Military Journal*. 21(3). pp. 35–46.
38. Kerrane, E. (2020) Russian Insecurities: How fear drives perception in the Near Abroad. *Journal on Baltic Security*. 6(1). pp. 23–32.
39. Sadegi, M. (2020) Iran-Russia defense and security cooperation. *RUDN Journal of Political Science*. 22(2). pp. 276–289.
40. Omid, A. (2022) Russian-Iranian ties: Strategic alliance, strategic coalition, or strategic alignment (partnership). *Russian Politics*. 7(3). pp. 341–365.
41. Grajewski, N. (2022) An illusory entente: The myth of a Russia-China-Iran “axis.” *Asian Affairs*. 53(1). pp. 164–183.
42. Minkina, M. & Kaszuba, M. (2021) Color Revolutions as a threat to security of the Russian Federation. The analysis of Russian perspective. *Torun International Studies*. 1(14). pp. 77–92.
43. Yaşar, F. & Doğan, M. (2023) (In)securitising post-Soviet Space through security policies: Russian and the Western concerns on the Colour Revolutions in Ukraine and Georgia. *Gazi Akademik Bakış*. 17(33). pp. 295–318.
44. Ponomarenko, A., Tavberidze, D. & Maximova, O. (2022) Relations between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran at the present stage. *Voprosy istorii*. 12(3). pp. 176–181.

Список источников

1. Sushentsov A., Suchkov M. The nature of the modern crisis in U.S.-Russia relations // *Russia in Global Affairs*. 2018. № 16. P. 122–140.
2. Lukin A. Russia and the United States in the Asia Pacific: A Perspective of the English School // *Asian Perspective*. 2018. № 42. P. 307–331.

3. *Tsygankov A.P.* The sources of Russia's fear of NATO // *Communist and Post-communist Studies*. 2018. № 51. P. 101–111.
4. *Suslov D.* US–Russia confrontation and a new global balance // *Strategic Analysis*. 2016. № 40. P. 547–560.
5. *Azizi H.* Close but complicated: Iran-Russia relations in the Middle East amid the war in Ukraine. URL: <https://library.fes.de/pdf-files/international/20084.pdf> (accessed: 02.11.2023).
6. *Beznosova M.I., Likhachev K.A.* Russian-Iranian relations at the present stage: Prospects and potential risks. *Bulletin of Udmurt University // Sociology. Political Science. International Relations*. 2023. Vol. 7, № 1. P. 88–96.
7. *Tan T., German M.* Russian-Iranian strategic partnership in Syria: Converging interests but diverging goals // *Open Journal of Political Science*. 2021. Vol. 12, № 1. P. 1–13.
8. *Güneylioğlu M.* The Russia-Iran alignment in the Middle East: The main dynamics and limits of the bilateral security cooperation // *Akdeniz İİBF Dergisi*. 2023. T. 23, № 1. C. 50–62.
9. *Bukhari S.W.H.* Changing dynamics in old rivalry: Russia Iran revitalization and US interests in Middle East // *Journal of Social Research Development*. 2021. Vol. 2, № 2. P. 129–140.
10. *Shoori M.* Iranian and Russian views on the situation in the Middle East: How do we see the future of the region? *Russian International Affairs Council and Institute for Iran-Eurasia Studies*, 2016.
11. *Pambukhchyan A.* Asserting an identity: Explaining paradox of “strategic partnership” between Iran and Russia. Master of Art Thesis. 2012.
12. *Person R.* Balance of threat: The domestic insecurity of Vladimir Putin // *Journal of Eurasian Studies*. 2017. Vol. 8, № 1. P. 44–59.
13. *Walt S.M.* Alliance formation and the balance of world power // *International security*. 1985. № 9. P. 3–43.
14. *Walt S.M.* *The Origins of Alliances*. New York : Cornell University Press, 1990.
15. *Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 о стратегии национальной безопасности Российской Федерации*. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf> (дата обращения: 05.12.2024).
16. *Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2023 г. № 229 об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации*. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/49090> (дата обращения: 05.13.2024).
17. *Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации*. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010045.pdf> (дата обращения: 05.14.2024).
18. *Kozhanov N.* Russian-Iranian relations through the prism of the Syrian crisis // *Insight Turkey*. 2017. Vol. 19, № 4. P. 105–124.
19. *Jabbarinasir H.* Cooperation between Iran and Russia in the fight against international terrorism: the current state, opportunities and prospects // *World Economy and International Relations*. 2023. Vol. 67, № 1. P. 90–100.
20. *Piramoun Sharifabad R.* A Research into Iran-Russia cooperation during the Syrian crisis // *International Journal of Political Science*. 2020. Vol. 6, № 2. P. 1–11.
21. *Bekcan U., Uz Hançarlı P.* Lending an “Old Friend” a Hand: Why Does Russia Back Syria? // *Regional Order in the Gulf Region and the Middle East*. 2020.
22. *Ploom I., Sazonov V.Y., Veebel V.* Russia's pursuit of power in the Middle East: context, strategy and methods // *Estonian Journal of Military Studies*. 2020. Vol. 13. P. 11–45.
23. *Kalamar K.* Russia's gambit in the Syria conflict // *Pathways to Peace and Security*. 2021. Vol. 1. P. 211–213.
24. *Karami J.* Iran-Russia Strategic Partnership at the New Stage: What could we Propose to each other? // *Russia-Iran Partnership: An Overview and Prospects for the Future*. P. 22–81.
25. *Marples D.R.* Russia's war goals in Ukraine // *Canadian Slavonic Papers*. 2022. Vol. 64, № 2–3. P. 207–219.
26. *Gasparetto A.* Iranian – Turkish relations in a changing Middle East // *International Studies, Interdisciplinary Political and Cultural Journal*. 2018. Vol. 21, № 1. P. 83–98.
27. *Krivogouz M.* The EAEU: difficult search for new partners and new markets // *Russia and New States of Eurasia*. 2023. Vol. 58, № 1. P. 9–21.
28. *Eslami M.* Iran's drone supply to Russia and changing dynamics of the Ukraine war // *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*. 2022. Vol. 5, № 2. P. 507–518.
29. *Prasad Singh H.* Artificial intelligence affecting strategic stability // *International Journal of Advanced Research*. 2022. Vol. 10, № 3. C. 01–04.
30. *Eslami M., Vieira A.V.G.* Shi'a principles and Iran's strategic culture towards ballistic missile deployment // *International Affairs*. 2022. Vol. 98, № 2. P. 675–688.

31. *Askerbek A.A.* Color revolutions after decay of the USSR // BULLETIN Series Historical and socio-political sciences. 2020. Vol. 65, № 2. P. 159–164.
32. *Center N., Knispel S.* NATO at 75-powerful and necessary, or costly and obsolete? // News Center. URL: <https://www.rochester.edu/newscenter/what-is-nato-countries-map-article-five-605022/> (accessed: 15.05.2024).
33. *Stopczyński A.* The Arab Spring – Implications for the Russian Federation // International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal. 2018. Vol. 21, № 1. P. 127–140.
34. *Grajewski N.* The evolution of Russian and Iranian cooperation in Syria // Center for Strategic and International Studies. URL: <https://www.csis.org/analysis/evolution-russian-and-iranian-cooperation-syria> (accessed: 15.05.2024).
35. *Gorgemans B.* The Caspian Flotilla: Russia’s offensive reinvention // Proceedings. [Electronic resource]. URL: <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2021/august/caspian-flotilla-russias-offensive-reinvention> (accessed: 15.05.2024).
36. *Mason J., Holland S.* Russia received hundreds of Iranian drones to attack Ukraine, US says. URL: <https://www.reuters.com/world/europe/russia-has-received-hundreds-iranian-drones-attack-ukraine-white-house-2023-06-09/> (accessed: 15.05.2024).
37. *Maitra S.* NATO enlargement, Russia, and balance of threat // Canadian Military Journal, Department of Defense, Canada. 2021. Vol. 21, № 3. P. 35–46.
38. *Kerrane E.* Russian Insecurities: How fear drives perception in the Near Abroad // Journal on Baltic Security. 2020. Vol. 6, № 1. C. 23–32.
39. *Sadegi M.* Iran-Russia defense and security cooperation // RUDN Journal of Political Science. 2020. Vol. 22, № 2. P. 276–289.
40. *Omidi A.* Russian-Iranian ties: Strategic alliance, strategic coalition, or strategic alignment (partnership) // Russian Politics. 2022. Vol. 7, № 3. P. 341–365.
41. *Grajewski N.* An illusory entente: The myth of a Russia-China-Iran “axis” // Asian Affairs. 2022. Vol. 53, № 1. P. 164–183.
42. *Minkina M., Kaszuba M.* Color Revolutions as a threat to security of the Russian Federation. the analysis of Russian perspective // Torun International Studies. 2021. Vol. 1. № 14. P. 77–92.
43. *Yaşar F., Doğan M.* (In)securitising post-Soviet Space through security policies: Russian and the Western concerns on the Colour Revolutions in Ukraine and Georgia // Gazi Akademik Bakış. 2023. Vol. 17, № 33. C. 295–318.
44. *Ponomarenko A., Tavberidze D., Maximova O.* Relations between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran at the present stage // Вопросы истории. 2022. Vol. 12, № 3. P. 176–181.

Information about the author:

Khavarinejad S. – PhD student, Department of Modern History and International Relations, Faculty of Historical and Political Studies, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: azadazadazi@yahoo.com

The author declares no conflicts of interests.

Сведения об авторе:

Хаваринейад С. – аспирант кафедры новой, новейшей истории и международных отношений факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Российская Федерация). E-mail: azadazadazi@yahoo.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

*The article was submitted 11.01.2024;
approved after reviewing 23.07.2024; accepted for publication 12.08.2024
Статья поступила в редакцию 11.01.2024;
одобрена после рецензирования 23.07.2024; принята к публикации 12.08.2024*

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Научная статья
УДК 141.1, 165.7
doi: 10.17223/1998863X/80/24

ТОМСКАЯ ШКОЛА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: КРИТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ И РЕДАКТИРОВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Сергей Витальевич Никоненко

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;
Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского,
Санкт-Петербург, Россия, serg_nikonenko@rambler.ru*

Аннотация. Предметом статьи является исследование оснований философских взглядов представителей Томской школы аналитической философии в контексте их деятельности как комментаторов и редакторов аналитических текстов. Определяются институциональные и теоретические контуры Томской школы. Проводится реконструкция дискурса и методологии работы с аналитическими текстами. Обосновывается реализм как базисный теоретический принцип.

Ключевые слова: аналитическая философия, Томская школа, логика, реализм, язык

Благодарности: проект РНФ № 24-28-00275 «Аналитическая философия в России: эволюция и своеобразие».

Для цитирования: Никоненко С.В. Томская школа аналитической философии: критические комментарии при переводе и редактировании аналитических текстов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2024. № 80. С. 265–273. doi: 10.17223/1998863X/80/24

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Original article

TOMSK SCHOOL OF ANALYTIC PHILOSOPHY: CRITICAL COMMENTS BY TRANSLATORS AND EDITORS OF ANALYTIC TEXTS

Sergei V. Nikonenko

*Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation;
Russian Christian Academy for the Humanities, Saint Petersburg, Russian Federation
serg_nikonenko@rambler.ru*

Abstract. The subject of the article is the study of the theoretical views of representatives of the Tomsk School of Analytic Philosophy as editors, translators and interpreters of analytic texts. The ideas of Valery Surovtsev, Vsevolod Ladov, Vitaly Ogleznev, Nikolay Tarabanov,

and others are considered. The first part of the article highlights the institutional and theoretical positions of the Tomsk School of Analytic Philosophy. The School is distinguished by the following characteristics: the presence of a consolidated group of leading representatives with a pronounced institutional organization, holding of annual conferences, a full range of research work, participation in grant projects, training of young specialists at all levels. There are three priority areas of theoretical activity of Tomsk School: logic, epistemology, and philosophy of law. The Tomsk School has formulated leading approaches to evaluating the ideas of the classics of analytic philosophy. Realism can be distinguished as the basic ideological and theoretical setting of the School (in various forms: Valery Surovtsev's logical realism, Vsevolod Ladov's formal realism, Evgeny Borisov's phenomenological realism, Vitaly Ogleznev's legal realism). In the second part, it is noted that the Tomsk School is the leading one in the field of publishing Russian-language literature on analytic philosophy, which includes a full range of creative work with texts (translations, editing, commentaries). The following results were obtained during the study. (1) It is shown that a synthesis of all types of work with a foreign analytic text (translation, editing, commenting) is achieved, which is a unique practice of research work in Russian analytic philosophy. (2) It is demonstrated that introductory articles (forewords, afterwords) aim to critically analyze the translated texts. (3) A reconstruction is proposed for the first time in the literature, according to which the editorial work of representatives of the Tomsk School can be considered as a specific scientific discourse that significantly complements monographic and periodical publications. (4) Representatives of the Tomsk School demonstrate a unified approach in this field of work from the standpoint of realism and criticism of anti-realist teachings, which does not exclude a polemical attitude to the translated texts. As a result, textual interpretations emerge that are essential for understanding the problems of analytic philosophy.

Keywords: analytic philosophy, Tomsk School, logic, realism, language

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-00275.

For citation: Nikonenko, S.V. (2024) Tomsk school of analytic philosophy: critical comments by translators and editors of analytic texts. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 80. pp. 265–273. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/80/24

Исторические и идейные контуры Томской школы, основные теоретические позиции

Если смотреть на историю становления аналитической философии в России де-юре, то сам по себе концепт «аналитическая философия в России» – относительно недавно возникшее явление. Впервые этот концепт представительно прозвучал в названии тематического выпуска крупного журнала (Логос, № 2 (70), 2009, Аналитическая философия в России). В начале 2010-х гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге прошли масштабные конференции, позволившие представителям аналитической философии в России заявить о себе и сплотиться в рамках нового течения отечественной философии.

Де-факто же аналитическая философия в России рождалась ранее: в сложных, переломных, но творчески насыщенных 1990-х гг. Так исторически сложилось, что местом рождения первой и крупнейшей школы аналитической философии в новой российской истории стал Томский университет. Ведущими представителями Томской школы являются В.А. Суровцев, Е.В. Борисов, В.А. Ладов и В.В. Оглезнев. К этой школе примыкают видные ученые: А.К. Сухотин, А.Б. Дидикин, Е.А. Найман, О.Г. Мазаева, И.А. Эннс, К.А. Габрусенко, Е.И. Спешилова, Е.Н. Суханова и др.

Идейно-теоретические контуры Томской школы аналитической философии можно представить в виде следующих тезисов:

– Томская школа аналитической философии может быть названа «школой» вследствие следующих оснований: наличие консолидированной группы ведущих представителей; выраженная институциональная организация вокруг философского факультета ТГУ и научно-образовательного центра «Философия языка и онтология»; проведение ежегодных конференций «Актуальные проблемы аналитической философии»; полный спектр научно-исследовательской работы (монографии, статьи, переводы, редактирование); педагогическая и просветительская деятельность, участие в грантовых проектах, подготовка молодых специалистов всех уровней.

– В ходе истории развития Томской школы осваивается полный спектр проблематики аналитической философии. Можно выделить три приоритетные направления теоретической деятельности школы: логика, эпистемология и философия права (отметим: родиной изучения аналитической юриспруденции в России является Томская школа).

– Томская школа вносит огромный вклад в дело переводов и популяризации идей классиков аналитической философии. В Томской школе сформулированы ведущие подходы к оценке идей Б. Рассела, Л. Витгенштейна, А. Айера, Г. Бейкера, П.М.С. Хакера, У.В.О. Куайна, Г. Харта, Б. Бикса, Ф. Вайсмана, П. Гича и др. Журналы «Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология», «Эпистемология и философия науки», «Правоведение», выпускаемые монографии издательств: «Издательство ТГУ», «Водолей», «Канон+», многочисленные тематические сборники являются основными местами публикаций представителей Томской школы.

– В качестве базовой идейно-теоретической установки Томской школы можно выделить *реализм* (в различных видах: логический реализм В.А. Суровцева, формальный реализм В.А. Ладова, феноменологический реализм Е.В. Борисова, правовой реализм В.В. Оглезнева). В свою очередь, выдвигается критическая позиция относительно антиреалистических и релятивистских течений аналитической философии, что, однако, не исключает стремления признать большое значение и критически исследовать эти течения.

– Томская школа является ведущей в области издания русскоязычной литературы по аналитической философии, что включает в себя полный спектр творческой работы с текстами (переводы, редактирование, комментарии). Этот аспект деятельности Томской школы станет предметом второго раздела.

Теоретические воззрения представителей Томской школы как переводчиков и редакторов текстов по аналитической философии

На протяжении тридцати лет представители Томской школы перевели на русский язык десятки монографий и статей аналитических философов, среди которых труды Б. Рассела, Л. Витгенштейна, У.В.О. Куайна, А. Айера, Г. Бейкера, П.М.С. Хакера, Г. Харта и др. Практически все переводы снабжались вступительными статьями или послесловиями, в которых, наряду с необходимыми для подобного жанра комментариями, содержатся теоретические размышления, которые мы впервые здесь подвергаем теоретическому исследованию.

Хотя взгляды ведущих представителей Томской школы широко представлены в монографиях, статьях, очерках, рецензиях, работа переводчика и комментатора особая. Только в этом жанре присутствует явственная близость с текстом, проникновение в его структуру, передача понятий текста (зачастую впервые) на ином, русском языке. Поскольку переводчик (или переводчики) выступает одновременно и редактором, то возникает стремление высказаться о тексте, комментировать его. Представители Томской школы никогда, ни в одном из десятков подготовленных томов не являются простыми трансляторами; они всегда интерпретаторы, зачастую критически настроенные, стремящиеся «править», «дописывать», «додумывать» переводимый текст. Особый жанр вступительной статьи или послесловия никогда не предоставляет много пространства; поэтому возникают яркие, концентрированные, меткие, порой провокационные суждения, зачастую не встречающиеся или более размытые в статьях и монографиях. К тому же комментарии переводчиков неизбежно оказываются «на виду» (классические переводы имеют значительную читательскую аудиторию). В этой связи представление о деятелях Томской школы на основе комментариев к переводам существенно расширяет представление об идеях школы в целом; особенно, когда сами по себе разрозненные предисловия и послесловия рассматриваются в единстве. Таким образом, взятые как целое редакторские комментарии представителей Томской школы могут быть выделены в качестве особого, специфического дискурса, в рамках которого осуществляется многоплановая работа с текстом в виде таких процедур, как перевод, редактирование, комментирование и критический анализ.

В.А. Суровцев – автор широко известных статей и монографий, посвященных логике и эпистемологии Рассела, Рамсея и Витгенштейна. Вступительные статьи к осуществленным им сборникам переводов Рассела дополняют монографическое и журнальное наследие ученого. К примеру, в предисловии к сборнику Б. Рассела «Философия логического атомизма» В.А. Суровцев выводит ставшие классическими в отечественной литературе контрапункты пересечения позиций Рассела и Витгенштейна. Он пишет: «По мнению Витгенштейна, основная ошибка Рассела заключается в уподоблении суждения наименованию, хотя и имеющему специфический характер, где по сути дела высказывание суждений и предложений предполагает наличие соответствующего комплекса, составленного из конститuent, непосредственно известных говорящему» [1. С. 188]. На первый взгляд, суждения о Витгенштейне в статье о Расселе представляются избыточными. Однако В.А. Суровцев дальновидно учитывает тот факт, что логические поиски Рассела после выхода в свет «*Principia Mathematica*» очно или заочно осуществлялись в ходе диалога с Витгенштейном. Суровцев акцентирует внимание на казалось бы школьных, но на самом деле фундаментально важных расхождениях Рассела и Витгенштейна. «С точки зрения Витгенштейна принимаемые Расселом допущения не верны, потому что они вместо того, чтобы говорить о знаках, нечто сообщают о действительности, привлекая такие понятия, как вещь, отношение и т.п.», – пишет он [1. С. 190]. В свете собственной теоретической позиции логического реализма Суровцев показывает, что уже в «Трактате» прослеживается формалистический подход Витгенштейна, ведущий к постепенному отторжению языка от действительности, переходу на позиции линг-

вистического контекстуализма. В свою очередь, Суровцев представляет Рассела как последовательного эпистемологического реалиста, вопреки суждениям большинства критиков, вскрывающих логицизм британского философа. «Если существование *Сократа*, *Платона* и *Аристотеля* подтверждено опытом, то существование состоящего из них класса вывести из опыта нельзя. Классы являются результатом абстракции, а потому для Рассела представляют собой фикции», – пишет Суровцев [2. С. 13]. С нашей точки зрения, в отечественной литературе никто столь решительно не противопоставляет идеи Рассела и раннего Витгенштейна; причем автор данной статьи с такими взглядами совершенно согласен.

Выступая уже как переводчик трудов Витгенштейна, В.А. Суровцев продолжает вырабатывать особенный, индивидуальный взгляд на творчество британского философа австрийского происхождения. Как мы полагаем, В.А. Суровцев (вопреки практически всем современным подходам) оказывается «консервативным» интерпретатором, продолжающим традиции московской школы витгенштейноведения. В самом деле, М.С. Козлова и А.Ф. Грязнов стремились сглаживать, а не акцентировать различия между ранним и поздним Витгенштейном. «Вопрос о соответствии языка и реальности должен, по Витгенштейну, решаться не только для символического языка логики, но и для любого языка вообще, в том числе для языка повседневной жизни, поскольку такой язык отличается от совершенного только тем, что мы не знаем его анализа», – считает Суровцев [3. С. 16]. Суровцев занимает позицию «логического» прочтения идей Витгенштейна (в определенном смысле коррелирующуюся с подходами М. Даммита, П. Стросона и С. Крипке), согласно которой «логический» подход к любому языку у Витгенштейна всегда доминирует над подходом «лингвистическим».

Вместе с тем В.А. Суровцев вскрывает и тенденцию стремления Витгенштейна «психологизировать» теорию языка, проявляющуюся в акцентировании «игровых» семантических свойств языка. Здесь В.А. Суровцев провел значительную работу по «дистраиванию», систематизации замыслов и идей Витгенштейна в области теории цвета (совместно с К.А. Родиным). В самом деле, этот важный текст позднего Витгенштейна (переведенный указанными авторами совсем недавно, в 2022 г.) не представляет собой законченное, структурированное произведение. Осуществляя комментирование высшего уровня сложности, Суровцев и Родин приходят к допущению, что Витгенштейн стремится поколебать саму эмпирическую эпистемологию (прежде всего, учение Дж. Мура), поставив на место чувственных данных языковые конвенции. «Но одна только языковая игра без подкрепления соответствующего видения цветов приведет рано или поздно к ошибке просто потому, что невозможно „внешним“ образом изложить и запомнить множество правил и внутренних отношений», – пишут авторы [4. С. 155]. Оперирование цветовыми понятиями связано не столько с особенностями зрительного восприятия, сколько с логикой употребления цветовых понятий в рамках определенной языковой игры. Характерно словосочетание: «логика употребления». Балансируя на грани последовательного антиреализма и социально-психологической трактовки языка, Витгенштейн, памятуя о реалистическом прошлом, так и не может перейти на эти позиции; стремление обрести новейшую «логику употребления» языка, как полагают Су-

ровцев и Родин, приводят Витгенштейна к очевидным, трудноразрешимым противоречиям.

Подчеркивая эволюцию Рассела и Витгенштейна в сторону все более последовательного формализма, В.А. Суровцев делает ключевой фигурой для понимания этого процесса труд А. Айера «Язык, истина и логика» (впервые переведя сочинение на русский язык совместно с Н.А. Тарабановым, 2010 г.). Суровцев пишет об Айере: «Традиционная метафизика, выходящая за рамки применения данного принципа (верификации. – С.Н.), оказывается совокупностью лишенных смысла фраз; и ее нужно отличать от подлинной философии, представляющей собой аналитическую работу, снабжающую определениями символов, а не информацией о трансцендентной реальности» [5. С. 8]. Словосочетание «аналитическая работа», как нам кажется, удачно подчеркивает существенно изменившийся к 1930-м гг. фон аналитической философии, когда усилившиеся формалистические тенденции позволяют заниматься анализом языка, минуя (или существенно сглаживая) дискуссии об эпистемологических основаниях языка.

Огромный вклад – как переводчики и комментаторы – В.А. Суровцев и В.А. Ладов вносят в представление на русском языке сочинений Г. Бейкера, П.М.С. Хакера и С. Крипке, посвященных дискуссиям о Витгенштейне (Бейкер и Хакер рассматриваются как соавторы одной концепции). Суровцев и Ладов выражают четкую теоретическую позицию с позиций реалистической философии: вопреки устоявшимся мнениям они несколько нивелируют «глобальный» и «непримиримый» характер споров между «Лингвистическим идеалистом» и «Крипкенштейном» (образами прочтения Витгенштейна Бейкером–Хакером и Крипке). По мнению Суровцева и Ладова, споры Бейкера–Хакера и Крипке суть споры антиреалистов, ведущиеся в рамках единой онтологической картины мира. Это не мешает уточнить позиции: «Подход Бейкера и Хакера позволяет предположить, что их понимание правил грамматики, хотя и выходит за рамки корреспондентских теорий значений, где во главу угла ставится вопрос о соответствии языковых выражений фактам действительности, все еще остается в границах теорий когерентности <...> А это все еще вполне укладывается в оппозицию „реализма–антиреализма“, господствующую в аналитической философии последних лет», – пишут Суровцев и Ладов [6. С. 229]. Аналогично авторы уточняют и теоретическую позицию Крипке: «Нужно признать, что предназначение языка никогда и не состояло в том, чтобы обозначать вещи. Скорее, функция языка состоит в обеспечении intersubъективной коммуникации при осуществлении совместной деятельности, которая, как оказывается, вполне может обойтись и без строгой референции к вещам» [7. С. 8]. В своей совместной работе Суровцев и Ладов приходят к воззрению на дискуссию о скептицизме относительно правила, обладающему содержательной новизной: эта дискуссия впервые в отечественной философской мысли рассматривается последовательно-критически – как спор относительно уточнения правильности прочтения Витгенштейна в антиреалистическом ключе.

Здесь следует особо отметить, что представители Томской школы как переводчики и редакторы демонстрируют безупречный исследовательский такт. Будучи реалистами, существенно расходясь во взглядах с переводимыми классиками, томские ученые (что соответствует именно духу русской фи-

лософии) стремятся вскрыть внутреннюю «правду» в антиреалистических, идеалистических, релятивистских позиций. Это проявилось с редактированием нескольких переводов трудов У.В.О. Куайна (где В.А. Суровцев и В.А. Ладов опять работают совместно). Переводчики и редакторы труда «С точки зрения логики» справедливо не видят перспективы в рассмотрении Куайна как «антипода» Рассела, внося существенную новизну подхода. Суровцев и Ладов отмечают, что Куайн базируется на иных онтологических допущениях, нежели Рассел: прагматистских, а не эмпирических. Они разрабатывают интерпретацию остенсивных высказываний по Куайну. «Куайн говорит, что никто из позитивистов не обратил внимания на то, что проблема возникает с так называемой точкой остенсии (то место на воображаемой плоскости, куда попадает прямая, проведенная от указательного жеста к предмету). Оказывается, что эта точка еще не гарантирует четко фиксированного видения предметов. Напротив, она допускает плюрализм интерпретаций», – пишут они [8. С. 9]. По сути, куайновская трактовка высказываний не сталкивается с реальностью; она замкнута в рамках концептуальной схемы. В последние годы в исследованиях Томской школы критика лингвистического релятивизма, равно как и любых антиреалистических и натуралистических концепций, становится все более заметной.

Томская школа стоит у истоков отечественной аналитической юриспруденции. Это подкрепляется не только теоретическими работами, но и редакторскими статьями переводчиков трудов Г. Харта, Б. Бикса и других англоязычных правоведов. Крупным теоретическим достижением выступает перевод и редактирование сборника работ Харта «Философия и язык права» (2017), осуществленный В.В. Оглезневым и В.А. Суровцевым. Выход этой книги повлиял на существенное изменение подходов к Харту в нашей стране (ранее Харт изучался прежде всего как автор труда «Понятие права»). Комментаторы скрупулезно работают с текстами и биографическими реалиями Харта, вскрывая тот факт, что Харт формируется в атмосфере Оксфорда, подпадая под значительное влияние Остина, Райла, Грайса и других теоретиков обыденного языка. Глубокая мысль Оглезнева и Суровцева коренится в том, что специфическая тематика права зачастую не позволяет увидеть в Харте именно аналитического философа. На самом деле значение Харта в том, что он вовлекает проблематику юриспруденции в контекст аналитической традиции. «Харт же предпочитает новый подход, который учитывает роль в определении примитивных значений фактов словоупотребления. Нет никаких исходных или примитивных значений, которые известны через знание-знакомство и непосредственно выражены простейшими языковыми выражениями, которые указывают на пресловутые простые качества», – пишут томские авторы [9. С. 16]. Таким образом, Харта можно причислить к крупнейшим аналитическим философам и представителям витгенштейнианства, основавшим целый раздел аналитической философии.

Особый, специфический жанр вступительных статей (или послесловий) переводчиков и научных редакторов требует скрупулезной сосредоточенности на переводимом тексте. По своей сути такой жанр располагает к атомизму комментаторских работ. Однако, как мы попытались показать, представители Томской школы в этой сфере работы демонстрируют унифицированный подход с позиций критического реализма, не исключая критического

отношения к переводимым текстам. В результате возникают текстологические интерпретации, имеющие существенное значение для понимания проблематики аналитической философии.

Выводы исследования

- В ходе проведенного исследования достигнуты следующие результаты:
- Проанализированы институциональные и теоретические основания выделения концепта «Томская школа аналитической философии».
 - Показано, что реализм выступает базовым принципом философии ведущих представителей Томской школы.
 - Вскрыты основания и специфические особенности дискурса редакторской работы с аналитическими текстами; сделана попытка рассмотреть вступительные статьи (предисловия, послесловия) представителей Томской школы как идейно взаимосвязанные тексты.
 - Выявлены научная новизна и сущность критической рецепции представителей Томской школы по отношению к редактируемым аналитическим текстам.

Список источников

1. Суровцев В.А. Логический атомизм: источники и перспективы одной коллизии // Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск : Водолей, 1999. С. 180–191.
2. Суровцев В.А. Программа логицизма и теория типов Бертрانا Рассела // Рассел Б. Введение в математическую философию. Избранные работы. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. С. 7–22.
3. Суровцев В.А. Ранний Витгенштейн: материалы к «Логико-философскому трактату» // Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. С. 3–28.
4. Суровцев В.А., Родин К.А. Логика цветковых понятий в «Заметках о цвете» Л. Витгенштейна // Витгенштейн Л. Заметки о цвете. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. С. 138–159.
5. Суровцев В.А., Тарабанов Н.А. От переводчиков // Айер А.Дж. Язык, истина и логика. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010. С. 5–9.
6. Ладов В.А., Суровцев В.А. Скептик, или К бессмыслице обратно // Бейкер Г.П., Хакер П.М.С. Скептицизм, правила и язык. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2008. С. 203–230.
7. Суровцев В.А., Ладов В.А. От переводчиков // Крипке С.А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010. С. 5–8.
8. Ладов В.А., Суровцев В.А. «С точки зрения логики» У. Куайна (предисловие переводчиков) // Куайн У.В.О. С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010. С. 5–18.
9. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Философские взгляды «раннего» Г. Харта и проблемы языка права // Харт Г.Л.А. Философия и язык права. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. С. 7–26.

References

1. Surovtsev, V.A. (1999) Logicheskiy atomizm: istochniki i perspektivy odnoy kollizii [Logical Atomism: The Prospects of One Collision]. In: Russell, B. *Filosofiya logicheskogo atomizma* [The Philosophy of Logical Atomism]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Tomsk: Vodoley. pp. 180–191.
2. Surovtsev, V.A. (2022) Programma logitsizma i teoriya tipov Bertrana Rassela [Bertrand Russell's program of logicism and type theory]. In: Russell, B. *Vvedenie v matematicheskuyu filosofiyu. Izbrannye raboty* [Introduction to Mathematical Philosophy. Selected Works]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 7–22.
3. Surovtsev, V.A. (2018) Ranniy Vitgenshteyn: materialy k “Logiko-filosofskomu traktatu” [Early Wittgenstein: Notes to Tractatus Logico-Philosophicus]. In: Wittgenstein, L. *Dnevniky 1914–1916* [Diaries 1914–1916]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 3–28.

4. Surovtsev, V.A. & Rodin, K.A. (2022) Logika tsvetovykh ponyatiy v “Zametkakh o tsvete” L. Vitgenshteyna [The Logic of Coloristic Concepts in L. Wittgenstein’s Bemerkungen über die Farben]. In: Wittgenstein, L. *Zametki o tsvete* [Bemerkungen über die Farben]. Translated from English by V.A. Surovtsev, K.A. Rodin. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 138–159.

5. Surovtsev, V.A. & Tarabanov, N.A. (2010) Ot perevodchikov [By Translators]. In: Ayer, A.J. *Yazyk, istina i logika* [Language, Truth and Logic]. Translated from English by V.A. Surovtsev, N.A. Tarabanov. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 5–9.

6. Ladov, V.A. & Surovtsev, V.A. (2008) Skeptik, ili k bessmyslitse obratno [Sceptic, or Return to Nonsense]. In: Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (2008) *Skeptitsizm, pravila i yazyk* [Scepticism, Rules and Language]. Translated from English by V.A. Ladov, V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 203–230.

7. Surovtsev, V.A. & Ladov, V.A. (2010) Ot perevodchikov [By Translators]. In: Kripke, S.A. *Vitgenshteyn o pravilakh i individual'nom yazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language]. Translated from English by V.A. Surovtsev, V.A. Ladov. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 5–8.

8. Surovtsev, V.A. & Ladov, V.A. (2010) “S tochki zreniya logiki” U. Kuayna (predislovie perevodchikov) [W. Quine’s from a Logical Point of View (Tranlators’ Preface)]. In: Quine, W.V.O. *S tochki zreniya logiki: 9 logiko-filosofskikh ocherkov* [From a Logical Point of View. 9 Logico-Philosophical Essays]. Translated from English by V.A. Surovtsev, V.A. Ladov. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 5–18.

9. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2017) Filosofskie vzglyady “rannego” G. Kharta i problemy yazyka prava [“Early” Hart’s Philosophical Views and the Problems of Juridical Language]. In: Hart, G.L.A. (2017) *Filosofiya i yazyk prava* [Philosophy and Juridical Language]. Translated from English by V.V. Ogleznev, V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+ ROOI Rehabilitation. pp. 7–26.

Сведения об авторе:

Никоненко С.В. – доктор философских наук, профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия); Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: serg_nikonenko@rambler.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nikonenko S.V. – Dr. Sci. (Philosophy), professor; professor, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Russian Christian Academy for the Humanities (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: serg_nikonenko@rambler.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 05.06.2024;

одобрена после рецензирования 19.07.2024; принята к публикации 12.08.2024

The article was submitted 05.06.2024;

approved after reviewing 19.07.2024; accepted for publication 12.08.2024

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2024. № 80

Редактор *Н.А. Афанасьева*
Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Яковсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 20.09.2024 г. Дата выхода в свет 26.09.2024 г.
Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 17,2; усл. печ. л. 22,3; уч.-изд. л. 23,5.
Тираж 50 экз. Заказ № 6007. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru